

и  
о  
с  
к  
в  
а

# Москва

9  
196

9  
1960

# Москва

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ  
IV

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Лев Никулин. ТРУС. Роман в пяти тетрадах . . . 3  
Олесь Гончар. ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ. Роман. Авторизованный перевод с украинского М. Алексева и И. Карабутенко. (Окончание) . . . . . 48  
Евгений Пермяк. ШОША ШЕРСТОБИТ. Рассказ . 108  
Эрнест Хемингуэй. ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изюкова. (Окончание) . . . . . 124

### СТИХИ

- Василий Журавлев. ВЕСНА НА ЕНИСЕЕ. Поэма . 167  
Николай Кривенко. ЗВЕЗДА И ЭДЕЛЬВЕЙС . 176

### ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

- Михаил Демин. ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ . . . . . 183

### ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

- Вл. Немцов. ДОЛГ И СОВЕСТЬ . . . . . 194

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Вера Смирнова. СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ . . . 202  
Л. Иванова. У ПОРОГА СЕМИНАРИИ.— В. Литвинов. В СВОЕМ ЖАНРЕ . . . . . 212

### РЕПОРТАЖ

- Ю. Оклянский. РОДНЫЕ МЕСТА ПИСАТЕЛЯ . . . 215

9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1960

**ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА**

**А. Лазебников. ХУАН ПЛАНЕЛЬЕС И ЕГО ДРУЗЬЯ.—**

**М. Толмачев. ИЗ МИЛИЦИИ ПРИШЛО ПИСЬМО...—**

**А. Примаковский. ГОРЬКИЙ И РЕРИХ.— А. л. Лесс**

**ПОДВИГ . . . . . 220**

**На наших вклейках:**

Писатели-художники.

**В номере вкладка: «МОСКВА» ЧИТАТЕЛЯМ.**

---

Главный редактор **Е. Е. ПОПОВКИН**

Редакционная коллегия: **Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Е. Ф. КНИПОВИЧ, В. А. КУ-**  
**ЛЕМИН, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ, Л. В. НИКУЛИН, Л. С. ОБАЛОВ** (зам. главного  
редактора), **С. А. САВЕЛЬЕВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ** (зам. главного редактора),  
**П. К. ШАРИ, М. А. ШОЛОХОВ**

---

Художеств. редактор **Н. Бозькова**

Техн. редактор **Г. Дубман**

---

Адрес редакции: Москва, Арбат, 20, тел. Г 1-78-01

---

Подписано к печати 31/VIII 1960 г. А 07089 Тираж 63 000 экз. Формат бумаги 70 × 108<sup>1/16</sup>. Печ. л. 14 =  
= 19,18 усл. = 22,1 + 2 вкладки = 22,98 уч. изд. л. Заказ № 1802. Цена 6 руб

---

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР,  
Москва, Краснопролетарская, 16.

# Трус

РОМАН В ПЯТИ ТЕТРАДЯХ

## Пролог

**Н**а юге Франции, в Ницце, у подъезда одной из гостиниц стоял автобус компании туризма. Прохожие с интересом разглядывали скрещенные флаги над капотом машины — советский, красный с серпом и молотом, и французский — трехцветный.

Еще не кончился обеденный час, но туристы из Советского Союза первыми устремились в город, на набережную, щелкали фотоаппаратами, писали открытки или просто смотрели на Средиземное море — тихое, нежно-голубое, как будто никогда не знавшее бурь.

В вестибюле гостиницы задержались двое — молодой человек и пожилая женщина. Она объяснялась с девушкой, щебетавшей как птичка в своей стеклянной клетке с надписью «Change» — размен.

— Что она говорит? — нетерпеливо спрашивал молодой человек.

— Не знает, где это. Говорит, что здесь живет один месье, тот на-верное знает.

Дремавший в кресле человек в темных очках поднялся:

— Я и есть тот самый «месье». Место, которое вы ищете, довольно далеко отсюда.

Он сказал это по-русски, стараясь отчетливо произносить слова.

— Это пустяки. Мы возьмем такси, — сказала пожилая женщина.

— Туристы редко посещают кладбища, они предпочитают более веселые места. Вряд ли шофер знает, но если вы ничего не имеете против, я вас провожу.

Женщина и молодой человек переглянулись. Затем он сказал:

— Неудобно отнимать у вас время.

— Времени у меня много. Мне приятно оказать вам маленькую услугу.

— Тогда едем.

Они вышли из гостиницы.

Молодой человек сказал:

— Странно, что в гостинице не знают, где это кладбище.

— Там давно не хоронят.

— Мы хотим посетить могилу Герцена. Вы там бывали?

— Да, мадам...

— Давайте знакомиться: моя фамилия Лямина, Ольга Степановна, а это Ромадин, Борис Васильевич. Я учительница, а он инженер. Оба мы москвичи. А вас как прикажете называть?

— Здесь называют Серж. По-русски Сергей Павлович Щеглов.

Они взяли такси. Машина мчалась по улице Феликса Фора. Мелькали полосатые тенты над витринами, за столиками кафе маячили одинокие фигуры праздных туристов. Было еще жарко. Машина взяла подъем, развернулась, поехала в обратную сторону и, поднявшись в гору, остановилась под густым зеленым навесом старых кленов. Щеглов сказал:

— Дальше надо пешком,— и пошел вперед, показывая дорогу.

— Видно, что вы здесь бывали не раз.

— Во время войны мы тут встречались. Так было безопаснее.

Они поднимались по каменной лестнице — на горе теснились мраморные саркофаги, кресты, погребальные урны, склонившиеся к надгробиям ангелы. Здесь почти не чувствовался зной, ветер с гор шевелил остролистые пальмы и покачивал верхушки кипарисов.

— Красиво...

— Красиво, но грустно.

— Да, уж какое веселье в таком месте!

Щеглов оглянулся на Ромадина. Опередив Ольгу Степановну, он легко взбежал к воротам. Кладбище было расположено террасами, среди как бы слитной массы памятников терялись посыпанные гравием дорожки.

— Вот...

На высоком постаменте, скрестив на груди руки, стоял Герцен.

Они подошли и стали у надгробия. Чуть шелестели кипарисы, вокруг была та особенная тишина, которая бывает только в таком месте.

— «Каменное молчание... Легкий шелест кипарисов»... Герцен это писал после похорон Натали. Теперь они здесь оба. Все ушло: ревность, страдания, «кружение сердца».

Ольга Степановна произнесла это тихо, думая вслух. Ромадин сказал:

— Мы-то хороши. Хоть бы догадались купить цветов.

— У меня есть... — Ольга Степановна открыла сумку и достала что-то тщательно завернутое в прозрачную бумагу. — Наши полевые цветочки. Правда, они завяли, но зато наши, родные.

И она положила на мрамор поблекшие васильки, маки.

Щеглов подошел ближе.

— Это... из России?

— Да. Подмосковные.

— И вы привезли это в Ниццу?

— Вас это удивляет? Мне кажется странным, что здесь так пустынно. У нас, в России, была бы народная тропа. Венки, цветы и всегда люди. Почти сто лет назад Герцен сказал о России: «Наши десять заповедей в социализме». Родина его не забыла и не забудет.

— Родина... Я представляю себе ее очень смутно. Но это очень хорошо, что вы привезли цветы из России. Здесь пышные, слишком роскошные цветы... Наши полевые цветочки. Это хорошо.

— Наши... — повторил Ромадин, не глядя на Щеглова. — Вы где родились?

— В Вологодской губернии.

Ромадин с трудом сдержал улыбку. Откуда только не вымела этих людей метла революции.

— И давно вы оттуда?

— Меня привезли сюда пяти лет.

Ольга Степановна вздохнула:

— Да... Значит, вас привезли сюда в детстве и родились вы в России. Конечно, «наши цветочки». Почему же не наши?

— Родиться в России — это еще не все. Пусть Сергей Павлович не обижается, но у многих здешних русских эти вздохи и причитания: «Ах, Россия, ах, родина» звучат не очень искренне. Старики не в счет, они-то кое-что помнят, хотя прошло больше сорока лет. Но молодые, которых увезли детьми, что они могут помнить? А затем — разве им пути на родину заказаны? В наше время тот, кого действительно тянет на родину, — возвращается. Если, конечно, на нем нет... нет пятен. Или, может быть, мешает семья?

— Семьи у меня нет, — сказал Щеглов.

Они возвращались к воротам кладбища и остановились на мгновение, чтобы в последний раз посмотреть на Герцена; он стоял, высоко поднимаясь над томными ангелами, над саркофагами, похожими на игрушечные домики. Живой среди мертвых.

— Значит, семьи у вас нет, — снова заговорил Ромадин. — Тогда что же? Быт, привычка. Притом, кажется, вы человек со средствами. Живете в хорошей гостинице...

— К чему эта анкета? — рассердилась Ольга Степановна. — Мы, русские, удивительный народ, до всего нам надо докопаться, все узнать, все выяснить до конца. Может быть, лучше было ни о чем не спрашивать?

— Нет, почему? Спрашивайте.

— Вероятно, у вас солидное образование. Вы здесь учились?

— Во Франции и в Германии. В Мюнхене.

— В Мюнхене? — удивился Ромадин. — Ну, раз вы сами разрешили спрашивать, то позвольте узнать, чем же вы занимаетесь? Можете не отвечать. Даже послать меня к черту.

— Занимался всем понемногу. В последнее время был даже ночным портье, швейцаром то есть, в той же гостинице, где вы остановились.

— Да? А теперь?

— Теперь просто живу. Вернее, доживаю.

Что-то безотрадное было в этом «доживаю».

Такси ожидало их. Они быстро доехали до гостиницы.

— Спасибо, Сергей Павлович. Мы пробудем здесь еще три дня.

Ромадин протянул руку Щеглову. Только теперь он заметил, что правая рука у того была в черной перчатке и неподвижна.

— На войне? — спросил Ромадин.

— Нет. На допросе. В гестапо.

Ольга Степановна и Ромадин ушли. Щеглов остановился у киоска — он покупал сигареты, в зеркальной витрине отражалась улица, — он видел, как Ольга Степановна что-то говорила Ромадину быстро и, видимо, взволнованно.

\* \* \*

Вечерами Щеглов по обыкновению сидел в салоне гостиницы, рассеянно глядел на потухшую сигаретку и о чем-то думал, не замечая, как пепел падал на лежащий на коленях журнал. Он слегка вздрогнул, когда Ромадин тронул его за плечо.

— Я заходил к вам. Можно присесть? — Ромадин подвинул кресло и сел.

Щеглов смотрел на него внимательно и серьезно. Теперь, когда на нем не было темных очков, видны были его глаза с покрасневшими веками, глаза пожилого, усталого и много видевшего в жизни человека.

— Я чувствую себя в известном смысле виноватым, Сергей Павлович.

— В каком смысле виноватым? — спросил Щеглов, стряхивая пепел.

— В том, что я лез в чужую душу. Вот и Ольга Степановна тоже находит...

— Вы, может быть, из-за этого? — Щеглов покосился на свою искаленную руку. — Что вспоминать! Это — прошлое. Мне понравилась ваша непосредственность.

— С такой непосредственностью часто попадают впросак... хотелось бы с вами поговорить серьезно, по душам... Но...

Ромадин оглянулся. Только что кончился ужин, люди переходили в салон, слышался смех, английская и немецкая речь. Рядом, за столиком, какая-то шумная компания собиралась играть в карты.

— Здесь, пожалуй, не место для разговора по душам. Пойдемте ко мне, если хотите, — сказал Щеглов.

Они поднялись на второй этаж. Сергей Павлович открыл дверь своего номера. Ромадина поразил нежилой вид большой, мрачной комнаты, темно-красный плюш драпировок, картина в тяжелой золоченой раме, изображающая извержение Везувия. Только небубранная постель за перегородкой и раскрытая книга на столе были признаками того, что здесь кто-то живет.

— Садитесь. Хотите выпить? Я позвоню.

— Нет.

Ромадин сел, его немного смущало то, что Щеглов продолжал стоять и смотрел на него по-прежнему грустно, как будто думал о другом.

— Мы говорили о непосредственности... Пусть это даже бестактность. Вы сегодня днем сказали «доживаю» и сказали так, что у нас сжалось сердце. А я человек не сентиментальный и кое-что видел в жизни. Не знаю, по какой причине вы живете здесь и ради чего, но если человек с вашим образованием служил ночным швейцаром в гостинице!.. Это для здешнего русского может быть естественно, но для меня непонятно.

— Ну что ж, давайте поговорим... Я даже не доживаю. Во мне что-то умерло. Может быть, я более мертв, чем те, кто лежит там на горе, под мраморными плитами. Более одинок, чем те, кто давно умер и забыт близкими и друзьями.

Сергей Павлович ходил из угла в угол.

— Если бы вы знали мою жизнь, — продолжал он, — то поняли бы, что у меня не может быть ничего общего со «здесьними русскими». Не потому, что они все дурные люди — среди них есть просто несчастные, — но по другой причине. Я рос совсем в другой среде, даже формально я не эмигрант, отец мой жил здесь и умер, как политический эмигрант, за шесть лет до революции. Но рассказывать об этом долго. Скажу только, что никаких разногласий у меня с вами и вашими товарищами нет. Дело не в вас, а во мне. В том, что еще совсем недавно я был на пороге самоубийства. Когда я думаю о своей жизни, то удивляюсь, какая сила удерживает меня на этой земле. Дважды я терял самое дорогое, а если знал светлые дни, то они были мимолетны, счастье было коротким, и у меня отнимали его изверги и мерзавцы... Вот я живу здесь, среди этой пыльной роскоши, в довольно дорогом номере гостиницы, где три месяца назад служил ночным швейцаром. То, что я могу два-три месяца не думать о завтрашнем дне, сделала простая, глупая случайность. А до того я голодал, лежал сутками в постели, чтобы не чувствовать голода, но и это могло длиться недолго, — за жалкую щель, в которой я ютился, надо было

платить. Но самое страшное, невыносимое — одиночество, сознание того, что ни в этом городе, ни в целом мире нет живого существа, которому ты нужен. Отчаяние, безнадежность, тоска... С такими чувствами куда идти?

— А вы не думали о возвращении на родину? — спросил Ромадин.

Щеглов молчал. Потом продолжал грустно:

— Прежде всего я благодарю вас и Ольгу Степановну хотя бы за то, что вы поинтересовались моей особой. Никого не интересовала моя судьба. Правда, кое-кто мне сочувствовал, это были такие же бедняки, каким был я. Но у этих бедных людей и без меня много горя.

Он жестом остановил Ромадина, который хотел его прервать.

— Вернуться на родину? Конечно, мне приходила в голову эта мысль. Но поставьте себя на мое место. Пяти лет мать привезла меня во Францию. Обстоятельства сложились так, что после смерти отца меня швыряли из угла в угол, как надоевшего щенка. Правда, мне дали образование, послали в Англию, затем в Мюнхен. В России у меня никого нет, родных со стороны отца или матери не существует. Кому там нужен человек с дипломом философского факультета Мюнхенского университета? Наконец, позвольте спросить вас, вы знаете меня? Неужели эта рука, искалеченная гестаповцами, служит пропуском? А что, если я не выдержал пыток? Были такие случаи! Почему вы верите мне? Поверили вы, и я вам благодарен, но другие? Тысячи других людей в России?

— Если бы зависело от меня, я бы вас пустил. Сам не знаю почему, но мне кажется, это не было бы ошибкой.

— Интуиция?

— Черт его знает, как это называется! Надо верить в человека, об этом не раз говорили умные люди.

— Верить? Хотите знать обо мне все? Все до конца?

Он открыл ящик письменного стола и достал три тетрадки.

— Здесь написано все о человеке по фамилии Щеглов. Я писал это не потому, что хотел описать свою жизнь, а потому, что мне надо было научиться писать левой рукой. Первые страницы написаны ужасным почерком, но разобрать можно. Прочтите и верните мне... хотя бы для того, чтобы я мог это уничтожить.

— Я верну вам завтра утром. Здесь не так уж много.

— Достаточно для того, чтобы узнать, кого вы встретили на чужбине.

Ромадин взял тетради, простился и вышел.

Вот что было в тетрадях, которые Щеглов дал прочесть Ромадину.

## ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

### 1

Можно ли назвать родиной страну, которую я едва помню?

Какие воспоминания могут быть у ребенка, которому не было еще пяти лет, когда его увезли из вологодской глуши, после того как его отец бежал из ссылки за границу.

Очень смутно помнится мне бревенчатый угол комнатки, кровать со множеством подушек. В открытую настежь форточку клубами



врывается морозный воздух, колокольный звон, густой, гулкий, такого звона я нигде потом не слышал на Западе.

Когда я подрост, мать рассказывала мне, что я родился в прежней столице Строгановых — Сольвычегодске, и показывала выпись из метрической книги Благовещенской соборной церкви, в которой названы родители: Павел Михайлович Щеглов и его законная жена Антонина...

Этот единственный документ связывал меня с отчизной.

Еще воспоминания всплывают в памяти, когда я думаю о детстве в России. Вагон, скользкая жесткая полка, на которой я лежу рядом с матерью. Потом большая светлая комната, какие-то огромные усатые люди в голубых мундирах с серебряными пуговицами роются в корзине матери, что-то смотрят на свет, ощупывают, ворошат...

Потом вдруг ветер, туман, соленые брызги в лицо, черный дым из трубы, вокруг ходят люди, что-то говорят, но я их не понимаю.

Мать показывает рукой в сторону исчезающей темной полосы. Там — Россия.

Затем, как бы из тумана, возникает нечто похожее на огромную пасть, вокруг множество людей, говор, облака пара, моя мать ведет меня за руку, рядом с ней кто-то высокий, голубоглазый — это мой отец. Мы идем куда-то — улица, катят телеги без лошадей, еще больше красивых телег с лошадьми, но телеги и лошади не такие, как в Сольвычегодске, и нет снега, нет деревянных домиков — все другое.

Идут дни, месяцы моего детства. Мы живем в Париже, в маленькой тесной квартире, близ парка, который называется Монсури. Там пруд с островком, зеленые лужайки. Я с завистью смотрю на других детей, они катаются на трехколесных велосипедах, отец обещает мне купить такой, «когда мы разбогатеем». И это смешит мою мать.

Однажды в парке какой-то усатый мужчина заговорил со мной:

— Ты русский мальчик? А кто твой папа? Как его фамилия? Где вы живете?

Но тут подходит мать, берет мою руку и что-то сердито говорит усатому господину, отчего тот краснеет и уходит.

— Это царский шпион из посольства, — говорит моя мать. — Подлецы! Даже наших детей не оставляют в покое!

Отец где-то работает. Мне нравится, когда он прикрепляет к кухонному столу кнопками листы плотной бумаги, достает из плоского футляра блестящие штучки и объясняет мне, как они называются: циркуль, рейсфедер. Он сидит за столом до поздней ночи. Засыпая, я слышу голос отца:

— Работать на этого скотину Брезака! Каторга!

— Уж тебе бы не говорить! Сам чуть-чуть не каторжник, — улыбается мать.

Я вижу ее у окна, она заплетает косы у крошечного зеркала — стройная, красивая. Отец тоже красивый, высокий, только очень худой, с золотистой шевелюрой. Потом все меняется в нем, я помню его больного, с высохшими руками, мертвенно-бледного, кутающегося в плед и кашляющего раздрающим грудь кашлем. И постоянный запах лекарств в комнате как-то очень быстро и неожиданно сменяется запахом роз и магнолий в саду, где в тени пальм и платанов полулежит в кресле мой отец. Эта перемена совершается быстро, по крайней мере в моем сознании. На самом деле прошло почти пять лет. Мы разбогатели, и у меня не только трехколесный велосипед, но своя комната, полная игрушек, и воспитательница-англичанка, мисс Питерс.

Мой отец, Павел Щеглов, сын железнодорожника-машиниста, погибшего во время крушения на Московско-Казанской дороге.

Хотя на «Казанке» крушения были особенно часты, газеты обратили внимание на этот случай, и Общество, которому принадлежала Казанская дорога, объявило, что оно позаботится о семьях погибших железнодорожников. До двенадцати лет мой отец воспитывался в сиротском доме, затем ему выделили стипендию. Мальчик, обнаруживший способности к наукам, был определен в реальное училище, кончил его и был принят по конкурсу в Московское инженерное училище, которое в то время называлось «императорским». Это уже открывало дорогу к хорошей должности и полному довольству. Но мой отец не порадовал своих благотворителей, господ фон Мекк. На втором курсе он был исключен из инженерного училища. В то время над страной уже реял буревестник, «черной молнии подобный», и тогдашний московский обер-полицмейстер, впоследствии знаменитый петербургский Трепов, свирепствовал, подавляя студенческие беспорядки. С юношеских лет мой отец состоял в марксистских кружках, он был арестован и заключен в тюрьму.

В кружке Павел Щеглов познакомился с девушкой, Антониной Бочковой, дочерью богатого московского купца, решительной и смелой девицей, с которой не могли справиться строгие родители.

О том, каков был быт в особняке Бочковых, я узнал уже юношей от матери. Если этот быт не совсем походил на «темное царство» в пьесах Островского, то только потому, что недалеко был девятьсот пятый год, и старик Архип Иванович Бочков находился в состоянии растерянности, даже бессловесные прежде его «молодцы»-приказчики осмеливались не ходить к ранней обедне, как это было заведено при отце и деде хозяина.

Но когда родная дочь, Антонина, девушка восемнадцати лет, стала самовольно уходить из дома в какие-то рабочие школы и пригрозила, что вообще уйдет из дома,— Бочков понял, что надвигается нечто невиданное, подобное светопреставлению. Главное же то, что самодержавная власть, в которую он незыблемо верил, вдруг покосилась и дала трещину, сначала где-то на краю света — на сопках Маньчжурии.

Дочь тем временем, под видом невесты, ходила в тюрьму на свидания к бывшему студенту. О чем они договорились в тюрьме через две проволочных сетки, стало известно, когда она объявила Бочкову, что желает обвенчаться с политическим преступником Павлом Щегловым. Притом бракосочетание должно произойти в тюремной церкви накануне ссылки Щеглова.

Приняли крутые меры. Дворнику приказали не выпускать барышню со двора, мрачный верзила свято выполнял хозяйский приказ.

Архип Иванович надел Станислава третьей степени, большую золотую медаль «За усердие» и поехал к обер-полицмейстеру.

Бывший студент, в результате недолгого разговора Бочкова с Треповым, был вызван еще раз на допрос в охранный отделение, и жандармский ротмистр фон Бланк объявил ему высылку в места не столь отдаленные, в Вологодскую губернию, по этапу.

Через неделю приказ дворника не выпускать барышню был отменен. Антонина Архиповна вырвалась на свободу, но в тюрьме уже не застала любимого. Через товарищей она пыталась узнать, где он находится. «Товарищ Андрей», самый близкий друг Павла Щеглова, утешил девушку: «Не такой человек Павел, чтобы не дать о себе знать. Вероятно, не доехал до места и уже сбежал».

Вскоре Павел дал о себе знать. Произошло это таким образом: жандармский ротмистр фон Бланк имел привычку до обеда прогуливаться по Петровке и Кузнецкому мосту, разглядывая московских барышень, главным образом гимназисток. И вдруг ротмистр, обладавший острым зрением и хорошей памятью, заметил высокого молодого человека в студенческой шинели. Ротмистр вскинул пенсне (в котором не было нужды при жандармской дальновзоркости) и поманил молодого человека пальцем. Тот остановился в двух шагах и без малейшего смущения смотрел на фон Бланка:

Произошел приблизительно такой диалог:

— Почему вы здесь? Вам, господин Щеглов, надлежит быть совсем в другом месте.

«Господин Щеглов» ответил:

— Почему господин ротмистр Бланк здесь? Ему надлежит быть тоже в другом месте, в его отхожем месте, на Гнездниковском.

Ротмистр Бланк окаменел и едва проговорил:

— Вот я сейчас кликну городского и отправлю вас...

— Не успеете.

— Почему? — в изумлении спросил ротмистр.

— Я успею вас застрелить.

Ротмистр побледнел и боком побежал через улицу в переулок. Впрочем, у отца не было револьвера.

За эту выходку товарищи побранили моего отца, но кое-кто сообщил, что ротмистр, потерпев конфуз, вряд ли станет поднимать историю. Было решено, что Павел Щеглов вернется в Сольвычегодск, к месту ссылки. А спустя несколько дней Антонина Бочкова убежала из родительского дома и явилась в Сольвычегодск. Там и совершилось бракосочетание, и Архип Бочков успокоился на том, что лишил дочь приданого.

Прожили молодые в глуши недолго. Через год отец бежал из ссылки и перешел на нелегальное положение. Мать изредка получала от него весточки, она знала, что он на свободе, а он знал, что у него родился сын, которого назвали Сергеем. Затем от отца пришла весть сначала из Мюнхена, потом из Парижа. Мать собралась со мной в Париж, после того как мы некоторое время жили в Вологде. Тайным благодетелем, который помогал во всем моей матери, была ее матушка, нежно любившая свою младшую дочь Антонину.

Таким образом в девятьсот восьмом году в Париже произошла встреча моей матери с отцом и началась наша бедная эмигрантская жизнь.

Мы пережили нужду и нищету, но еще худшие времена наступили, когда отец заболел и не мог, как прежде, работать. Все это, конечно, я знаю только по рассказам матери, я был еще мальчуганом, когда стало ясно, что мой отец безнадежно болен туберкулезом.

Спустя несколько лет, уже юношей, я спрашивал мою мать, почему она не обращалась к своим родным.

Однажды она сказала мне:

— Матери моей уже не было в живых, она меня жалела. А отец... Ну, ты не поймешь этих людей. Дядя мой, Василий Бочков, клялся перед иконой, что если выиграет по билету двести тысяч — половину пожертвует на колокол в церкви Никиты-мученика. И представь, — выиграл двести тысяч. И до того ему стало жалко отдать половину на колокол, что взял, скаред, веревку, пошел на чердак и удавился. Вот что это за люди!

Жили мы все хуже и хуже. В тесной квартирке у нас по-прежнему бывали такие же бедняки, как мои родители, спорили, рассуждали, и до поздней ночи слышались выкрики: «Дума!», «Трудовики!».

Меня отправляли спать; проснувшись, я иногда видел заночевавшего у нас незнакомого человека. Так я запомнил «товарища Андрея», с которым сдружился, он называл меня «вологодский медвежонок» и учил петь «Вышли мы все из народа». Видимо, отец слабел, ему становилось хуже, реже стали собираться у него товарищи, выходили курить на кухоньку, сочувственно качали головами, вспоминали, каким молодцом был отец.

Разумеется, я многого не понимал, но позднее, когда слышал рассказы матери, они в моем сознании дополнялись смутными детскими воспоминаниями.

Однажды мать собрала не законченную отцом работу и, взяв меня за руку, отправилась в бюро архитектора Брезака на улицу Фобур Монмартр. Во второй или в третий раз я увидел этого свежего, румяного блондина. Мог ли я, мальчик, подумать о том, что он как-то слишком уж внимательно и заботливо относится к моей матери. Помню, как он встретил мою мать, пригласил ее в кабинет и долго беседовал с ней, томно смотрел на нее и сочувственно вздыхал.

Отец уже давно не поднимался со скрипучей кровати, мучительным усилием сдерживал кашель и сердился, когда замечал, что товарищи стараются не засиживаться, чтобы не утомлять больного. А больной по-прежнему хочет жить полной жизнью, требует, чтобы ему приносили газеты, и когда мать читает ему русскую, я часто слышу запомнившиеся мне слова: «буржуазия», «революция», «пролетариат».

Потом все изменилось. Произошло то, чего никак не могла ожидать моя мать. Началось это с письма из банка «Лионский кредит».

Банк сообщал госпоже Щегловой, что в ее распоряжении находится огромная сумма денег, поступившая из Москвы от ее сестры Марии Архиповны Бочковой. Это было приданое матери, которое после смерти старика Бочкова, согласно его завещанию, должно было перейти младшей его дочери, Антонине.

— Я до сих пор не понимаю, — рассказывала мне, юноше, мать, — какая причина заставила отца отдать нам эти деньги. Единственными его наследниками была старшая сестра Маша и брат Егор — полудиот. То ли наша мать взяла с него обет, то ли он узнал, что Павлуша долго не проживет... Одно только знаю, что деньги эти не принесли мне счастья.

Если бы эти деньги пришли на пять лет раньше, жизнь моего отца была бы продлена. А теперь ему уже не могли помочь ни знаменитые врачи, ни юг Франции, куда увезли умирать Павла Щеглова. Он не дожил шести лет до того дня, о котором страстно мечтал, — до социалистической революции в России.

### 3

Еще до переезда на юг все изменилось в нашей жизни.

Мы живем в квартире на бульваре Курсель, господин Брезак навещает нас, с ним еще один господин, и я слышу какие-то новые для меня слова: «облигации», «девизы», «Лионский кредит».

Отец лежит в громадной светлой комнате, при нем сиделка, каждый день приезжают важные господа — врачи. Из старых товарищей бывает только Андрей, но он уже не шутит со мной, а, беседуя с матерью, испытующе смотрит ей в глаза и неодобрительно покачивает головой.

Я занимаюсь с репетитором, меня готовят в лицей Сен Жозеф. но отец говорит со мной только по-русски и требует, чтобы мать тоже

говорила со мной по-русски — «а то воспитаешь еще «французика из Бордо». Иногда он рассказывает мне о России, о русской зиме, о высоких елях, о трескучих морозах и снеге, я плохо понимаю, потому что мы переехали на юг и перед нами пышные южные цветы, пальмы, лавры — вечная зелень юга.

Однажды в парке играла музыка. Отец насторожился: «Слушай!» Играла что-то торжественно-прекрасное, в звуках слышалась грозная сила, и мне представился сказочный, невиданный лес и шум сосен... Мальчик, я был потрясен этой волшебной, могучей мелодией. Через десять лет я узнал эту мелодию, когда услышал в концерте вторую, «Богатырскую», симфонию Бородина.

Иногда мать уезжала в Париж, и мы оставались вдвоем с отцом, всем ведала мисс Питерс. Мать уезжала обычно на неделю и возвращалась взволнованная, оживленная, помолодевшая, хотя она тогда и так была молода. Она привозила отцу русские газеты, письма и записки товарищей и рассказывала о том, как выполнила его поручения.

— Правду тебе сказать, — рассказывала она мне потом, спустя годы, — я жила странной, двойной жизнью в Париже. Я встречалась с товарищами Павла, передавала им его письма и деньги, а мы тогда были в состоянии давать деньги на революцию. Товарищи очень жалели Павлушу, они знали, что ему осталось недолго жить... А вечерами... — тут она отводила глаза, — появлялся месье Брезак. Я же совсем не знала парижской жизни, мы были бедные, а тут все изменилось, я узнала другую жизнь — дорогие рестораны, легкомысленные театры и кабаре Монмартра... Это было так увлекательно: «душа Парижа» — эстрадная певица Мистенгет, прелестный певец Монмартра Майоль, а я была молода и ничего еще не знала, не видела жизни. Что я видела? Папашин дом на Таганке, а потом вологодскую глушь, ссылку, потом нашу бедную квартирку на окраине Парижа. Вот так началась для меня другая жизнь... А Павлуша доживал свои последние дни...

Отец все понимал, и хотя ему было тяжело, когда мать уезжала в Париж, он прощал ей эти отлучки, радовался, когда она возвращалась и они могли вместе вспоминать прошлое — студенческие годы, сходки, споры, трудную жизнь отца в подполье. Он говорил матери:

— Чем жить так, как я живу теперь, лучше не жить... И напрасно ты увезла меня из Парижа, там — товарищи... А что здесь? Ну проживу лишние месяцы, какая это жизнь? Вот только вас обоих жаль. Мальчика не бросай на чужих людей, он — чахлый какой-то. Я в его летах был молодец, драчун, крикун... А он вялый, робкий, его в лицее будут обижать. Притом без родины... — Подумав, он продолжал: — А что тебе делать на родине? Там у тебя ни одной родной души, кроме идиота братца и ханжи-богомолки твоей сестрицы. Съест она тебя, и родичи ей помогут. А здесь? Найдешь себе... — и он умолкал, закрывая глаза.

Он умер тихо, так тихо, что мать это заметила, когда она о чем-то спросила его — ответа не было. Все было кончено.

Только два раза я был на могиле отца. Первый раз — в день, когда его хоронили, я запомнил яму, вырытую в желто-красной земле, и черный гроб. Второй раз я был на могиле, когда уезжал из Франции, и между первым и вторым посещением прошло почти полвека. Уже седой, много переживший человек стоял у мраморного надгробия, где стертými буквами было написано имя его отца, даты рождения и смерти. Ниже, почти у самого газона, на камне было написано, что могила находится под присмотром на основании договора родственников покойного с администрацией кладбища. Не узнавая этого

места, я думал о том давно минувшем дне, когда здесь у вырытой могилы стояла высокая красивая женщина и мальчик...

В день похорон мать была как помешанная. Два дня она сидела в спальне, не позволяя убирать постель, на которой умер отец... И тут неожиданно возник Брезак. Он взял на себя все заботы, даже разыскал православного священника, но мать пришла в себя и сказала, что похороны должны быть гражданские, согласно воле отца. Брезак сделал скорбную мину и сказал, что понимает эти чувства, он сам был масоном и только недавно вышел из ложи, вернувшись в лоно католической церкви.

В Париже он зачастил в наш дом, занялся делами матери, объяснил ей, что она женщина с хорошими средствами, что ее капитал почти равен его капиталу.

— Но, дорогая Антуанетта, разве я изменился к вам с тех пор, как ваше положение изменилось? Я остался таким, как в тот день, когда я увидел вас в первый раз в моем бюро. Я был потрясен — молодая красивая женщина в такой бедности, притом Поль уже не мог работать... Я принимал его чертежи и складывал их в ящик и платил за, в сущности, бесполезную для меня работу. Я понимал ваше положение, Антуанетта. Когда у вас появились большие деньги, я стал бывать у вас, но с Полем было трудно ладить, вы знаете, как он раздражался в наших маленьких спорах о русской политике. Я терпел даже оскорбления... И все ради вас, моя дорогая...

Он пользовался каждым случаем, чтобы убедить мать, будто он обожал ее чуть не с первой их встречи.

— Ты должен знать, — говорила она мне, уже двадцатилетнему молодому человеку, — я была страшно одинока в то время. Товарищи Павла перестали к нам приходить после того, как мы переехали на бульвар де Курсель, изредка приходил только Андрей, он видел, что Павлушу не могло изменить богатство. Когда твоего отца увезли на юг, Андрей понимал, что видит его в последний раз. И вот я соришила Павлушу, вернулась в Париж. Я со страхом думала о России, меня пугала моя родня, злобная сестра Маша... Я была так растеряна, одна, без Павлуши. Он говорил правду, когда шутил, что в кружок я приходила не для того, чтобы набраться ума, а потому, что полюбила его, Павлушу... И товарищи, мне кажется, это понимали и подшучивали надо мной... Но все это ушло, и я одна, в Париже... А тут Брезак со своей учтивостью и любезностями. Как-то незаметно он стал главным в доме, потом просто необходимым, и все новые знакомые заговорили, что он должен на мне жениться, что это выгодный брак, он берет красивую жену с хорошим капиталом... Так прошел год, и я поняла все, что произошло, только в тот день, когда он переехал к нам... Что-то умерло во мне, но я не себя жалею, а тебя... Я виновата перед тобой, Сережа...

Она понимала свою вину, потому что если и было никому не нужное существо в этом доме, то это существо был я — слабенький, робкий мальчик. Мой отчим не был со мной ни груб, ни резок в обращении, он просто не замечал меня, и так я жил, ходил в лицей, терпел насмешки товарищей, прятался в дальних комнатах, когда бывали гости, издали, иногда в шелку, слушал, как моя мать на отличном французском языке снисходительно и величаво беседовала с гостями. Она как будто свыклась со своим положением дамы из буржуазного общества, жизнь ее текла спокойно и ровно даже в годы первой мировой войны, когда мы переехали на юг. Брезак купил виллу, он присмотрел ее, когда приехал, узнав о смерти моего отца. Все было точно рассчитано у этого человека, он знал, что будет нужен в тяжкие для матери дни, пожалуй, он уже тогда был уверен, что женится на

ней и удвоит свое состояние, и заранее купил виллу на Лазурном берегу.

Я рос, с годами мать все меньше обращала на меня внимание, но я благодарен ей за то, что она исполнила волю отца — «французика из Бордо» из меня не сделали. Мать нашла почтенную русскую женщину из политических эмигранток, Дарью Фоминишну, и я буду вечно благодарен этой женщине за то, что она внушила мне любовь к родному языку, открыла мне глубину и прелесть русской поэзии, привила любовь к великой нашей литературе, и я остался сыном моей Родины, несмотря на то, что прожил почти всю жизнь на чужбине.

#### 4

Я думаю о годах, когда мальчик становился юношей, мне трудно припомнить что-нибудь значительное в моей тогдашней жизни, даже в годы войны, — я говорю о первой мировой войне.

В начале войны я еще играл в солдатики, и моя оловянная армия была в тех же красных штанах, в которых начинали войну французские солдаты, потом армию одели в серо-голубую форму. Я вырос и уже не играл в солдатики. Почти всю войну мы прожили на юге, Брезак вернулся в Париж, как только немцев отбросили от Парижа, после битвы на Марне. Он приезжал изредка и, насколько я понимал, очень был недоволен Россией и недовольство свое изливал перед матерью:

— Завоевать всю Галицию и потом отступить, отдать генералу Макензену! Потерять миллион людей и никаких результатов! Что это значит, Антуанетта? Объясните мне, вы же русская!

Он произносил время от времени целые монологи, называя с забавным акцентом русские фамилии, одну он произносил особенно часто: «Распутин», при этом разводил руками и высоко поднимал плечи в изумлении.

Свержение царя он одобрил, но пришел в неистовство, когда после февральской революции начались волнения среди русских солдат, сражавшихся во Франции: они потребовали, чтобы их вернули на родину. В памяти моей матери еще сохранилось то, что говорил ее первый муж в дни ее молодости, и она возражала Брезаку: она говорила о народе, о невыносимом гнете, который, наконец, сброшен навсегда, и это выводило Брезака из себя:

— Я знаю, откуда у тебя эти мысли! О, эти русские антимилицаристы! Наш Эрве был тоже антимилицаристом, но началась война — и он переродился, он издает газету «Виктуар» — «Победа!» Вот что значит настоящий патриотизм. Солдат должен воевать! Марш вперед и в атаку!

Я уже разбирался в смысле событий и в том, что происходит в России, когда моя мать сказала мне, что все товарищи моего покойного отца уехали на родину, что Ленин уже в России и первые его слова, когда он ступил на родную землю, были: «Да здравствует социалистическая революция!»

— А Павлуша не дожил до этих дней! — вздыхая, говорила мать.

Павлушу она не могла забыть.

Я помню неистовство Брезака, когда пришли первые вести об Октябрьской революции, почти год или два он находился в состоянии негодования. Выход России из войны, провал антисоветских заговоров, подавление контрреволюционных мятежей огорчали его, но он успокаивал себя:

— Все это было у нас в тысяча восемьсот семьдесят первом, найдутся же и у русских версальцы, чтобы покончить с Коммуной, как это было у нас!

Но что его окончательно вывело из себя — это аннулирование царских долгов, хотя он не был крупным держателем русских займов. Его даже радовали потери, которые понесли некоторые его конкуренты. Когда появились первые русские беженцы — белые эмигранты и началась торговля национализированными именьями, рудниками, нефтяными источниками, он было соблазнился и купил за ничтожную сумму какие-то земли в Саратовской губернии, но успел их перепродать до того, как стало ясно, что никаких земель у камер-юнкера Кутайсова в Саратовской губернии не существует.

В девятьсот двадцатом году Париж был наводнен русскими белыми, ожидавшими со дня на день падения советской власти. На Монмартре открывались русские трактиры, кавказские погребки, выходили русские газеты, на бульварах слышалась русская речь. Брезак относился к этому с любопытством до тех пор, пока исход белых из России не коснулся его самого:

— Откуда эти господа узнают, что я женат на русской! Да, я женат на тебе, Антуанетта, но почему я обязан давать деньги каким-то назойливым дамам на часовни, детские приюты, русскую гимназию? И когда я отказываю, эти дамы обижаются: «Мы полагали, что месье Брезак, как супруг нашей соотечественницы, сочтет своим долгом протянуть руку помощи страдальцам и страдальцам, жертвам большевизма»...

Но Брезака ожидал еще один сюрприз.

В один прекрасный день к моей матери явилась Мария Архиповна, старшая ее сестра. Она бежала из Москвы в Крым, из Крыма через Константинополь три месяца пробиралась в Париж. Мать приняла ее сердечно и позвала меня. Я впервые увидел свою тетку — седую, костлявую женщину со злыми, бегающими глазками. Она оглядела меня с головы до ног и сказала, что хотя я не совсем похож на Бочковых, но чем-то напоминаю ей какого-то дядю Василия.

В тот день, когда мы познакомились, я не думал, что мне придется переехать в дом к этой женщине и что Брезак устроит это очень ловко: он убедил мою мать, что мне лучше жить среди русских, поскольку я остаюсь русским по воле моего отца.

Мария Архиповна приняла меня в дом охотно, потом я понял, что и здесь приложил руку Брезак, пообещав ей выгодно устроить ее денежные дела.

Я вначале как-то не заметил перемены — после квартиры на бульваре Курсель, огромной и роскошной, я очутился в маленькой квартире в Пасси в качестве жильца у Марии Архиповны. Здесь бывала совсем другая публика: какие-то бывшие кирасиры его величества, гусары Сумского полка, протоиерей русской церкви, бывшие директора банков, фабриканты, сомнительные дельцы, торговавшие акциями Майкопских промыслов, домами в Москве и Петрограде и пензенскими именьями.

Мария Архиповна возненавидела меня с первого дня, как только я переехал к ней, и потом уже иначе чем «выродок», «хамово отродье» меня не называла. Она упрекала себя в том, что исполнила волю своего отца и выделила приданое Антонины, что мой отец, «арестант» и «крамольник», тратил деньги на революцию и эти же революционеры пустили Бочковых по миру. Она ругалась, как базарная торговка, ругала кстати и Брезака, который «ограбил эту дурицу Антонину». Я молча переносил все, но когда однажды она назвала моего отца «каторжной сволочью», я запустил в нее чашкой



и убежал, вернулся к матери, сказав, что лучше умру с голоду на улице, чем вернусь к тетке.

Я не видел мать шесть месяцев и поразился перемене — она постарела, в светло-золотых ее волосах появились серебряные пряди, не стало прежнего румянца. Она была бледна, говорила как-то бесвязно, глухим, едва слышным голосом, стала замкнутой и молчаливой. Ей было безразлично, где я живу, — у тетки Марии Архиповны или в доме Брезака. Я думаю, ее слова было бы достаточно, чтобы я не переселился к тетке, но она не сказала этого слова.

## 5

Я вырос в Париже и запомнил, каким он был до первой мировой войны и после нее. Еще в двадцатых годах на улицы близ площади Звезды савояры пригоняли стада коз и продавали любителям козье молоко. На авеню Ваграм бродячие певцы торговали нотами новых песенок, разучивая их вместе с толпой зевак под аккордеон. Еще не ушла в прошлое мода на декадентские люстры и лампы в виде лотосов, многие улицы, где движение замирало в десять часов вечера, освещались газовыми фонарями.

В конце двадцатых годов протянулись вдоль фасадов изумрудные и рубиновые нити неоновых трубок, и на Эйфелевой башне вспыхивала трехсотметровая реклама автомобилей Ситроэн. Жизнь не затихала всю ночь на Монмартре и Монпарнасе. Всю ночь были открыты бары, магазины торговали предметами роскоши, даже драгоценностями, в сутолоке автомобилей пробирались публичные женщины и темные личности, сующие в руки прохожих карточки с адресами домов терпимости и врачей венерологов.

Мои сверстники, товарищи по лицу, смеялись надо мной, когда я в первую же ночную прогулку убежал от них. Но с той ночи меня стало тянуть туда, на Монмартр.

Молоденькая продавщица из универсального магазина «Самаритэн», с которой я познакомился в дансинге «Черный шарик», оказалась милой, ласковой и догадалась, что много выпивший в ту ночь юноша до того не знал женщин. Я впервые понял, что означает ни с чем не сравнимая близость, но вместе с тем пришло разочарование и горечь. Мне казалось, что такая близость связала нас обоих чуть не навсегда, и горько было узнать, что я был только один из случайных возлюбленных этой девушки, — там же, в «Черном шарике», я увидел ее с красивым парнем летчиком, а потом с пожилым господином в веселой и шумной компании.

Это было первое разочарование моей грустной молодости. С тех пор я тосковал по настоящей любви. Моя мать тревожно поглядывала на меня и первая заговорила о моих переживаниях. Она понимала, что мог чувствовать невзрачный робкий юноша, потерпевший первое крушение, и старалась меня утешить. Хуже было то, что вмешался Брезак. Его не тревожил мой роман с девушкой из универсального магазина, это было в порядке вещей, он боялся другого — «мещанской трагедии» вроде покушения на самоубийство, это могло бросить тень на его дело.

— Этот молодой человек создан для несчастной любви, — говорил Брезак моей матери, — он из таких, я бы не хотел иметь в своем доме Вертера в потенции.

Три лета подряд я уезжал в Лондон для практики в английском языке. Я жил у родственников моей первой учительницы, мисс Пи-

терс, жил вдали от центра, в Твикенгамме, тихом пригороде. Мои хозяйки — две старые девы. Маленький дом с садом, типичный английский коттедж, — все это нравилось мне. Когда я теперь думаю о Лондоне, то вспоминаю, что писал Герцен, живший в этих местах: «Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон». Дальше он пишет: «Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки».

Я научился жить один, жить с книгами в библиотеке, на велосипеде я уезжал в ближний парк, сидел под столетними дубами на лужайке, смотрел издали на Лондон, точно нарисованный тончайшими акварельными красками на горизонте, уходил мечтами в далекое прошлое. Здесь, в парке, который был в те времена дремучим лесом, охотился король Генрих VIII, и так же струила холодные свинцовые воды Темза и шумели дубы...

После моего неудачного романа Брезак поторопился отправить меня в Лондон. Вообще он старался убрать меня из дому под любым предлогом. Он знал, что моя мать не помешает ему, мы с годами отдалялись друг от друга. Только потеряв мать, я понял, что она была единственным, самым близким мне существом, понял и то, что она перестала существовать как личность, похоронив моего отца. Правда, моя мать была очень взволнована, когда я убежал от Марии Архиповны и когда рассказал о диком характере ее сестры и о том, что она обозвала меня «хамовым отродьем». Мать покраснела и заговорила со мной нежнее, чем обычно:

— Да, были такие слухи, вероятно они дошли до нее. Моя матушка в молодости жила взаперти, муж был старше ее... Поговаривали, что у нее была связь с приказчиком Бочковых, Лешей Сапожниковым. Его сдали в солдаты, в гренадерский полк, и убили под Плевной. Но, может быть, это сплетни, хотя в старых купеческих семьях бывали такие истории. Отец твой тоже кое-что слышал и как-то сказал: «Уж лучше быть дочкой молодца гренадера, чем сквалыги Бочкова. Вот твоя сестра — ведьма, — та наверное от него». — Она продолжала печально и с горечью: — Может быть, нам с тобой после смерти Павлуши лучше было бы уехать на родину. Но мы были бы там одиночки, так одиночки. О Бочковых ты можешь судить по моей сестре Марье. Ах, Павлуша, какой он был веселый, твой отец, и смелый... Андрей мне многое рассказал после его смерти. Он однажды перевозил шрифт для тайной типографии, за ним гнались, и он отстреливался. А все-таки ушел и потом в тюрьме, если бы его опознали, то по сто первой статье полагалась смертная казнь через повешение. Но ему удалось бежать за границу. А откуда пришла болезнь? Он под Ярославлем переезжал Волгу весной, накануне ледохода, и провалился под лед, вытаскивая ямщика из полыньи. И два месяца пролежал с воспалением легких, вот откуда чахотка...

Она вдруг замолчала, из дальних комнат слышался звонкий голос Брезака — он кого-то бранил по телефону.

— Я до сих пор думаю, почему мы не уехали в Россию. Надо было уехать из Парижа сейчас же, еще в девятьсот двенадцатом. Потом я все откладывала, о России рассказывали ужасы. Брезак... Он мне казался хорошим человеком, он был очень заботлив, внимателен ко мне. Только ведь он «оверньак». Они там в Оверни все такие — прежде всего деньги, дела и деньги... Я не могу пожаловаться на него, жена для него собственность, а они, «оверньяки», берегут свою собственность.

И еще она сказала в тот последний вечер перед моим отъездом в Лондон:

— Как грустно, что завтра ты уедешь на три месяца... Может, и

увидеться не придется... Почему ты должен уезжать? Мы ведь одни в мире, я и ты, и мы не всегда вместе.

Когда мы прощались, она слабо махнула рукой и отвернулась.

— Все равно. В сущности разве ты дома? Это не мой дом и не твой.

В тот вечер я видел мою мать в последний раз.

Два месяца спустя я возвращался в Париж, и хотя Брезак, позвонив по телефону в Лондон, не сказал мне о том, что моей матери не стало, но я понял все, прежде чем увидел траурный балдахин у входа.

Мать умерла, смерть была скоропостижной, я приехал к отпеванию, и все, что происходило дома и в церкви, казалось мне ужасным сновидением. Когда все было кончено, вечером я почувствовал, что не могу оставаться один в огромных опустевших комнатах, где зеркала были завешаны траурным крепом и сладко пахло цветами. Брезак куда-то ушел, мне кажется, что он испытывал те же чувства, его опечалила смерть матери, в церкви и на кладбище он изредка вытирал слезы, но очень внимательно разглядывал всех, кто присутствовал на похоронах. Когда все кончилось, у него был почти довольный вид, все было, как в лучших домах, и он с достоинством принимал сочувствие в постигшей его утрате.

Я ушел из опустевшего дома на улицу. Был чудесный вечер, изредка накрапывал дождь, и освежающий ветерок трепал мне волосы и охлаждал горячий лоб. Вокруг была жизнь, веселая, шумная толпа, шорох множества шагов, шипение автомобильных шин. Дом, откуда в гробу увезли сегодня мою мать, находился точно на другом конце света. И во мне боролись два чувства: одно — горестное сознание своего одиночества, утраты единственного близкого мне существа, а другое — жажда жизни, жажда близости и любви.

Я бесцельно бродил по нарядной, самой красивой улице мира, как называют Елисейские поля, потом неизвестно для чего свернул в одну из боковых улиц и вдруг очутился перед ярко освещенным подъездом, там толпились люди, и когда я подошел ближе, то увидел плакат, на нем чернели огромные буквы: «Моцарт... Реквием...»

«Реквием...» Вот то, что мне было нужно в этот горестный вечер.

## 6

Я не был ни страстным меломаном, ни тонким знатоком музыки, завсегдаем концертных залов, но любил музыку, она отвлекала меня от безрадостной жизни. Я забывал обиды, уколы самолюбия, предавался мечтам и был счастлив, замороженный музыкой. Слушая Моцарта, Баха, я испытывал приятное оцепенение, физически сладостное чувство, теплая нежащая волна разливалась по телу, я закрывал глаза и видел себя мужественным, смелым, почти героем. Пусть это были только мечты, мечты молодого человека без будущего, без дарований, без родины. Потом, когда музыка умолкала, мне было стыдно признаться, что мои мечты были очень далеки от симфонии Моцарта «Юпитер» или «Бранденбургского концерта» Баха. Но в тот вечер, когда по случайному совпадению исполнялся «Реквием» Моцарта, я воспринимал музыку не так, как всегда. Несколько часов назад я похоронил мою мать, казалось, что моя скорбь звучит в этом океане звуков, наполнявшем до краев зал, я не видел ни оркестра, ни солистов, ни хора, ни публики — весь превратился в слух и был во власти величавых и скорбных мелодий, которые лились от-

куда-то с высоты, мелодий, оплакивающих мое одиночество в этом мире. И вместе с тем меня охватило предчувствие надвигающейся, угрожающей миру неотвратимой катастрофы...

Никогда еще музыка не действовала на меня с такой силой. Я почувствовал, что слезы жгут мне веки, я достал платок, незаметно вытер глаза, и рука моя с платком осталась на барьере ложи. И вдруг я почувствовал, что моей руки нежно коснулась чья-то другая рука. Я оглянулся и увидел в ложе женщину. Голова ее была обращена к эстраде, я видел только тонкий профиль, мягко очерченную линию губ. Подбородок закрывал золотистый, почти черный мех соболя. Мы сидели рядом, наши ложи разделяла только невысокая стенка, и я мог прочитать по губам этой женщины:

— Бедный... Мне жаль вас...

Меня поразило, как она могла понять мои чувства, я был растроган, настолько растроган, что слушал «Реквием» уже не так, как прежде.

В антракте моя соседка, не повернув ко мне головы, спросила:

— Вы потеряли близкого человека?

Я был изумлен, как она могла это узнать. Но потом я вспомнил о траурной ленте на отвороте моего пиджака.

— Я потерял мать.

— Вы так молоды, все проходит. Люди умеют забывать. Это, кажется, единственное, чему мы научились.

Она по-прежнему не смотрела на меня и произносила эти слова, как бы размышляя вслух. Вместе с тем она внимательно рассматривала публику, иногда поднимая к глазам маленький бинокль... Я едва дождался конца концерта; когда она поднялась, я пошел за нею, осмелился приблизиться и пробормотал:

— Я очень тронут... Вы так добры.

Все время мы шли рядом, стиснутые толпой, потом, уже на улице, она остановилась и теперь смотрела мне прямо в глаза. Мне следовало проститься и уйти. Но я подумал: «Снова быть одному в этот вечер...»

— Вы мне позволите вас проводить?..— я сделал знак такси.

— Не беспокойтесь,— сказала она.— Здесь мой бювати.

Мы стали пробираться среди машин, она показала на маленькую двухместную машину, похожую на серебристую сигару.

Она села за руль, я сел рядом, и она задумалась.

— Какой вечер!.. Париж в это время ужасен. Но теплый дождик напоминает о весне.

Вечер был действительно очень хорош. И меня вдруг охватило приятное волнение. То, что было днем, куда-то ушло и напоминало о себе только изредка, глухой болью.

Мы обогнули Площадь Согласия и повернули. Прямо перед нами была церковь Мадлен. И я услышал:

— Вы, конечно, знаете, что здесь отпевали Шопена. Он пожелал, чтобы над его гробом звучал «Реквием» Моцарта, тот самый, который мы слушали сегодня... Единственное, что я люблю в жизни, это музыке. В словах много лжи, в звуках — нет.

Мы развернулись и поехали по Елисейским полям в направлении Булонского леса.

Я слишком много пережил в этот день и долго молчал, может быть потому я вдруг стал разговорчивым, говорил, не умолкая, о своей жизни дома, о жизни в Лондоне, а тем временем маленькая машина летела в темноту аллеи, навстречу ей сверкали фары встречных машин, было свежо и действительно в начале сентября почему-то пахло весной. Пока я говорил, эта странная женщина не произнесла

ни слова, она как будто была занята только машиной и вела ее искусно и смело, почти вплотную скользя мимо встречных автомобилей. Глаза ее были полузакрыты, я видел длинные ресницы, губы и временами грустную усмешку.

— Что же мне с вами делать? Нехорошо оставлять вас одного.

Она потрянула золотистыми кудрями.

— Не ехать же нам в ночной кабак. У вас траур... Вот что... Мы поедем ко мне. Выпьем немного вина, чуть-чуть... Вам станет легче, молодой человек...

Мы выехали из леса, очутились вблизи виадука Оттэй, поехали вдоль его арок и остановились у восьмизэтажного дома. Дом мне показался слишком будничным, эта женщина в моем представлении должна была жить в старинном особняке, за каменной стеной, поросшей диким виноградом.

— Здесь моя студия,— сказала она.— Я немного рисую.

Мы поднялись на восьмой этаж. Когда щелкнул замок и открылась дверь на площадке, я увидел длинный, узкий коридор и остановился, не зная, куда идти.

— Идите,— сказала она, указывая на дальнюю дверь.

Она еще раз знаком показала мне, куда идти, а сама вошла в маленькую комнатку направо.

Я прошел длинный коридор, толкнул дверь и оказался в квадратной комнате. По стене, прямо передо мной, стояло несколько холстов подрамниками наружу. Над ними висели фотографии, я узнал некоторых знаменитостей того времени. В углу стояла громадная во всю стену тахта, и над ней, на стене, щит, два копыта и стрелы — вооружение какого-то африканского племени. Пестрые подушки на тахте, в углу подобие маленького шкафа, в общем, мастерская художника, где, по-видимому, никто давно не работал. У окна стоял рояль. Крышка была в пыли.

Я прошелся по комнате. На полке книги — роман Моруа о Байроне, томики стихов, мемуары кабарежной певички Кики. Над роялем висела большая фотография — портрет смуглого красивого мужчины, похожего на артиста кино.

Я отодвинул от стены один из холстов и увидел претенциозный пейзаж — берег моря, пальмы, внизу небрежную подпись «Лидия...» Значит, ее зовут Лидия, она русская. Скрывает это по той же причине, что и я,— русские в то время имели нехорошую репутацию в Париже.

Я замечтался, думал о том, как хорошо быть любимым такой красивой женщиной, художницей-дилетанткой, жить с ней в этой студии,— любовь, искусство, как в романе. Может быть, это моя судьба...

Я не заметил, как она вошла, при свете ослепительной лампы в потлке она показала мне удивительно красивой, в чем-то сиреневом, наброшенном на плечи. Теперь от нее пахло свежестью и не чувствовался острый запах духов. Она скинула туфли и бросилась на тахту:

— Что же вы делали без меня? Читали стихи? Куда я сунула одну книжку, она посвящена мне — «изумрудной змейке, упавшей с облаков». Глупо! Как могла змея забраться в облака? Слова почти всегда ложь! Поэтому я люблю музыку.

Вдруг она поднялась и босая подбежала к роялю, подняла крышку и положила руки на клавиши.

Мне случалось слышать знаменитых пианистов, во всяком случае я мог отличить прекрасное от посредственного. Это не было игрой дилетантки. Она играла что-то знакомое, звенели струйки воды нежным хрустальным звоном, точно струились ручейки, и чистые, оборужи-

тельные созвучия наполнили комнату. Я стоял у рояля и смотрел на ее тонкие пальцы, на ее лицо, строгое и прекрасное, я еще не видел такого выражения в лице этой женщины, сердце у меня сжалось, и я содрогнулся от какого-то мрачного предчувствия.

Она опустила руки на клавиши и подняла голову.

— Что это?

— Равель: «Игра воды».

Я не понимаю до сих пор, откуда у меня взялись слова. Я сказал ей, что в нашей встрече есть что-то фатальное, что случилось чудо, — я встретил ее, это счастье для меня, я говорил о ее таланте, о том, что природа одарила ее всем, что делает женщину счастливой...

Она слушала меня, смотря мне в глаза.

— Милый мальчик, разве бывает любовь с первого взгляда? — потом она погладила мои волосы.

Вдруг она выпрямилась и прислушалась. В дальней комнате звонил телефон. Она бросила взгляд на трубку, лежавшую на тахте, и убежала, крикнув: «Сейчас!»

Но минуты шли, ее не было. До меня долетал ее приглушенный голос, я томился и подумал о том, что это звонит мужчина, тот, кто имеет право звонить ей в такой поздний час. Мне стало горько и мучительно больно, хотя какие права я имел на любовь этой женщины? Вдруг взгляд мой остановился на телефонной трубке, лежавшей на подушке.

До сих пор не понимаю, как я решился, как очутилась у меня в руках трубка, и я приложил ее к уху, услышал голос Лидии и другой голос — женский. Лидия говорила по-русски:

— ...он очень жалок.

— Ну, утешь его, и пусть уходит.

— Он, кажется, влюбился.

— С первой встречи?

— Разве так не бывает? Вбил себе в голову — «фатальная встреча».

— Он из богатого дома?

— Да. Кажется, там есть отчим. Вообще, есть перспективы. А пока надо платить за гараж и вообще... ужас!

— Я звонила тебе вчера. Тебя не было.

— Была у Жакелины.

— Тот же англичанин?

— Да. Он приехал на воскресенье. И хотел только меня. «Она так интеллектуальна».

— Это стоит десять фунтов.

— Пять взяла Жакелина в счет долга. Мерзкая тварь!

...Трубка выпала у меня из рук. Холод, пустота и отвратительная горечь... Как все просто. Страшно и просто. Англичанин. Десять фунтов. «Любовь с первого взгляда» — действительно, я жалок...

Я так и сидел с трубкой на коленях, когда она вошла.

— Вот как!..

Она стояла против меня с кривой, злой усмешкой.

— Ты не так уж наивен, мой мальчик... Ты умеешь подслушивать, когда это тебе нужно. Как это благородно!.. Ну, все равно!

Она взяла со столика сигареты и села рядом со мной.

— Теперь ты знаешь, с кем имеешь дело. И мне не надо ни лгать, ни говорить правду.

Я молчал, меня охватила отвратительная мелкая дрожь, и, должно быть, я выглядел неважно.

— Ну, не надо, мой мальчик. Только без истерик. «C'est la vie» — «Это жизнь», как любят говорить французы. Ты исповедовался мне,

хочешь, я расскажу тебе все о себе, правду, без капли лжи, это мне не легко.

Она легла на спину, закинув руки за голову, и сначала говорила театральным тоном, с деланной усмешкой, потом голос ее вдруг прерывался, и мгновениями она задыхалась...

— Жила в Петербурге некая семья Родзевич. Отец — известный адвокат-цивилист, гражданские дела, большие гонорары. Мы жили в бельэтаже, на Фонтанке. Жили широко. Я — единственная дочь, чему меня только не учили, но если и были большие способности, то только к музыке. Моей учительницей была знаменитая Есипова, и она верила в меня. Может быть, из меня бы вышла пианистка, я была бы не номер первый, но в первом десятке. Меня учили всему, даже рисованию. Зачем? Не знаю. Мне было семнадцать лет, я была хороша собой, один капризный старый поэт написал мне на своей книге: «Нежнее, чем польская пани, и, значит, нежнее всего». Я была не глупа, могла поспорить об акмеизме, футуризме, к тому же положение отца...

Она рассказывала о той петербургской жизни, о жизни праздной и богатой молодежи в старой России — концерты и балы в зале дворянского собрания, ужины после спектакля французской комедии в Михайловском театре, поездки к цыганам, вернисажи «Мира искусств», артистические кабаре...

— А мне надо было трудиться, успех музыканта — это не только талант, это — труд, не знаю, зачем я говорю эти давно известные истины. Я кружилась, кружила головы, я была довольна тем, что могла блеснуть у нас на «вторниках», сыграв с блеском прелюд Скрябина... Затем все полетело к черту! В девятьсот двадцатом году я с отцом — в Париже, мать застряла где-то на юге, в России. Отец умер от паралича сердца, я — одна. Что делать? «Но, мадемуазель, с вашей внешностью! С вашей фигурой! Идите в манекенши!» А потом... интеллектуальная...

Она произнесла по-русски отвратительную кличку публичной женщины. Я даже вздрогнул от этой грубой, неприкрытой правды.

— Я рассказала вам все в пять минут, а ведь это история всей моей жизни. Странно? Я думаю, из меня бы могла выйти музыкантша, но для этого нужен был другой мир, только не мир денег... Деньги! Странная вещь, они погубили меня, когда их было много, а теперь я гибну, потому что их нет...

Я ушел. На улице, против подъезда, стоял маленький серебристый бюгати, за который надо было платить. Я шел домой пешком. Светало. Все вокруг блестело от мельчайших дождевых капель, из мглы надвигались на меня серые, мокрые фасады домов и мокрая листва бульваров. Проносились огромные грузовики, мусорщики убирали мокрые бумажки, сор с тротуаров. Париж выглядел как анфилада огромных зал после пиршества, когда гости разошлись.

В каком злом и страшном мире я жил!

## 7

На следующее утро состоялся разговор с Брезаком.

Я не мог понять, почему он начал с высокой политики. Он говорил о Штреземане, о Бриане, о том, что их идея «Соединенные Штаты Европы» это единственный выход и означает конец германского реваншизма, что это путь к невиданному процветанию обеих стран и напрасно скептики утверждают, будто бы Штреземан это придумал только для того, чтобы Франция вывела войска из Рейнской зоны.

— Две недели назад я был в Мюнхене... Какой город! Центр

науки, искусства, недаром ваш отец, Серж, хорошо вспоминал этот город. Правда, он прожил там недолго, это было до того, как он поселился в Париже.

Я пробормотал что-то о «коричневом доме» штурмовиков и Гитлере...

— Об этом все забыли! Пивной путч был почти шесть лет назад, не Гитлер, а Штреземан — человек будущей Германии.

Он сел ближе и положил руку мне на плечо:

— За два дня до кончины моей дорогой Антуанетты мы с ней говорили о тебе. В твои годы надо подумать о будущем. Я решил предложить такой план: ты едешь в Мюнхен и поступаешь в университет, скажем, на философский факультет. Ты кончаешь университет с дипломом доктора философии, немецкий язык становится для тебя почти родным языком, притом диплом, — немцы уважают науку. Через пять лет планы Штреземана — Бриана дают роскошные плоды, нам будут нужны такие люди, как ты, люди, знающие Францию и Германию, перед тобой откроется широкая дорога... Потом мои связи в Мюнхене тоже что-нибудь значат. Ты меня понимаешь? Когда я рассказал мой план твоей матери, она только сказала: «Павлуше нравился Мюнхен».

(Да, я думаю, что моя мать так и сказала, она любила все, что нравилось моему отцу.)

— Ну так как же? Ты едешь в Мюнхен?

Мне было все безразлично в это утро. Париж так Париж. Мюнхен? Пусть будет Мюнхен.

— Ну, я очень рад...

Как же ему было не радоваться — он избавлялся от меня. Он даже заговорил со мной на «ты», что бывало очень редко.

Я встал.

— Подожди минуту...

Он вышел в свой кабинет. Я огляделся, точно впервые видел комнату матери. Еще пахло цветами, и у портрета матери темнела миртовая ветвь. Кровать, на которой мать скончалась, была вынесена...

Вошел Брезак. Он держал в руках маленький сафьяновый портфель.

— Это она велела тебе отдать, если с ней случится... — он смахнул слезу с ресницы и затем заговорил несколько сухо и быстро: — Итак, вы едете... Когда?

— Хоть завтра.

— Я вас не тороплю, но если вы хотите... Вас, вероятно, интересуют ваши денежные дела, завещание матери... Она подумала о вас. Вы получите значительную сумму, но есть одно условие... Эти деньги должны быть вынуты из моего дела не раньше, чем через десять лет. Вы понимаете, почему она на этом настаивала?

(«Не она настаивала, а ты», — подумал я.)

— Через десять лет вы будете самостоятельным, вполне взрослым человеком... Пока вы будете учиться, я, конечно, не оставлю вас. Немецкий диплом — это хорошие перспективы, хотя философия еще никого не сделала богатым. Вы хотите мне что-то сказать?

— Ничего.

— До свиданья. Мы увидимся перед твоим отъездом.

Он ушел. Я вспомнил слова моей матери: «Он — оверньяк. Они все такие».

Я открыл портфель и нашел в нем любительскую фотографию: два солдата с ружьями ведут молодого человека. Он улыбается. Внизу подпись: «Я по дороге на вокзал. 1907 год». Еще фотография: снежная даль, сани, в санях мой отец и мать, молодые и веселые. И над-



пись рукой матери: «Вот какие мы были». И затем на клочке бумаги рукой матери: «Отец хотел, чтобы ты вернулся в Россию. Вернись, если сможешь».

...На следующий день я уехал в Мюнхен. Это было в сентябре 1929 года.

## ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

### 1

Мюнхен. Грустное предчувствие было у меня, когда я с вокзала ехал к фрау Мильк с рекомендательным письмом и поселился в чистенькой студенческой комнатке. После Парижа все в Мюнхене казалось угрюмым, тяжеловесным. Я не понимал, что могло понравиться моему отцу в столице Баварии. Мюнхен уже не был городом искусств, городом художников, исчезло легкомысленное остроумие, утратил свою славу журнал «Симплициссимус» и забылись имена Резничека и Олафа Гульбрандсона, украшавших журнал, где когда-то рисовали злые карикатуры на самого кайзера и ядовито подшучивали над прусским военным духом.

И мог ли я подумать, что пройдет девять долгих лет, прежде чем я покину Мюнхен, и одно из самых трагических событий моей жизни произойдет именно в этом городе.

Я выбрал самое неподходящее время для изучения «науки наук» — философии. То, чему нас учили на философском факультете, было проникнуто духом реакции, духом человеконенавистничества. Разумеется, я это понял не сразу, когда знакомился с новейшей философией и рационализма, страха, отчаяния, одиночества.

Эдмунд Гуссерль — воинствующий бард империализма, враг науки и разума, его последователь Мартин Хейдеггер с «аристократическим» принципом общественного устройства — вот они-то и оплодотворили фашистскую расовую теорию.

Дух нацизма проник в стены философского факультета, мы чувствовали этот дух, когда слушали лекции по истории философии. Гегель интересовал нашего профессора только как образ «настоящего немца», который считал Германию выразительницей «духа нового мира», а славянские народы — «не историческими».

Светочами истины провозглашались Шопенгауэр с его ненавистью к революции, к демократии, Ницше с его «кастой господ», культом силы. И особенно Освальд Шпенглер. Он в то время еще жил и считал периодом расцвета средние века — эпоху феодализма, а войну — «вечной формой человеческого бытия» — эти истины старались внушить нам наши профессора и часто не потому, что они сами так думали, а по другой причине.

На моих глазах в аудитории появились молодчики в коричневых блузах и злое рычали, когда профессор произносил с кафедры нечто, по их мнению, злое. И почтенные господа, в большинстве старые люди, были вынуждены воздавать хвалы Ницше и Шпенглеру или уйти из университета.

Я жил в Мюнхене в последние годы Веймарской республики; власть, как во времена кайзера, по-прежнему была в руках промышленников и прусских юнкеров-землевладельцев. Мюнхен был «колыбелью нацизма», именно здесь, в «коричневом доме», Адольф Гитлер создал свою цитадель, и в мои студенческие годы уже ползли страш-

ные слухи о том, что творится в этом доме; говорили об изуродованных, неопознанных трупах, которые всплывали на Изаре. Гитлер грозил человечеству войной и тем, что мир увидит катящиеся головы. Увы, это были не пустые угрозы. Я видел первые признаки того сумасшествия и тупого зверства, которое спустя четыре года воцарилось во всей Германии.

Мне давно приходила в голову мысль бросить философский факультет и уехать из Мюнхена, но именно здесь я пережил годы счастья, первую настоящую любовь и, к стыду моему, забыл на время о штурмовиках, об «S. S.» и «S. A.», о «коричневом доме».

Я думал только о том, когда я увижу Розу. Мы назначали свидания у собора пятнадцатого века — «Фрауэнкирхе», нам обоим нравился этот уголок Мюнхена, но чаще всего мы встречались в Старой Пинакотеке. Там я в первый раз увидел Розу, она добросовестно копировала Мурильо, а я стоял в стороне, любуясь ее нежным и тонким лицом, завитками волос, спускавшимися ей на глаза, и легким, небрежным жестом, когда она откидывала волосы. Там мы познакомились и вместе изумлялись творениями Дюрера и Гольбейна-старшего, и мрачное германское средневековье не отпугивало нас. Мы открывали все новые и новые достоинства в отличных репродукциях «Пляски смерти» Гольбейна, восхищались его творением «Рыцарь, смерть и дьявол». Это было великое искусство, но некоторые гравюры художников средневековья вызывали в нас удивление и в то же время ужас. Особенно одна — огромное вековое дерево, толстые его ветви, согнувшиеся под тяжестью повешенных, и ландскнехты, любующиеся этим зрелищем. В гравюре было что-то зловещее.

Потом мы выходили на улицы, сияло солнце, над нами было голубое безоблачное небо. А навстречу нам шли наглые молодые люди со шрамами на лице, молодчики, недавно сменившие шапочку студенческой корпорации на коричневое кепи штурмовика и кичившиеся этим маскарадом.

Кроме Розы, ничто меня не удерживало в Мюнхене. Я мог бы отказаться от диплома и звания доктора философии, оно потеряло для меня всякую ценность. Я не находил ничего красивого в богатых кварталах Мюнхена, в особняках Швабинга в приторно-кондитерском стиле и палисадниках с пышными цветочными клумбами, похожими на торты... Ночные сторожа, бряцающие связками ключей, усатые шудманы, оценивающие вашу одежду придирчивым взглядом, мысленно решавшие, достойны ли вы находиться в кварталах, где живут только важные господа...

Я тосковал о Париже с его живописной неряшливостью, небрежностью к своей очаровательной внешности.

Париж «de la belle époque» — прекрасной эпохи, время президентства толстяка Фальера, время буржуазного покоя, легкомыслия и слепой уверенности в том, что жизнь будет так же беззаботно протекать еще долгие и долгие годы, — я знал его только по рассказам Брезака и моей матери.

Моя любовь к Розе родилась внезапно, но я был робок, и мне казалось невероятным, чтобы я, некрасивый, ничем не замечательный молодой человек, мог понравиться такой красивой девушке. Только через год я решился переступить порог дома, где она жила с отцом. Отец Розы был известный врач-окулист, и, когда я увидел его приемную и заглянул в кабинет, где он возвращал зрение несчастным, я не мог подумать о том, что этот кабинет и квартира будут однажды разгромлены штурмовиками, а сам доктор Шенберг кончит свои дни в Равенсбруке — концентрационном лагере. Впрочем, никто из честных людей в Мюнхене — городе, где чуть не столетия жил род Шенбергов, —

не мог подумать, что слово «мюнхенцы» станет бранным словом, заклеившим низкое предательство людей, представлявших в то время Англию и Францию.

Еще в те времена я получал аккуратно деньги от Брезака, но жил большей частью на собственные средства. Я давал уроки французского и английского языков. Не было необходимости в рекомендательных письмах, я без труда находил уроки и уже в то время заметил, что некоторые молодые люди с середины тридцатых годов проявляли особый интерес к французскому языку; причину я понял, когда, захватив власть, нацисты готовились к походу во Францию.

Сын «пивного короля» Рихард Бальц был самым старательным моим учеником. Больно и страшно думать о том, что об этом человеке мне придется говорить еще не раз.

Он был воспитан в строгих правилах. Один раз я присутствовал при его объяснении с отцом из-за легкомысленной истории с какой-то танцовщицей из кабаре. Он стоял навтыжку, не моргая смотрел отцу в глаза и только повторял:

— Клянусь, это было в последний раз!

Что-то странное я замечал в характере моего ученика. Однажды, в воскресный день, в часы прогулки, когда обычно для практики я беседовал с ним по-французски, он уговорил меня зайти в бродячий паноптикум. Я никогда не понимал людей, которые с любопытством разглядывали восковые фигуры в музее Гревен, в Париже, а здесь, в паноптикуме, это выглядело еще отвратительнее: восковые фигуры изображали судилище инквизиции — искаженные ужасом и муками лица несчастных узников, окровавленные тела, палачи в капюшонах с орудиями пытки... Я взглянул на моего ученика и был поражен: лицо его выражало наслаждение, рот был полуоткрыт, он тяжело дышал, и мне пришлось два раза окликнуть его, прежде чем он ответил. «Странные вкусы у этого молодого человека», — подумал я.

Мы вышли из паноптикума. Я взглянул на Рихарда и удивился перемене — это был прежний красивый голубоглазый юноша, с обаятельной, белозубой, добродушной улыбкой.

Но в то время я мало обращал внимания на все окружающее — это было начало моей любви, и для меня существовала одна Роза.

В тот воскресный день я очень торопился к Розе, мы условились, что я зайду к ней и мы уедем куда-нибудь за город. Я простился с Рихардом и поехал к Розе. Меня удивило, что она сама открыла дверь, сияние любви и радостное волнение было в ее глазах; я поцеловал ее руку и почувствовал, что рука дрожит.

— Знаешь, мы одни, — она сказала это шепотом. — В доме нет никого, папа уехал на целый день к своим друзьям, Марижен надолго ушла к дочери, а прислугу я отпустила...

Она бросилась мне на шею и, смеясь, убежала, я погнался за ней, и мы бегали по квартире, шалили, как дети, выбегали в сад, возвращались. Она ловко увертывалась, пока мы не очутились в какой-то полутемной комнате, я обнял ее, она попыталась выскользнуть, ее тонкое, легкое платье разорвалось, и я увидел нежные девичьи плечи и грудь. Дальше случилось то, что должно было случиться.

Весь день мы провели вдвоем; усталые и счастливые, мы не сразу услышали звонок, когда же открыли, то увидели доктора Шенберга. Он посмотрел на нас, смущенных и счастливых, и все понял. Вечером мы пили шампанское, и отец Розы сказал:

— Я верю, что вы будете счастливы и... не обижайте мою Розу.

Так я узнал настоящую любовь.

Наше свадебное путешествие мы совершили в начале весны 1933

года и выбрали живописный уголок в горах Баварии, в давние времена это место принадлежало Берхтесгаденскому аббатству.

Я вечно буду помнить одно прохладное весеннее утро в маленькой гостинице. Розы спала, разметавшись в постели, озаренная утренним солнцем, не смущаясь своей уже не девичьей наготы. Я вышел на балкон и смотрел на дальние горные вершины, края их были золотисто-розовыми, одна за другой озарялись цепи гор...

Сколько раз, думая об улетевших мгновениях счастья, я вспоминал стихи Блока:

О, если б знали, дети, вы,  
Холод и мрак грядущих лет...

О, если б мы знали, что этот живописный уголок Баварии станет гнездом стервятника, погубившего миллионы жизней, что сюда к нему будет прилетать «ангел мира» с зонтиком — Нэвил Чемберлен для того, чтобы предать народы Чехословакии и всей Европы... Мы с Розой в то время не могли думать о холоде и мраке грядущих лет и продолжали наше путешествие. Однажды вечером мы услышали по радио звериный вой толпы и пронзительный визг фюрера — это означало, что он пришел к власти. Как ни плохо я разбирался в политике, но я все-таки понял, что план Юнга и Дауэса вооружил фашизм. Мы слушали радио и старались понять, к чему приведет этот массовый психоз, истерия толпы, иступленно оравшей «Heil!» на каждую фразу, брошенную беснующимся фюрером.

Утром мы спустились в маленький ресторан при гостинице. Скорее это была пивная с нарисованными на стене горным пейзажем и гномами, сидящими верхом на пивных бочонках.

На эстраде сидели усатые музыканты в костюмах горцев, в коротких кожаных штанах; впрочем, они не сидели, а стояли, уставившись в рупор радио, и тоже орали «Heil!», — кажется, говорил Геббельс.

Зал ресторана был пуст, только у самой эстрады сидел какой-то тучный кретин в форме штурмовика — типичная «белокурая бестия», хотя этот тип был абсолютно лысым. Белокурая бестия кашляла густым пивным кашлем, орала, топала ногами. Лоснящееся лицо искажала воинственная гримаса. Радио смолкло, кретин допил свою кружку пива, надвинул на лоб коричневое кепи с четырехугольным козырьком и затопал к выходу, мимоходом потрепав по щеке кельнершу. Мимо нас проплыл его коричневый, обтянутый бриджами зад; эта личность заметила нас, что-то рявкнула и скрылась.

Было скорее смешно, чем страшно. Неужели так выглядел воинственный тевтон, древний германец, победитель легионов Вара в Тевтобургском лесу? Мы не могли сдержать смех, а смеяться было нечему, потому что нас ожидало самое страшное, то, что не приснится даже в самых тяжелых кошмарах.

## 2

Я сравнительно долго прожил в Мюнхене и не мог не заметить, как многих так называемых порядочных людей охватывало безумие. Я слишком далеко стоял от рабочих и все-таки понимал, что «порядочные люди» поддерживали нацистов главным образом из страха перед революцией. «Средний класс» менялся у меня на глазах. С одной стороны эта метаморфоза происходила довольно быстро, с другими медленнее, но в конце концов эти люди менялись из страха за свое благосостояние, за жизнь свою и близких. Кажется, еще совсем недавно мои знакомые хитро щурили глаза и подмигивали, перелистывая

книгу Гитлера или слушая афоризмы Геббельса, вроде: «Муж — комендант, жена — интендант». Но вот официальный орган нацистов «Германия» напечатал грозную статью по поводу хитро прищуренных глаз и двусмысленного подмигивания. И мои знакомые с каменным лицом читали газеты, а спустя два-три месяца орало когда надо «Heil!» и подумывали, как бы им стать нацистами.

Шутить стало опасно после июньских убийств 1934 года, после того как Гитлер расправился с Ремом и его сторонниками, после казни коммунистов и несчастных молодых людей из «Союза республиканского флага», после еврейских погромов.

Начались те перемены, когда порядочные люди, прежде не вспоминавшие о том, что они «настоящие немцы» и стопроцентные арийцы, опускали глаза, когда встречали старых знакомых неарийцев, даже с гримасой отвращения смотрели им в глаза, если видели вблизи черный силуэт эсэсовца или коричневую блузу штурмовика. Но были истинные герои и героини, я с нежностью вспоминаю Марихен, которая прожила двадцать лет в доме Шенберга и со слезами говорила всем, что доктор и его дочь — прекрасные люди, и это едва не стоило жизни Марихен; родная дочь и зять чуть не убили ее из страха перед нацистами.

А наша соседка, жена аптекаря, называвшая мою Розу ангелочком и первая поздравившая меня с женитьбой на красавице, у которой «глаза, как звезды», — именно эта фрау Бендер вопила на всю лестницу, что она — честная немка — не хочет жить под одной крышей с отвратительной еврейкой и ее мужем, который, если и не красивый, то во всяком случае русский и виноват, хотя бы потому, что женился на Розе Шенберг.

Я давно уже потерял уроки, где раньше был не только учителем, но желанным гостем, потерял по той же причине — из-за Розы.

Все менялось в городе, где мы жили. На афишах, извещавших о симфонических концертах, я видел не имена Баха, Генделя и Моцарта, но концерты оркестров Стального шлема, итальянской фашистской капеллы. В книжных магазинах с обложек книг на меня смотрел стеклянными глазами человек с челкой и подстриженными усами и еще портрет плешивого человека. Эта книга называлась: «Адольф! Кронпринц стоит за тебя!» На площадях горели костры, горела «Теория относительности» Эйнштейна, «Книга песен» Гейне и «Капитал» Маркса. В газетах печатались объявления: «Фюрер хочет, чтобы я женился. Ищу девушку протестантку арийской крови, высокую, белокурую, имеющую средства» или «Молодой хирург, на три четверти ариец, первоклассные аттестации, ищет места в частной лечебнице». В листе парков, не умолкая, орало радио. Какой-то осел доказывал, что французы — негроиды, а славяне — монголы. По ночам улицы наполнял треск мотоциклов, с ревом проносилась «Черная Мария» — полицейский фургон, на дверях магазинов появлялись зловещие надписи «Jüde», и это было предвестием погромов.

Когда такая надпись появилась на дверях дома, где жил Шенберг, — нам следовало немедленно уехать, но Розы не хотела оставить отца, а старик заболел от этих жестоких испытаний, и мы два раза откладывали отъезд — потом уже было поздно... Я не могу забыть лица Розы, когда она вернулась от отца и, рыдая, упала мне на грудь. В тот день штурмовики разгромили дом Шенберга и увезли доктора, или вернее то, что от него осталось, в черном фургоне.

Теперь нам уже незачем было оставаться в Мюнхене, мы решили бежать в Швейцарию, но соседка, жена аптекаря фрау Бендер донесла, Розы увезли в полицию, когда меня не было дома, оттуда она уже не вернулась.

Три недели спустя я уехал во Францию, уехал один, потому что знал, что никогда уже не увижу Розы, и с тех пор мне всегда кажется, что я виноват перед ней, потому что уехал.

Правда, я сделал то, что мог. Я побывал в доме, который вызывал у всех честных мюнхенцев ужас, в той комнате, где на дверях была буква «А». Мрачный, долговязый, с волчьей челюстью тип с гримасой отвращения вертел мой паспорт, спросил, давно ли я женат и сколько денег я получил за женитьбу на еврейке.

Я что-то ответил ему, он налилсь кровью и закричал:

— Руки на стол! Руки на стол, я тебе говорю!

Я не понял, я подумал, что он испугался, нет ли у меня оружия, и положил руки на стол, и он ударил по руке толстым железным прутом, размозжив мне пальцы. Теряя сознание от боли, я уже не чувствовал, как меня вышвырнули на площадку лестницы и оттуда, толкая ногами, сбросили по ступеням, я валился вниз, как мешок, чувствуя избитым телом каждую ступень.

Я пришел в себя на тротуаре. Лил дождь, страшно болели сломанные пальцы, и все тело ныло. Какая-то женщина помогла мне встать и отвела к врачу. Он перевязал руку, сказал, что мне нужен хирург, пальцы раздроблены, я помню его лицо и его голос, он повторял про себя: «Звери... звери».

Утром мне ампутировали пальцы. Когда зажила рука, я уехал из Мюнхена, — за взятку меня пропустили через границу.

Я виноват перед Розой, надо было дожидаться вести о ней. Но когда я вспоминал лицо палача с волчьей челюстью и его крик «Руки на стол!», я уже не мог здраво рассуждать, лицо Розы, ее поцелуи, ее голос, все исчезало, и был только страх, только страх...

### 3

Сколько лет я храню письмо из Мюнхена, сколько раз я перечитывал его и не мог дочитать, потому что слезы застилали мне глаза!

Письмо без подписи, и в нем сказано, что Розы видели в лагере, в бараке, потом ее увезли. Она назвала себя и дала адрес Брезака.

Каждый раз, когда я думаю об этом — прошло более двадцати лет, — я чувствую тупую боль, точно после инъекции. Время заглушило невыносимую острую боль, но и теперь стыд и муки разрывают мне сердце, и я чувствую свою вину, я не нахожу оправдания тому, что бежал тогда из Мюнхена. Как бы я ни убеждал себя в том, что не мог ее спасти и все же сделал такую попытку, — все равно я не могу простить себе трусость, именно трусость.

В Приморских Альпах в холодные ночи мне случалось бывать в разведке, стрелять и убивать ищек Дарнана и эсэсовцев, и я все равно не мог простить себе низкую трусость там, в Мюнхене, и еще однажды, в Париже, но об этом я расскажу позже...

В несчастье хватаешься за соломинку, я вспомнил семью Бальца и моего ученика Рихарда, я был принят у них в доме не только как учитель, но как добрый знакомый. Мне пришла в голову мысль написать отцу и сыну, втайне я надеялся, что старик, известный в Мюнхене человек, не побоится справиться о Розе. Но вот однажды я увидел немецкий иллюстрированный журнал с фотографиями длинноногих голых девок, орущего фюрера, факельных шествий и парадов. На одном из этих снимков я увидел «пивного короля» Бальца, его толстую супругу с бокалами в руках, их окружали какие-то господа и дамы. Под снимком была подпись: «Господин тайный советник Ганс Бальц и его супруга празднуют свою серебряную свадьбу». Но

не это поразило меня, а то, что рядом с господином во фраке стоял молодой человек в форме войск эсэсовцев, и это был мой ученик Рихард Бальц.

Тайный советник Бальц и его сын стали верноподданными фюрера. Писать им о Розе было бессмысленно.

\* \* \*

Я жил в Париже. Брезак принял меня с удивлением и некоторым сочувствием:

— Чудовищно! Народ Гете и Шиллера! — подумав немного, он добавил: — Просто невероятно!

Тогда люди, подобные Брезаку, старались не верить в зверства нацистов. Много написано о том ужасном времени, о глупости и предательстве, которое отдало чуть не всю Западную Европу в руки нацистов. Я не хотел бы повторяться. В Париже я застал то время, когда беженцы из Германии, у которых были деньги в иностранных банках, еще жили в дорогих отелях. Дорогие машины-люкс германских и американских марок сменили берлинские номера на парижские. Но постепенно богатые постояльцы отелей получали визы и уезжали за океан. Кое-кто еще задержался, надо было сложными ухищрениями добыть ценные бумаги и драгоценности из сейфов в немецких банках. Другие остались пережидать события во Франции и убеждали себя в том, что гитлеровский режим — это «блеф» и фюрер удовлетворится Австрией — «аншлюсом», Судетами, и к тому времени его власть кончится.

Брезак старался привлечь капиталы богатых немцев в свое предприятие. Меня удивляла его непритязательность в делах — хороший архитектор, энергичный организатор, он старался не пропустить ни одного дела, пусть даже мелкого и нечистого. В его бюро стал появляться некий синьор Жонколовичи, — смуглый, здоровенный мужчина с подстриженными бачками, гражданин какой-то южноамериканской республики. Он запросто ездил в Берлин, и каждый раз о его возвращении справлялись у Брезака какие-то господа и дамы, беженцы из нацистской Германии.

Потом в кабинете Брезака они торговались с синьором Жонколовичи, и оттуда долетали возгласы: «Пятнадцать! Нет, двадцать процентов — мое последнее слово!» — хрипел Жонколовичи. — «Поезжайте сами! Вы знаете, сколько я должен платить за каждый открытый сейф штандартенфюреру и всей его компании? А... То-то! Притом я рискую, госпожа Вайнтрауб!»

— Какой это риск! Вы — иностранец.

— Это не гарантия! Они способны на все. Я не хочу портить себе нервы из-за ваших бриллиантов, госпожа Вайнтрауб!

Я понял, чем занимался этот человек. Он уезжал и спустя два дня в Берлине, где-нибудь в кафе «Кениг», синьор Жонколовичи вручал чек в долларах штандартенфюреру, ведавшему сейфами в банках, и тот, бормоча сквозь зубы, прятал чек и передавал ему небольшой пакет:

— Не обманул меня этот еврей... Вы отвечаете за него, синьор Жонколовичи?

Потом Жонколовичи возвращался в Париж, и госпожа Вайнтрауб и ее супруг получали свою недвижимую, еще два дня назад хранившуюся в сейфе Берлинского банка, — минус двадцать процентов комиссии синьору Жонколовичи.

Брезак делал вид, что эти сделки его мало интересуют. Богатые беженцы как-нибудь устроят свои дела, а что до бедняков — учителей, музыкантов, врачей, конторских служащих, — неприятно, что они

увеличили армии «шомэров» — безработных, и нужен строгий закон, никаких лазеек. Эти люди не должны обременять Францию. Их надо высылать на границу Бельгии или Швейцарии.

Только такие же бедняки, парижские труженики, старались помочь бедным беженцам. Это было трогательно и даже не безопасно в те черные дни, незадолго до мюнхенского сговора.

Я все время думал о судьбе Розы, и, вероятно, это отразилось на мне, даже Брезак обратил на меня внимание и однажды сказал:

— Поговори с синьором Жонколовичи, попробуй... у него большие возможности.

И я попросил этого загадочного человека уделить мне несколько минут. До сих пор я существовал для него только как простой служащий, нечто вроде бедного родственника Брезака. Я рассказал ему, что произошло с отцом Розы и с ней самой, — он слушал с таким видом, как будто я рассказывал ему что-то давно известное, и вдруг заговорил со мной по-русски с каким-то неопределенным акцентом. Это удивило меня, и он понял:

— Я родился Шауляй — Шавли. Паспорт литовский — не хорошо. Я купил паспорт Никарагуа. Лучше... Казус с ваша жена не коммерческий, политический. Опасно. Завтра я еду. Я делаю эти коммерческие дела последний раз. Я хорошо заработал на эти операции и могу ехать Нью-Йорк как богатый человек, жить как богатый человек. Но...

Он посмотрел на меня.

— ...но я буду узнавать о ваша жена. Надо искать очень солидный наци и надо деньги. Много. Но это потом...

Он уехал, и можно себе представить, как мучительно для меня было ожидать его возвращения. Это была надежда. Тень надежды. И вот однажды под вечер я увидел его коренастую фигуру, низко посаженную голову и услышал его хриплый голос. Я бросился к нему.

— Я узнал совсем немного. Доктор Шенберг был в «Рейхсба-нер» — Союз республиканский флаг. О доктор Шенберг нечего говорить, — он сделал крест в воздухе.

— Розы?

— Она... Она лагерь Равенсбрюк.

Больше он ничего не сказал. Я ушел из бюро и долго бродил по улицам. Было душно, я задыхался. Закат окрасил небо над Парижем в зловещий медно-красный цвет. Потом стемнело, я все шел без цели, не зная, куда я иду. Я слышал свои шаги, слышал в такт моим мыслям:

— Равенс — брюк. Равенс — брюк...

На следующее утро я снова бросился в бюро, я искал Жонколовичи, я хотел ехать вместе с ним в логово этих зверей. Брезак послал меня в отель «Ланкастер», там обычно останавливался Жонколовичи. Оказалось, что он уехал, не оставив адреса.

Месяц спустя Брезак показал мне берлинскую газету:

— Странная история. Синьор Жонколовичи погиб. Автомобильная катастрофа в Берлине, вблизи Грюневальде... Загадочная история. Кстати, его настоящая фамилия Онколович... Что-то слишком часты эти катастрофы в Германии.

— Его просто убрали. Странно, что он поехал, он сам сказал мне, что кончает свои операции, что он ездил в последний раз.

— Не так просто отказаться от денег. Аппетит приходит во время еды. Интересно, кто получит его деньги. Неужели им суждено вечно лежать в банке, в Нью-Йорке? Или все достанется какой-нибудь жалкой старушонке из Литвы — его дальней родственнице... Подожди...



Я уже уходил, но что-то странное было в голосе Брезака, и я остановился на пороге.

— В нем было что-то человеческое... Жонколовичи не хотел огорчить тебя. Мне-то он сказал, что с твоей женой, Розы Шенберг, все кончено.

Теперь исчезла даже тень надежды. Оставалось одно: возмездие.

#### 4

Я давно убедился в том, что тот, кого называли сумасшедшим, бесноватым ефрейтором, бездарным актером, был расчетливым, холодным и хитрым авантюристом. Гитлер точно рассчитал, что не встретит сопротивления, когда захватил Австрию, что его не остановят Франция и Англия, когда он терзал Чехословакию. Кто мог его остановить? Нэвил Чемберлен, предатели Боннэ и Лаваль или болтун Даладьё?

Каждое утро Брезак пересказывал мне то, что писали подкупленные, продажные журналисты:

— Франция не смеет рисковать жизнью даже одного своего солдата ради Чехословакии!

— Пролить французскую кровь из-за народа, о котором мы не имеем никакого понятия? Нет, нет и нет!

— В конце концов Гитлер прав, когда он хочет избавиться от чешской тирании своих единоплеменников в Судетах!

— Чехи провоцируют войну. Гитлер дунет, и Чехословакия перестанет существовать!

Я старался не слушать, но однажды я попробовал возразить:

— Россия обещала свою помощь чехам.

Тут Брезак взорвался и завопил:

— Россия! Красные! Это говоришь ты, которого мы растили, воспитали, ты, который ел французский хлеб! — Я никогда не видел его в такой ярости. — Ты смеешь надеяться на Россию? А эти чехи осмелились оскорбить Францию, они топтали ногами наши флаги, они демонстративно выбрасывали на помойку ордена и медали, которыми наградила их Франция и Англия за войну четырнадцатого года!

— Это после того, как вы отдали чехов на растерзание нацистам!

— Мы не отдадим Европу казакам и монголам!

— Это вы вычитали у Геббельса!

— А хоть бы и так! Войны не будет, мы разумная нация!

Я понял, что он очень растерян, что он как попугай повторяет слышанные где-то или вычитанные в газетах слова.

...Я учился писать левой рукой на машинке и однажды, прервав это занятие, взял со стола «Матэн». Там было напечатано:

«Направим же германскую экспансию на Восток, и тогда на Западе мы будем спокойны».

Я просмотрел газету и вдруг услышал звонкий голосок:

— Зачем вы читаете этот грязный продажный листок?

Я поднял голову и увидел Денизу, маленькую стенографистку. Она смотрела на меня умными, серыми глазами, и я, в первый раз по настоящему ее рассмотрев, заметил, что она очень молода и хороша, вероятно ей нет еще двадцати лет.

— Вы правы, — я бросил газету.

Продажный листок! Это — правда, нацисты покупали всех, кто продавался в этой несчастной стране. Но иных не надо было покупать — они сами обманывали себя и притом бесплатно. После Мюнхена я видел ликующих, проливающих слезы радости идиотов.

«Кошмар ликвидирован!» — вопили эти ослы. — «Чемберлен и Даладье привезли Франции мир», кто-то уже собирал деньги на подарок супруге Чемберлена.

То же могло повториться, когда Гитлер протянул лапу к Данцигу, и Геббельс визжал: «Французы! Неужели вы хотите сражаться и посылать своих братьев, сыновей, мужей на смерть из-за каких-то коммуникаций и пограничных столбов?»

Было лето 1939 года. Франко захватил власть в Испании. В Париже появились бойцы из интернациональных бригад и республиканской армии, за ними охотилась полиция, их ссылали в лагеря, высылали на границу Бельгии и Швейцарии, а оттуда перебрасывали обратно.

Еще в то время, когда республиканская Испания сражалась, я мечтал о том, чтобы уехать туда, но, глядя на себя в зеркало, видел щуплую фигуру человечка с искаленной рукой и думал, что я плохой боец...

Я привык к одиночеству, но в то лето 1939 года я особенно остро чувствовал его. Я вспоминал, как еще недавно на площади Бастилии видел колонну демонстрантов, они шли, тесно прижавшись друг к другу, сплетая руки, и кричали в лицо полицейским: «Фашизм не пройдет!» Как я завидовал им, они были товарищами, они боролись все вместе, а я был одинок, и моя ненависть к убийцам Розы была бессильной!

Париж был переполнен в то лето гостями из Германии. Это были здоровые молодые и пожилые люди с военной выправкой, и я мог поручиться головой, что еще неделю назад они щеголяли в Берлине или том же Мюнхене в форме эсэс. Я слышал их голоса, видел их лица, издевательские взгляды, они озирались, всматриваясь в эти великолепные авеню с видом будущих хозяев. Я-то знал этих людей и знал, по каким «коммерческим» делам они приезжали во Францию. Бессильная злоба мучила меня, и это может показаться смешным, но я нашел какой-то приблизительный выход.

Я давно переехал от Брезака и снял маленькую квартиру в Оттэй, на улице Мишельанж. Как-то, возвращаясь к себе, я остановился на бульваре у балаганов бродячей ярмарки. Я довольно долго стоял возле тира. Среди размалеванных кукол увидел нелепую фигуру черта с оскаленными зубами, с пастью, похожей на волчью. И в этой фигуре мне почудился облик мерзавца, который искалечил меня. Меня охватила бессмысленная ярость, я взял в левую руку ружье и, выстрел за выстрелом, стрелял в эту рожу, пока в конце концов не научился попадать в нее без промаха.

Помню, с каким удивлением вначале хозяйка тира заряжала ружье и подвигала мне, потом, сжалившись, сказала: «Месье, вам трудно левой рукой, возьмите пистолет». В следующий раз я взял пистолет, и дело пошло еще лучше. Много раз я приходил в тир по дороге домой, стрелял левой рукой в одну и ту же фигуру, пока не научился попадать ему то в левый, то в правый глаз, лампочки в глазах гасли, черт опрокидывался, и я уходил с чувством удовлетворения.

Квартиру я снял после одной удачной комиссионной сделки. Брезак поверил в мои способности и завел со мной разговор; кстати, это было не в первый раз:

— Подумайте о своем положении, Серж, время тревожное. Кто вы? Француз, русский или немец? Я предлагал покойной Антуанетте взять для вас французский паспорт, она отвечала, что воля вашего отца, чтобы вы оставались русским. Где же в конце концов ваша родина? Вы говорите по-французски, как француз, по-немецки, как немец...

— Во всяком случае не здесь и не в Германии.

— Значит, в России?

Я молчал. У меня не было живой души в России. Одни говорили о Советском Союзе восторженно, другие злобно шипели. Где же правда? Я знал и эмигрантов белогвардейцев, видел их в доме тетки, которая в конце концов сошла с ума и ее отправили в сумасшедший дом. Ничего общего у меня не было с теми людьми, я никогда не забывал, что я сын революционера. Идти на улицу Гренель в советское посольство? Но как меня примут? И нужен ли такой человек, как я, новой России? «Доктор философии». Меня смешил диплом, на который я потратил пять лет моей жизни.

Пока я размышлял, искал выхода, события развивались быстро, решались судьбы мира и войны, и Гитлер требовал Данциг, и снова изменники утешались тем, что он не требует Эльзаса и Лотарингии, и вопили: «Мы против тесного союза с Советами»...

Был конец августа 1939 года. То, что Брезак называл «деловой жизнью», продолжалось. Я бегал по его поручениям в банк и на биржу, поздно вечером возвращался домой и бросался одетый в постель. Я закрывал глаза и вспоминал путешествие с Розы в горы, дни, когда мы были счастливы. Я засыпал, во сне продолжалась та невозвратимая жизнь, и вдруг меня пронизывало сознание, что это только сновидение, я просыпался в отчаянии. Никого не было рядом, но иногда мне казалось, что Розы здесь, рядом, что стоит только мне протянуть руку, и я найду мою любимую, услышу ее голос: «Что, Сережа?» Я научил ее называть меня так, как называла меня в детстве мать.

Я видел Розы реально, почти ощущал, и это было мучительно. Я открывал глаза: на потолке отраженный свет уличных фонарей, тикают часы, изредка прошумит на улице автомобиль... И я один, один. Наконец наступало утро, я отправлялся в бюро Брезака. От бухгалтера старика Дюпора я узнал, что мой отчим три месяца назад перевел крупную сумму в американский банк, он вел деловую переписку с испанскими и южноамериканскими предприятиями. Брезак находил работу для меня. Я диктовал письма стенографистке Денизе — она знала испанский язык. Я заметил, что девушка оказывала мне внимание, правда, в мелочах; иногда я ловил ее добрый взгляд, брошенный в мою сторону, это не было простым кокетством. Скорее, во взгляде ее серых глаз было что-то вроде сострадания.

Однажды я попросил ее зайти после службы ко мне, надо было продиктовать ей длинное письмо в налоговое управление. Пока я диктовал, я старался держаться так, чтобы дать ей понять, что никаких других целей, кроме деловых, мое приглашение не имеет. Она тоже была со мной сдержанна, даже холоднее, чем обычно в бюро, и, только кончив писать, с удивлением оглядела мою запущенную квартиру — у меня давно не убирали, всюду лежала пыль, на полу валялись старые газеты и мусор.

— Мне даже нечем вас угостить, Дениза...

— О, не беспокойтесь! И вы живете так... один? Как грустно.

«Начинается», — подумал я, но она тотчас угадала мою мысль.

— Не подумайте ничего дурного. Я говорю из сочувствия. Я знаю о вас больше, чем вы думаете.

Губы ее дрогнули.

— Вам рассказал Брезак?

— Он рассказывал Дюпору. Я слышала. Значит, ваша жена... Вы это точно знаете? Простите меня, не надо было говорить об этом... — помолчав, она сказала: — Как вы можете здесь жить! Это квартира для самоубийц.

Я даже вздрогнул. В последнее время эти мысли приходили мне в голову, и я старался не смотреть в сторону кухни, туда, где газовая плита.

— Уезжайте отсюда,— почти умоляюще сказала Дениза.

— Куда?

— Хотя бы в наш отель «Тироль». Там — люди, там не будет такого жуткого одиночества. Хотите, я поговорю с хозяином отеля. Он хороший человек. Неужели вы останетесь в этой жуткой норе?

— Дениза... Признаться, я думал, что вы маленькая ханжа, католичка, жаждущая творить добрые дела, но однажды вы сказали мне что-то о дрянной продажной газете, она действительно продажная... А я часто вижу у вас одну очень левую газету...

— Надеюсь, это вас не пугает?

— Нет... Поговорите с вашим хозяином,— неожиданно для себя решил я.— Я перееду, скажем, первого сентября.

На следующий день я слушал обычный утренний монолог Брезака. Он только что прочитал статью подлеца Дэа, которая называлась: «Умереть за Данциг», но на этот раз у Брезака преобладали воспоминания о прошлом:

— Конечно, у нас нет Клемансо и Фоша. Но у нас чудесная пехота, пехота решает все, как при Наполеоне, как в прошлую войну. Гамелен сказал: война будет снова выиграна французской пехотой, если она будет... война. Но в конце концов воевать из-за поляков?..

Он снова уткнулся в газеты и вдруг спросил:

— Что ты думаешь о Советах? Они настаивают на том, чтобы их войскам разрешили проход через Польшу. «Полковники» с господином Бекон не соглашаются.

— Я думаю, что мне надо возвращаться в Россию.

Брезак в изумлении смотрел на меня.

— Безумие! Просто безумие. Ехать туда сейчас, в такое время... Что ты там будешь делать? Наконец,— он подошел ко мне,— пойми, через год истекают десять лет, и по завещанию ты получишь приличный капитал, а если ты уедешь...

— Это не важно.

— Подумай... Ты им не нужен! Если бы ты был инженер или архитектор — другое дело.

Он сказал именно то, о чем я думал в последние дни.

— Во всяком случае я отправлюсь на улицу Гренель...

И я был на улице Гренель. Меня внимательно выслушал молодой человек, время для визита я выбрал неподходящее, он думал о другом и попросил меня зайти через неделю, приготовить свое жизнеописание. Когда я уходил из посольства, я увидел автомобиль с флажком. В автомобиле сидел советский посол — пожилой человек с небольшой бородкой — и грустно смотрел в пространство.

Я прошел сквозь цепь полицейских, охранявших посольство, подозрительно смотревших мне вслед. Можно подумать, будто Франция собирается воевать с Россией, а не с Германией.

Бесконечно длилась эта неделя. Последнюю ночь я проводил у себя в квартире на Мишельанж. На следующее утро я должен был переехать в «Тироль». Я лежал на постели, обычно я засыпал к утру. Вдруг позвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос Брезака:

— Советы заключили пакт о ненападении с Германией. Ты понимаешь, что это значит? Я ничего не понимаю! — и он бросил трубку.

Эта ночь была ужасной. Я не мог понять, что случилось. Вся моя ненависть к нацистам поднялась и душила меня. Россия, Советы — единственный оплот против нацизма, кровный враг нацизма! Я бегал по комнате и разговаривал сам с собой. И не мог найти ответ на

этот вопрос. Надо понять меня. Что я, что мы знали тогда? Знали ли мы, что «мюнхенцы» все время натравливали Гитлера на Советский Союз! Знали ли мы, что «мюнхенцы» помешали Советам спасти Чехословакию от лап Гитлера! Знали ли мы, что Боннэ, Даладье, Чемберлен саботировали заключение военного договора с Советским Союзом! Знали ли мы, наконец, что Россия выигрывала время!

Ничего этого не знал человек без родины — Сергей Щеглов. И ему нужно было пройти еще через долгие и долгие испытания...

Я переехал в «Тироль». И здесь и на улицах я слышал споры, видел смущенных, грустных, растерянных людей, среди них вертелись предатели, будущие «коллабо» — коллаборационисты, пораженцы, немецкие наемники и шпионы.

Наступил вечер и ночь 31 августа 1939 года. Я сидел у окна и бессмысленно глядел на улицу, она была пустынна.

Кто-то постучал в мою дверь. Я услышал голос Денизы.

— Бегите вниз! Слушайте радио.

Я был не одет, накинул халат и сбежал вниз в контору отеля.

На пороге я услышал:

— Пикирующие бомбардировщики над Варшавой! Город горит!

— Германские танки уничтожили польский кавалерийский корпус!

— Немцы вторглись в Польшу!

Я оглянулся. Вокруг стояли люди. Мне кажется, что я не забыл и никогда не забуду выражение их лиц. У многих это было выражение обреченности и страха.

Так началась для меня война.

## 5

Дальше начались месяцы «странной» войны. Девять месяцев немцы почти не вели военных действий против Франции. Я слышал со всех сторон:

— Отсидимся за линией Мажино. Вы читали — там только поиски патрулей. И ничего больше.

— Гитлер занялся Польшей, Востоком... Мы займемся нашими делами.

...И Брезак занялся делами.

— Я предпочитаю иметь наличные деньги. Лучше всего «гринбеки», то есть доллары. Вы были у мадам Мишо? Дорогой доктор философии, теперь вы видите, что ваш диплом никому не нужен. Займитесь делами.

По его поручению я вел переговоры с богатой старухой — одно время Брезак собирался продать ей свою виллу на юге. В первый раз я услышал откровенно изменнические речи именно в доме мадам Мишо.

Я не один раз бывал у мадам Мишо, в ее роскошной квартире близ Елисейского дворца, и меня всегда изумляли ее апартаменты с зеркальным коридором и гостиными, где можно было принять по крайней мере триста гостей. Портреты дедов хозяйки, мебель, портьеры, хрустальные люстры и канделябры, безделушки на камине и картины — все напоминало, если не времена Луи-Филиппа, то по крайней мере Наполеона третьего, все было запущено, грязновато, тускло, все выцвело и запылилось.

Из окон был виден прелестный сквер, но окна никогда не открывались и было душно и пахло пылью.

Мадам Мишо заставляла себя ждать, потом она появлялась, ко-

стлявая, грубо накрашенная старуха в жемчугах и бриллиантах, в коротком платье, сверхмодном и пестром. Она шла, покачиваясь на высохших ногах, иногда ее относило в сторону, когда она шла слишком быстро. Протянув мне руку в перстнях, она начинала бормотать что-то невнятное в нос, жаловалась на прислугу, на своего шофера, на консьержа, — выходило, что все ее обкрадывали, и она, несчастная, едва сводила концы с концами. А я знал, что она жадна как черт, что она ухитряется обчитывать даже свою повариху, что она требует от шофера отчета в каждом литре бензина и торгуется со своим врачом... Между тем она страшно богата, — так говорил Брезак, — держит свои деньги в Англии, в Америке и Швейцарии, в Париже ей принадлежат четыре дома, она скупает земли и родовые замки в провинции. Близких родственников у нее нет, дочь давно умерла, и два лоботряса-племянника, которым она не дает ни гроша, ждут не дождутся ее смерти, и тогда, говорил ей Брезак, «они себя покажут, они оденут своих девок в соболя, и ваши бриллианты будут носить девки из «Фоли-Бержер».

Брезак говорил это прямо в лицо мадам Мишо, она сокрушенно вздыхала:

— Он прав... А ведь он прав... Это такие каналы, мои племянники. Кажется, я начну сама тратить деньги, возьму себе красивого мальчика, и вы увидите, что будет, вы еще увидите...

В следующий наш визит она угощала нас вчерашним, подогретым кофе и делала вид, что забыла подать ликеры, две бутылки, которые Брезак помнил еще с девятьсот двадцать второго года.

— Она собирается прожить сто лет, она сама мне говорила! Бедные племянники, они будут развалинами, когда наконец получат наследство, — усмехаясь, говорил Брезак.

В тот самый день, когда стало известно, что немцы обошли линию Мажино и, как это было в 1914 году, с севера вторглись во Францию, я сам услышал от нее:

— Ну и что же? Лучше Гитлер, чем красные.

\* \* \*

Я жил в гостинице «Тироль», недорогой и довольно запущенной, каких сотни в Париже, на маленькой узкой улице, соединяющей два больших авеню близ площади Звезды. С начала войны гостиница опустела, полиция устроила чистку жильцов, и, к моему удивлению, высланы из Парижа были именно те, кто представлял опасность для Германии, а не для Франции. Выслали двух испанцев, затем беженцев «неарийского» происхождения, затем немцев-антифашистов. Куда отправляли этих людей? Во всяком случае я больше никогда их не встречал. Высылали и эмигрантов из России, бывших белых офицеров, шоферов, которые скорее всего были монархистами. К моему удивлению, ко мне отнеслись даже с некоторым почтением и, как ни странно, именно потому, что полицейскому комиссару было известно, что месть Серж Щеглов — доктор философии Мюнхенского университета и пасынок владельца солидного предприятия Луи Брезака.

После чистки гостиница заполнилась другими жильцами, в большинстве это были спекулянты из провинции, рыцари «черного рынка», который расцвел пышным цветом во время оккупации Парижа.

Иногда хозяин давал пристанище на одну ночь людям, которых разыскивала полиция, эти люди исчезали на заре, до ежедневного утреннего обхода полицейских. Я заметил, что это были знакомые

Денизы, маленькая стенографистка вела таинственные переговоры с хозяином гостиницы, сонным меланхолическим господином.

Я жил в одном этаже с Денизой, только в другом конце коридора. По утрам я слышал стук ее каблучков, когда она бежала на службу.

Вечерами Дениза стучала ко мне, но чаще я приходил к ней. Однажды я застал ее полуодетой, она сушила волосы и была прелестна в сиянии светло-золотых волос. Я все-таки был не стар, и щемило сердце, я знал, что здесь не мог получиться банальный роман с хорошенькой стенографисткой. Она просто жалела меня, это было чувство сострадания к одинокому человеку, потерявшему дорогое ему существо.

...Это было еще в месяцы «странной войны» — полиция задержала на улице одного из нелегальных ночлежников гостиницы. Я спустился в контору, когда его уже увели, по-видимому за ним была слежка. Я обратил внимание на лицо Денизы, она была очень взволнована и возмущена. Я слышал, как она говорила хозяину гостиницы:

— Мерзавцы! Продажные шкуры! Они хватают честных людей и позволяют нацистским шпионам шляться по городу.

— Оказывается, он коммунист,— бормотал хозяин.

— Ну и что же?

— Партия запрещена еще в сентябре.

Дениза повернулась к нему и сказала раздельно и громко:

— Запретить — это не значит уничтожить.

В конторе были люди. Я взял ее под руку, и мы вышли на улицу.

— Все-таки будьте осторожны, Дениза...

— Вы правы. Но что делается, что делается!.. Везде измена, везде продажность. Каждый думает о себе, только о себе, страх сводит их с ума. Эти господа думают, что они отсилятся. Францию ждет судьба Польши!

Мы шли молча.

— Знаете, Дениза, когда вы были у меня на улице Мишельанж, я был уверен, что вы сентиментальная дурочка, мечтающая делать добро. Оказывается...

Она рассмеялась.

Кто-то из великих французов сказал, что с француженками можно говорить на самые сложные и глубокие темы, даже если они хорошенькие. С Денизой мы больше всего говорили о будущем человечества, о коммунизме, о войне. От нее я узнал о призыве к народу Коммунистической партии, о призыве, в котором были слова: «Такой великий народ, как наш, никогда не станет народом рабов... Фронт борьбы за свободу... может быть создан вокруг рабочего класса, пылкого и великодушного, исполненного веры и мужества». Это было в июле 1940 года.

Для меня каждая встреча с Денизой стала не просто утешением в моем одиночестве. Я привык к этим встречам, к нашим долгим разговорам, и со мной произошло то, что можно было ожидать. Жизнь есть жизнь, и образ несчастной Розы не то чтобы уходил в прошлое, но острая мучительная боль воспоминаний сменилась болезненным и горестным раздумьем, когда я думал о ней. И Дениза как-то сливалась с Розы, а не отодвигала другой милый образ. Однажды в конце мая, в жаркий день, мы уехали за город и лежали на берегу Сены. Дениза сняла платье, солнце золотило ее тоненькую стройную фигурку, я смотрел на нее и чувствовал, как возвращается то чувство, которое я когда-то испытывал к Розы. Рука Денизы чертила что-то на песке, я взял эту руку и прижал к губам и вдруг почувствовал, что губы Денизы коснулись моего лба...

И снова, как в тот раз, в горах близ Берхтесгадена, в памяти моей возникло:

О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих лет!

Когда мы возвращались в Париж, началась воздушная тревога.

Мы заговорили о войне, и я сказал ей, что при мысли снова встретиться с нацистами меня охватывает ужас, что я не могу бороться с этим чувством и, если нацисты прорвут фронт, я уеду на юг, на Пиринеи... Я говорил это искренне, я не хотел представлять себя мужественным человеком, да я им и не был в то время.

— А вы, Дениза? Вы поедете со мной?

— Нет,— она сказала это решительно.— Я останусь.

«Странная война» кончилась. Предательство привело к разгрому Франции. Я никуда не уехал, и мы пережили в Париже и Дюнкерк и отступление.

— Конечно,— сказал мне однажды утром Брезак.— Немецкие танки идут на Париж.

Накануне страшного дня 14 июня 1940 года я видел, как теснились машины у застав, видел исход из Парижа, громадный город выглядел не спящим, как в фильме «Париж уснул», а мертвым.

Не помню по какому случаю я был у мадам Мишо, и мы стояли на тротуаре возле ее дома, когда мимо нас проходили немецкие солдаты.

— Великолепные самцы... Они вольют нам в жилы свежую кровь,— бормотала мадам Мишо.— Рыцари!

Я-то знал этих рыцарей... И раскаивался в том, что не ушел из Парижа, но уйти я не мог.

Я вернулся в гостиницу.

— Вы здесь? — спросила Дениза.

— Ради вас...

Она покачала головой и посмотрела на меня грустно и ласково, всепонимающим взглядом.

## 6

Париж был в параличе. Все было по-прежнему: пепельно-серый колорит его кровель, почти сиреневый цвет неба на закате, окраины в дымке; казалось, он остался прежним — таким я видел его много раз с Монмартрского холма, но город был в параличе — его убивал страх. Город замирал, когда наступал комендантский час. Люди с трепетом отвечали на опросные листки, перечисляли дедушек и бабушек, свидетельствуя своей подписью, что никогда не принадлежали к еврейской общине или к масонской ложе. По улицам крадущейся походкой проходили люди со звездами из желтой материи на одежде; это были «неарийцы» — их отметили желтым знаком смерти нацисты, прежде чем отправить в лагеря уничтожения.

Ужаснее всего было то, что нацистские палачи находили себе верных подручных, мерзавцев, завербованных «фюрером Франции» Дорио и Дарнаном, и не очень утруждали себя черной палаческой работой. Французское гестапо на улице Лористон имело более страшную репутацию, чем немецкое, и имена «французов» Бони и Лафона звучали страшнее, чем имя Кальтенбруннера, который парил где-то в самых высших сферах. Страх, леденящее чувство страха унижало даже порядочных людей. Никто не мог быть гарантирован от доноса своего соседа или даже приятеля — все это было мне знакомо еще по бытию



в Мюнхене. Настало время, когда многие честные люди думали о себе, и только о себе.

Желтые афиши на стенах извещали о расстрелянных заложниках. Подлецы, вроде Филиппа Анрио, требовали казней и осыпали оскорблениями пленников из «Свободной Франции», расстрелянных немецкими палачами. Режим оккупации породил чудовищный цинизм, наживались владельцы ночных кабаков, ресторанов — «черный рынок» поставял им все, в чем нуждались оккупанты.

Не знаю, для чего я пересказываю то, чему я был свидетелем, я ведь пишу не исторический труд, я рассказываю свою жизнь, которая интересна может быть только одним — перерождением человека, который в конце концов обретет характер и решительность.

И потому все, что я видел в те черные годы, когда раскрывались и лучшие, и худшие черты человеческой природы, когда рядом с подлостью, цинизмом и жестокостью пробудилась самоотверженность, бесстрашие, любовь к своему народу, — нашло место в этой тетради.

Месяцы тянулись как одна томительная ночь, полная кошмаров, с судорожными попытками проснуться.

Не стало Третьей республики, не стоило жалеть о ней, если бы не наступили худшие времена. Для меня Третья республика Франции была даже не мачехой, а придирчивой и злой домохозяйкой, давшей мне приют и терпевшей жильца, пока у него были деньги. Теперь у этой Франции был жестокий и презирающий ее хозяин, силой ворвавшийся в ее дом.

На Елисейских полях, в кафе, красовались щеголи-офицеры эсэс и щеголявшие в летних зеленых мундирах офицеры вермахта, затем господа в штатском — офицеры абвера — контрразведки, которой ведал знаменитый Канарис. Офицеры разыгрывали роль культурных завоевателей, вежливо уступали дорогу своим дамам, среди которых были и русские аристократических фамилий, главным образом прибалтийских. Но я знал и других русских, эти потом участвовали в Сопротивлении, иные погибли в застенках гестапо. Больше было таких, кто старался как-нибудь извернуться, прожить.

В Виши самодовольный старик «Мы, Филипп Петэн», которому было за восемьдесят лет, окруженный прожженными политиками, предателями и убийцами, вроде Дарнана, делал вид, что управляет суверенным государством, он продолжал верно служить немцам даже после того, как, нарушив перемирие, они оккупировали всю Францию.

Огромная свора хищников-посредников обслуживала оккупантов, наживаясь, скупая дома, имения, родовые замки. Они знали, где можно позавтракать, как в мирное время, провести вечер с Лулу из «Фоли-Бержер». Им была безразлична судьба тех, кого немцы заставляли делать снаряды, рабочих, которых хватили по доносу, пытали и казнили за саботаж.

Брезак понемногу приходил в себя и как-то стыдливо делал робкие шаги в сторону «сотрудничества» с оккупантами. Между прочим, он ставил себе в заслугу мой мюнхенский диплом. Он рассуждал так: «Это производит впечатление даже на полицию. И философия на что-нибудь годится». Тем не менее ночью я просыпался, слыша треск мотоцикла или внезапно оборвавшийся шорох автомобильных шин.

С Денизой я виделся редко, она часто уходила, иногда не ночевала дома. Однажды ее не было два дня, и, когда она вернулась, я не мог сдержать себя и сказал ей, что она самый близкий мне человек и что с ее стороны жестоко подвергать меня таким испытаниям.

Она ответила просто и грустно:

— Да, мы могли бы найти свое счастье... Но не в такое страшное время.

Я целовал ее руки, она гладила мои волосы и повторяла:

—...в такое страшное время.

Потом, подумав, сказала:

— Из всех бедствий, которые могут обрушиться на нацию, самое худшее — иностранное нашествие. Знаете, кто это сказал? Стендаль.

Я всегда немного жалел людей, которые знали Францию мимоходом, — видели из окна автобуса для туристов города и деревни, Париж с Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, пробегали по залам Лувра и уезжали, не зная ни Франции, ни ее народа, — умных и даровитых тружеников, которые живут на рабочих окраинах Парижа, в селениях, лесах, полях страны...

Если бы было возможно, я бы не выходил на улицы Парижа; я не мог равнодушно видеть автомобили со свастикой, зеленые и черные мундиры, я не мог слышать топот сапог по асфальту. Но приходилось покупать пищу для себя, для Денизы, иметь дело с шакалами черного рынка.

Однажды я встретил мадам Мишо, она шла, судорожно шатаясь, прижимая костлявыми руками к впалой груди репу. Она узнала меня и прошамкала:

— Какое счастье! С завтрашнего дня в моей квартире будут жить господа из гестапо. Они обещали меня кормить. Какое счастье!

Каких только троглодитов не рождает капитализм!

Брезак внезапно уехал, по-видимому, в Виши. Этого и следовало ожидать. Он не мог равнодушно и бездеятельно смотреть, как обогащались типы, которых он считал мелкими жуликами.

Истекал первый год оккупации. Меня ожидало новое жестокое испытание. В июне сорок первого года немецкое радио орало о том, что гитлеровские армии вторглись в Россию. Это были каннибальские вопли о неслыханных победах, о трофеях, о пленных, я старался не верить. Но в первый раз я подумал о том, что я русский, вспомнил о завете моего отца и теперь понял, что мне следовало быть там, где сражались мои соотечественники.

Я сказал об этом Денизе.

— Можно кое-что делать и здесь, — туманно ответила она. — Будьте осторожны, теперь гестапо и предатели снова возьмутся за русских.

Она была права. И снова были бессонные ночи и ожидание ночных обходов, и страх, который измучил меня вконец. Действительно, взяли за русских.

Некоторые «русские» были отвратительны, об одной титулованной даме говорили, что она поставляет жертвы гестапо. Какой-то грязный листок печатал списки евреев и «неблагонадежных» и в общем делал то же, что делала титулованная аристократка. Были так называемые интеллектуалы, которые избрали очень выгодную философию: «Это в общем нас не должно тревожить после того, что мы пережили там, в России, в семнадцатом году... Нужно жить в ином, духовном, мире, уйти туда, в горные выси, подальше от грешной земли».

Террор нацистов становился свирепее, списки расстрелянных длиннее, иногда я встречал в списках русские фамилии и говорил себе: значит, есть среди моих соотечественников честные люди, а ты все-таки трус. Если бы жила Роза, она бы не простила тебя. Ты бежал из Мюнхена вместо того, чтобы отомстить, вместо того, чтобы бороться, искать связей с теми, кто боролся в подполье. Что же меня ждет здесь? Может быть, то же, что в Мюнхене. И меня охватывал страх. Я искал себе оправдания. «В чем моя вина? В том, что ты в стороне. В том, что ты существуешь, просто существуешь»... — отвечал я себе.

Появился Брезак. Он приехал из Виши на два дня. В его бюро кроме меня был еще старик-кассир, служивший у Брезака много лет. Он выглядел страшно, это был скелет, обтянутый кожей. Мой отчим уволил его, как только переступил порог бюро.

— Это жестоко, — сказал я.

— А что делать? Ты думаешь, мне легче? Надо уметь смотреть в глаза фактам. Где сила, которая может сказать фюреру: «нет!» Это чудовищная, невиданная в истории военная машина. С англичанами кончено. В Дюнкерке они бросили нас и еле уползли на свой остров. Америка? Россия? — он взмахнул пухлыми ручками. — Мы не рассчитали, после поляков он должен был броситься на русских, нужно сознаться, что мы ошиблись.

— Почему вы не пошли вместе с Россией после того, как он бросился на чехов? Почему вы пошли на Мюнхен?

— Россия обречена. Соппротивление бессмысленно. Это абсолютно ясно.

— Я этого не думаю.

— Еще бы! Несмотря ни на что, — ты все-таки русский. Кстати, ты живешь по паспорту для иностранцев, фамилия русская, ты понимаешь, как ты должен быть осторожен! Получить французский паспорт теперь невозможно.

— И тогда, и теперь — все равно, я на это не согласен.

— Дорогой Серж, — у него появилась даже мягкость в голосе, — вы росли на моих глазах, мне кажется, я отвечаю за вашу судьбу...

— Я взрослый человек.

— Не перебивайте меня. Я принял к сердцу ваше несчастье в Мюнхене. Выслушайте меня, это очень важно. У меня есть знакомый немец, офицер, гауптштурмфюрер СС, это что-нибудь значит?

— А черт их знает! Не поздравляю вас с таким знакомством.

— Он мог бы что-нибудь для вас сделать. Но раз вы не хотите... — Он вдруг отвлекся. — С едой в Париже действительно скверно, за все время я только один раз отлично позавтракал. Этот немец пригласил меня в «Серебряную башню». Там есть все! Но цены фантастические!

— Еще бы, клиенты черного рынка. А этот нацист платил оккупационными марками, они печатают их вагонами... Зачем вы ездили в Виши?

— Надо что-то делать... У меня есть приятели, друзья друзей старого маршала. Откровенно говоря, он присвоил себе власти больше, чем у Людовика XIV.

— Но у вашего гауптштурмфюрера, конечно, больше власти.

— Не шути.

— Какие же это шутки!

— Немцы в общем требуют, чтобы жизнь продолжалась. Деловая жизнь. Это в наших интересах. Попробуем рассуждать здраво. Что мы могли делать? Англичане уползли на свой остров. Их бомбили, они устроили зонтик из самолетов. Мы ошиблись, когда верили, что у нас лучшая в мире армия, авиация. Америка? На что мы могли надеяться? Зачем я ездил в Виши? Зачем я завтракаю с нацистом? Я отвечаю тебе прямо: я боюсь. Боюсь потерять все, ради чего я работал всю жизнь. Боюсь потерять жизнь. Этот немец говорил мне, что доносы сыплются как град. «Нашим людям не приходится особенно трудиться. За них работают благонамеренные французы». Конечно, это мерзко... Ничего не делать — это подозрительно. Значит — выжидаешь. Надо изворачиваться. Ты знаешь, что такое страх?

Я знал, что такое страх, и молчал.

Я полюбил Денизу, но любовь принесла только тревогу и страх за нее, любимую. Я постепенно стал понимать скрытую от меня ее жизнь, внезапные исчезновения после коротких и странных телефонных разговоров, свидания, назначаемые в разных концах города. Однажды я увидел ее на бульваре Сен Жермен с пожилым мужчиной. Телефон в нашей гостинице был внизу, в конторе, к телефону подходил хозяин, его дочери или жильцы. Люди держались врозь, опасались излишней близости, но все-таки оказывали друг другу мелкие услуги, сообщали о телефонных звонках, передавали мелкие поручения.

Несколько раз один и тот же мужской голос просил к телефону Денизу, я поднимался за ней и, когда она бежала по лестнице, уходил, чтобы не показывать, что меня интересуют ее беседы с мужчинами.

Я мог бы испытывать чувство ревности, она была молода и хороша, но я понимал, тут что-то другое, я боялся потерять Денизу, я знал, что за всеми нами следят. Новый жилец поселился во втором этаже, в комнате, откуда можно было, приоткрыв дверь, следить за всеми, кто поднимался и опускался по лестнице,— лифта в гостинице не было. Днем и вечером этот тип торчал в конторе и садился так, чтобы видеть, кто входит и выходит. Я сказал об этом Денизе. Она потрепала меня по щеке:

— Вы наблюдательны. Но я тоже.

— Я очень люблю вас, Дениза.

Что бы я дал, если бы услышал: «Я тоже!» Но она сказала:

— Это приятно слышать. Но...

Позвонил телефон, и она сказала «да» и исчезла.

Однажды она постучалась ко мне, губы ее слегка дрожали, она была бледна и взволнованна.

— Не можете ли вы встретить у почты на углу одну даму в зеленом плаще? Скажите ей, чтобы она не заходила ко мне. Пусть ждет звонка.

Я сделал то, о чем она просила. В другой раз она велела мне позвонить по телефону — нужен был мужской голос. Потом в другой раз я отвез по какому-то адресу коробочку с лекарством. Я сказал:

— Это похоже на сновидение.

— Да, для долгого, очень долгого сна.

Когда я вернулся, она мне сказала:

— Вот вы и наш.

Мне это было приятно, я понимал, в чем тут дело, но мне казалось, что я мог бы сделать больше, и сказал об этом Денизе. Она испытующе посмотрела на меня, мне в ее взгляде почудилось что-то вроде жалости.

— Может быть.

— Вы знаете, что у меня счеты с этими злыми животными. Располагайте мной, вы и ваши друзья. Или вы мне не доверяете?

— Вы же видите, что мы вам доверяем. Но каждый должен делать то, что он может... — и, мне кажется, она посмотрела на меня, на мою искалеченную руку.— Не обижайтесь. Нет?

А на следующий день, проходя мимо комнаты Денизы, я услышал голос мужчины, как будто знакомый мужской голос: в ее комнате был тот самый человек, который не раз просил позвать ее к телефону.

Был девятый час утра. Если бы он ночевал у Денизы, он бы ушел на заре, до обхода. Что-то больно кольнуло меня в сердце, я старался себя успокоить: разумеется, он у Денизы по делу, в конспиративных целях. Мне стало стыдно моих подозрений, и я ушел в свою комнату. И ни о чем не спросил Денизу.

Но через два дня повторилось то же. Тогда я стал убеждать себя — может быть, это и любовь и другое вместе, они товарищи, они молоды, можно ли их винить, что среди мрака и ужаса войны они полюбили друг друга, к тому же их объединяет общая цель. В этой любви, на грани гибели, все прекрасно, и какое тебе дело до них? Ты — жалкий, слабый человек, потерявший все лучшее, что у тебя было в жизни, можешь ли ты мечтать о любви? Но трудно убедить себя, когда утраченной надежде, мечте о любви, которой не суждено сбыться. А потом пришла другая мысль: если он оставался ночью в ее комнате, почему же он не ушел до обхода. Он рисковал, но чего не сделаешь ради любви. Наконец, я не мог больше терпеть эту муку и спросил Денизу, стараясь не смотреть в глаза:

— Только что от вас ушел ваш друг. Что, если шпик на втором этаже заметил его...

— Разве нельзя любить? — сказала она, улыбаясь. — Кажется, наци этого еще не запретили.

— Но если это не только любовь?

— А что, если это и то, и другое?

Мы стояли в коридоре, она позвала меня к себе, в свою комнату.

— Дорогой, благородно, что вы заботитесь обо мне. Мне незачем обманывать вас, могла ли я об этом думать... Это наш товарищ, настоящий герой, — она понизила голос, — его сбросили на парашюте англичане, он — эльзасец. Разве это похоже на любовную интрижку? Вы меня знаете, я на это неспособна. Это... это — любовь.

— В такое «страшное время?» (Я повторил ее же слова).

— Ну что поделаешь, дорогой Серж? Я вам сказала все.

— Это жестоко.

— Мне грустно, я причиняю вам боль. Я сама не думала, что так будет. Сначала меня восхищала его смелость, мужество. Потом пришло чувство. Первое у меня, Серж...

Я видел слезы у нее на глазах.

— Будьте осторожны. Вы можете погибнуть... оба.

— Ришар очень осторожен, у него превосходные документы, при том опыт. Видите, как я вам доверяю. Не осуждайте меня. Это — жизнь. Любовь, опасность, смерть...

Я вышел из комнаты Денизы и несколько дней избегал с ней встреч.

Это произошло вечером, я ждал у телефона, мне обещал позвонить Брезак. Было тоскливо, в конторе горела тусклая лампочка. Брезак наконец позвонил и назначил мне свидание в бюро, утром, на следующий день. Я уже хотел подняться в свою комнату, в это мгновение стукнула входная дверь, я услышал смех Денизы, увидел ее и рядом с ней темную, высокую фигуру. Они медленно шли к лестнице, он оглянулся в мою сторону, и на одно мгновение я ясно увидел его лицо и чуть не вскрикнул... Это был Рихард Бальц, мой ученик. Взгляд его упал на меня, я вздрогнул, в первое мгновение я не понял, что сижу в полутемной комнате и что за тюлевой занавеской он меня не видит.

Это длилось одно мгновение, потом Бальц и Дениза ушли.

Я продолжал сидеть в конторе, голова разламывалась от мыслей: почему Рихард здесь, почему он выдает себя за эльзасца? Не сразу мне пришло в голову самое худшее. И вдруг неожиданно я услышал шаги и кашель, в контору вошел жилец второго этажа, бросил в мою сторону странный взгляд и пошел прямо к телефону. Я едва поднялся со стула, чувствуя на себе взгляд этого человека. Не было никакого сомнения, он тоже видел Денизу и Рихарда.

Я вернулся к себе в комнату и метался как безумный.

Почему Рихард, стопроцентный немец, выдает себя за эльзасца?

Он был лучшим моим учеником, говорил по-французски с почти незаметным акцентом, именно потому он сказал Денизе, что родом из Эльзаса. Я вспомнил немецкий иллюстрированный журнал — разве я не видел снимка, где Рихард был в черном мундире эсэс. Смешно было подумать, что этот человек мог перейти в лагерь Сопротивления. Не может быть сомнения, он — шпион, агент абвера, немецкой контрразведки, я вспомнил, что его любимой литературой были романы о шпионах и разведчиках. А жилец второго этажа? Несомненно тоже контрразведчик, нечто вроде телохранителя Рихарда.

Много я перенес мучительных часов в своей жизни, но все это было несравнимо с той ночью, когда я знал, что в комнате Денизы находится провокатор и эта девушка имела несчастье полюбить его. Я уже забыл о ревности, я испытывал одно чувство — жалость и ужас при мысли о том, что будет с Денизой и ее товарищами.

Как это могло произойти?

Вернее всего тот, кого сбросили на парашюте, был схвачен, и Рихард Бальц воспользовался его паролем и документами.

Я спрашивал себя, что я мог сделать сейчас, ночью, сию минуту?

Ворваться в ее комнату безоружным бессмысленно. Он и его телохранитель уничтожат или арестуют нас обоих, меня и Денизу. Это не спасет ее группу. Затем нужно время, чтобы все объяснить Денизе. Наконец, во мне шевелилось чувство страха, мерзкий голос говорил мне: «Однажды ты уже перенес жестокое испытание, тебя искалечили, берегись...»

Время шло. Я смотрел на часы. Был третий час ночи. Рихард все еще был у Денизы. Я придвинул кресло к двери, слегка приоткрыл ее и прислушался. Тишина. Он уйдет утром. «У него отличные документы», — сказала Дениза. Еще бы! Он плюет на комендантский час, этот провокатор... Вихрь мыслей так измучил меня, что я забылся в кресле и пришел в себя, когда услышал осторожные шаги в коридоре... Он уходил. Был, кажется, шестой час утра. Когда стихли шаги, я был готов постучаться к Денизе.

В коридоре не было света, только этажом ниже тускло светилась лампочка. Я прислушался и, осторожно ступая, пошел по коридору. Вдруг мне почудилась тень на лестнице, она выростала, приближалась, я даже увидел в полутьме отблеск очков этого человека, мне слышались шаги. Я замер, я был уверен, что это шпион, который жил на нашем этаже.

До сих пор не знаю, что это было, галлюцинация или действительно шпион следил за комнатой Денизы? Я вернулся к себе и решил ждать утра. Что может произойти за эти два часа? Самое ужасное уже произошло: Дениза и ее товарищи доверились шпиону-нацисту.

В начале девятого я постучался к Денизе. Никто не ответил.

— Мадемуазель ушла на весь день, — сказала мне горничная Мари. — Она ушла рано утром.

Можно себе представить, что я пережил, услышав эти слова. Где могла быть Дениза? Я терялся в догадках. Она никогда не говорила мне, куда уходит. В десять и в одиннадцать я стучался к Денизе — ответа не было. Шпион, который жил на нашем этаже, тоже не показывался. Я решил идти к Брезаку. О том, пришла ли Дениза, я мог справиться в крайнем случае по телефону.

Я шел в бюро Брезака и думал о том, что, если меня увидит Рихард Бальц, — я погиб. Мерзкий страх заползал в душу, — немцы уничтожат меня, чтобы я не разоблачил агента их контрразведки.

— Что случилось? У вас странный вид? — сказал Брезак.

— Просто я не спал эту ночь.

— Мы все плохо спим. Но дело вот в чем: я не могу оставить без присмотра мою виллу на юге. Вы поедете туда.

— В качестве сторожа?

— Все равно в каком качестве. Это прекрасное предложение. Неоккупированная зона. В Париже вы дождетесь — вас отправят в гестапо. Некоторые уже пострадали, они занимали ту же позицию, что и вы.

— Какую позицию?

— Они выжидали.

— Когда надо ехать? (Я подумал, что во всяком случае успею предупредить Денизу).

— Чем скорее, тем лучше для вас.

— Завтра?

— Вы что-то очень спешите. Что случилось?

— Ничего. Я просто дохну с голода.

— Я тоже ем репу. Иногда. Сегодня я увижу мадам Готье, мы стараемся вас отправить поскорее. Не обещаю вам райской жизни, но там не так опасно... Противно, что нас заставляют голодать. Но для меня с моим брюхом это — диета, — он распахнул полы пиджака. — Я похудел, неправда ли? Сегодня вы завтракаете со мной, у меня найдется кое-что получше репы.

День я провел с Брезаком. Четырежды я звонил в гостиницу, в последний раз мне ответили что-то бессвязное: «Мадемуазель у нас не живет, она серьезно больна».

Я бросился в гостиницу. Взбежал на наш этаж и увидел, что дверь комнаты Денизы открыта настежь. Все разбросано. Платья, чулки, все на полу. Вдруг я услышал за собой шаги, позади меня стоял шпион с нашего этажа, он смотрел на меня сквозь очки, и в глазах его была скорее насмешка, чем злоба.

— Мадемуазель арестовали... Кто бы мог подумать? Бедняжка.

Я едва доплелся до своей комнаты и упал как подкошенный.

## 8

Дениза вернулась на следующее утро. Я услышал ее голос и вбежал к ней. Она стояла посреди комнаты бледная, но, как мне показалось, спокойная.

— Как видите, это я... Боже, что они здесь натворили.

Я посмотрел ей в глаза. Нет, это было не спокойствие, а какое-то оцепенение, застывший ужас.

— Вы хотите знать, что со мной сделали в гестапо? Ничего. Со мной ничего. Но мне показали, что они сделали с другими... — она упала на постель, закрыла лицо подушкой, чтобы не слышно было ее рыданий.

— Погибла вся группа. Девять человек. Это сделал шпион... тот, что жил в коридоре. Сегодня он исчез, совсем исчез, мне сказала Мари. Вы были правы... Но как он узнал, как... Он выследил Ришара.

— Дениза...

Она меня не слушала:

— Меня допрашивали только о Ришаре, я не сказала ничего. Но меня не пытали. Один мерзавец мне сказал: «Это опаснейшая личность, его сбросили с самолета англичане... Мы понимаем ваши чувства, видите, мы не такие звери, как о нас говорят». И меня отпустили, но прежде показали наших. Боже, что они с ними сделали!

Она зарыдала и в судорогах забилась на постели. И в эти минуты я должен был нанести ей последний удар.

— Послушайте, вы ничего не знаете. Шпион в нашем коридоре — подставное лицо. Нет никакого Ришара. Он не эльзасец. Этого чело-

века зовут Рихард Бальц, и он чистокровный немец. В Мюнхене я давал ему уроки французского языка. Я узнал его. Нацисты убили того, кто был сброшен на парашюте. Рихарда выдали за этого человека.

Она вдруг поднялась с постели и шепотом спросила:

— И вы это знали?

— Вас пощадили в гестапо, чтобы не разоблачить своего агента Рихарда Бальца. А вашу группу, всех, кроме вас, погубил Бальц.

— И вы знали, что Ришар...

— Позавчера я узнал об этом, я увидел его лицо, когда вы поднимались с ним по лестнице сюда.

— Но он ушел в пять часов утра. И вы мне не сказали?

— Мне показалось, что за вашей комнатой следят.

— Значит, вы опознали его только позавчера?..

Она говорила почти спокойно, но я не узнавал ее голоса.

— И вы не решились сейчас же сказать мне... испугались? Вы спасли жизнь этому мерзавцу! Вчера днем у меня была назначена встреча с ним в метро. Если бы вы сказали мне, кто он, он не ушел бы живым.

— Но Дениза... ваши товарищи были арестованы прежде, чем я узнал в Ришаре Рихарда Бальца. Было уже поздно, их уже нельзя было спасти. Я не виноват...

— В этом вы не виноваты. Вы виноваты в том, что спасли жизнь провокатору. Вы могли предупредить меня... Вы испугались тени, шороха и убежали вместо того, чтобы предупредить меня...

Я молчал.

— Вы — трус! Трус... Я не хочу вас видеть, — она забилась в рыданиях на постели. — Я... никогда, никогда не прощу себе этого...

— Вы не виноваты.

— Оставьте меня. Трус! Ничтожество!

Я вышел из комнаты.

Мне нечего было делать в Париже. Мадам Готье ждала меня, я знал немного эту бойкую даму. На следующий день мы выехали с ней в Бордо. С нами было еще несколько человек, пробиравшихся в так называемую «свободную» неоккупированную зону, но все мы делали вид, что не знаем друг друга. Вместе с мадам Готье нас было семеро. В руках у нее была бумага с именами, и при встрече с немцами мы должны были откликаться на имя, указанное в списке. Нам предстояло пройти по «ничьей земле», по одну сторону были немцы с собаками, по другую — французы солдаты, так называемая «армия перемирия». Но мы никого не встретили, вышли на пустынную дорогу, и нам велели бежать во всю мочь до фермы, где мерцал огонек. Здесь сидела старуха и доила корову. Дальше мы шли, не торопясь, пока не уперлись в шлагбаум. Там стояли солдаты французы, курили, болтали и даже не взглянули на нас. На площади маленького городка нас ожидал старенький автобус, мы сели в него и через полчаса оказались на знакомой мне южной автомагистрали. Это и была «свободная» неоккупированная зона.

Я ехал в автобусе, смотрел в окно, все здесь мне было знакомо, и мне казалось, что ничего не было, не было немцев, Рихарда Бальца, не было Денизы и всего, что случилось в Париже. Но все было. Был вокзал и желтая афиша, где среди прочих были фамилии девяти товарищей Денизы — расстрелянных, как там было сказано, «за преступления против германского вермахта».

Проходили люди и обнажали голову. Я снял шляпу, почтив память тех, которых погубил Рихард Бальц. Оставалось одно: возмездие.

*(Продолжение следует)*





# ЧЕЛОВЕК

## *и друзья*

РОМАН

40

**Е**ще бьется энергетическое сердце Украины — Днепрогэс. Еще дымит трубами под небом юга степной гигант «Запорожсталь», круглые сутки работают другие заводы и ходят трамваи от старого до нового Запорожья, — а высоко над городом, как привидения войны, висят до утренней зари аэростаты. Команды девчат-аэростатниц запускают их с вечера, и воздушные часовые ночуют в небе, стерегут ночной город, — заводы тем временем работают на оборону, домны и мартены дают плавку.

Аэростаты в раннем чистом небе над Запорожьем, разбомбленные дома, огромные воронки на улицах, на площадях — вот чем встретил Богдана Колосовского родной город.

Когда бойцы высыпали из вагонов, кто-то, не разобравшись, даже пальнул в небо по аэростатам: спросонья ему показалось, что это вражеские десанты спускаются на парашютах на тихий, повитый утренней дымкою город.

— Куда стреляешь? Своих не узнал? — закричали на него девчата, которые вели по улице на веревках аэростат, стянув его с неба, а он все вырывался у них из рук, будто хотел снова вернуться вверх, в небо.

Выгрузившись из эшелона, бойцы форсированным маршем двинулись через город в сторону Днепра.

— На защиту Днепрогэса! Днепрогэс в опасности! — этим тут наэлектризован воздух.

Неужели правда? Неужели опасность так близко? В эшелоне были разговоры, что направляют их куда-то за Днепр, на Кривой Рог, а то и дальше, но теперь вот, оказывается, вместе с запорожским народным ополчением они встанут тут защищать Днепрогэс.

Растянувшись по магистральной улице, идут все быстрее, быстрее, почти бегут, тяжело дыша, и гимнастерки темнеют от пота, и из-под касок грязными ручьями стекает пот.

Богдан сурово поторапливает бойцов своего отделения. Побряки-

вая оружием, спешит он с товарищами через знакомые места Шестого поселка, с болью душевной шагая мимо скверов, где теперь роют окопы, мимо кинотеатров, где не раз бывал, мимо залитых утренним солнцем кварталов, где жили когда-то его друзья и ровесники. Кое-где вместо домов — только кучи развалин, обломки стен, обнаженные комнаты... Так вот куда привела его судьба, вот в какую годину привела! Тут он вырос, на его глазах возникал, ширился этот новый социалистический город. Отец Богдана считал себя днепрогэсовцем, он служил в полку внутренней охраны, в том любимом запорожцами полку, над которым шефствовали заводы, — полк нес охрану Днепрогэса, и его бойцы выходили на первомайские парады в голубых, как днепровская вода, фуражках. Такая фуражка была мечтой его детства. В отцовском полку было все особенное — и фуражки, и оркестр с огромными, сверкающими на весь город трубами, и когда полк проходил по Запорожью, казалось, голубая река течет по широкой солнечной магистрали Шестого поселка. Впереди полка идет, чеканя шаг, человек мужественной и гордой осанки — то идет со своим почетным оружием черноусый твой отец, герой революционных боев на юге Украины, товарищ Колосовский! И вот теперь вместо него ты, его сын, побрякивая оружием, спешишь по центральной улице Шестого поселка, только не в голубой фуражке, а в тяжелой зеленой каске, и уже не парад тебя ждет, а война.

Запорожские курсанты на грузовиках, ополченцы в промасленных кепках, в рабочих спецовках, и ты, курсант-студбатовец, вместе с товарищами, — все вы — в одну сторону, все — к Днепру.

У Богдана дух перехватило, когда впереди блеснула родная река... Днепр! Синяя песня его детства, вот он уже ударил в очи лазурью, могучим разливом света, выгнулся дугою, забелел кружевами пены у высокой плотины... И огромная — через весь Днепр — бетонная гребенка быков, и краны над плотиной, и похожий на сказочный дворец дом электростанции на правом берегу, облицованный темно-розовым армянским туфом, — все это, вместе с гранитом берегов, с лазурью Днепра, с зелеными холмами Хортицы, с высоким куполом неба, сливается здесь в единое целое, встает как одно гармоничное творение, начатое природой и завершенное человеком. Сила и гармония. Свет и чистота. Кажется, ни пылинки никогда не падало на это сооружение, на все, что сияет тут новизной, какой-то праздничностью. Кажется, эта солнечная картина выхвачена откуда-то из грядущего как образец того, что когда-нибудь восторжествует на всей земле.

Бойцы движутся через плотину измученные, с мокрыми спинами, нагруженные оружием, запаленные бегом. Под плотиной, далеко внизу, видно, как ходит рыба у самых бетонных быков.

— Гляньте, сколько рыбы! — кричит кто-то на ходу.

Рыба кишит под плотиной, чуть ли не тыкаясь в бетон. Вверх ей дальше плыть некуда. Всюду в прозрачных, пронизанных солнцем глубинах, как тени затаившихся торпед, темнеют рыбы спины.

Ниже Днепрогэса широко раскинулся ослепительный Днепр, по нему то тут, то там выпирают из воды знакомые Богдану с детства камни, рыжеватые, будто прокаленные на солнце. Вот Скала Любви. Два Брата. Скала Дурная, на которой, по преданиям, запорожцы дубинами выбивали дурь из тех, кто провинился... Купался не раз там Богдан, прыгая с мальчишками со скалы в ласковую днепровскую воду. Сейчас на камнях, как и в годы его детства, сидят разморенные солнцепеком белые крычки, днепровские чайки, и глядят в эту сторону, на плотину, на пробегающих бойцов, на курсанта Колосовского, глядят и словно спрашивают: «Куда это вы? Что случилось? Почему вы все в такой тревоге?»

За скалами, за чайками — зеленая Хортица, славный остров казачий в объятиях Днепра. Буйные сады по всему острову, над ними семидесятипятиметровые, самые высокие во всей округе мачты. Где-то там железнодорожный полустанок Сечь, на том полустанке Богдан садился в поезд, впервые покидая родной город, пускаясь в широкий мир...

На Правом берегу в конце плотины какой-то контрольный пост. Распоряжаются тут военные в зеленых фуражках. Пограничники! Почему они тут? Дожить до того, чтобы государственная граница по плотине Днепрогэса проходила?! Суровые, замкнутые лица у пограничников, в глазах неумолимость. Преградив дорогу на плотину, сдерживают натиск беженцев, проверяют всех: кого — пропустят, кого — в сторону. Особенно насторожены к военным: не беглец ли, не паникер ли? Вот задержали длинноногого всадника, сидящего на коне без седла.

— Слазь!

Он ругается, кричит, у него на петлицах внушительные знаки различия, но на пограничников это не производит решительно никакого впечатления — стащили с коня, потому что нет уже для них ни чинов, ни знаков различия, есть только Днепрогэс за спиной, Днепрогэс, который нужно защищать.

Высоченные осоки склонились над озером Ленина. Наконец-то тень. Пока командиры что-то там выясняют, пополнение может немного передохнуть. Навалившись грудью на бетонированные парапеты в тени деревьев, бойцы всё глядят на полноводное озеро Ленина, на Днепрогэс, о котором так много слышали раньше.

— Я не думаю, что это так величественно, — не отрывая глаз от Днепрогэса, говорит хлопцам Степура. — Какое сооружение! И это на Днепре, где столетиями несмолкаемо грохотали пороги и сила стихии тратилась впустую...

— Да, это действительно гордость нашего века, — подхватывает Духнович. — Помните, Наполеон говорил в Египте: «Солдаты, с этих пирамид на вас смотрят сорок веков человеческой истории». Здесь на нас смотрят только пять лет, но зато каких пять лет — пятилетка новой социалистической цивилизации...

— И нигде ни царापинки, — заметил кто-то из бойцов. — Авиация ихняя еще ни разу, видать, его не бомбила?

— Бомбил, да не попал, — бросил один из ополченцев, проходивших мимо. — В скалу шарахнул.

«Все, что так вдохновенно строилось, возводилось миллионами трудовых рук, разве же оно строилось для бомб? — думает Богдан. — На целые столетия мирной жизни рассчитано это сооружение!»

— Мне кажется, на такую красоту рука не поднимется, будь ты варвар из варваров, — говорит Степура. — Забросать бомбами это изумительное творение человеческое...

«При мне тут укладывали первый бетон», — думает Колосовский, и мысль его уже убегает в прошлое, в те времена, когда не только днем, но и ночью, при свете прожекторов устраивались авралы, трудовые штурмы, когда заводские коллективы со знаменами шли к котловану, спасая сооружение от весенних паводков. Знакомые выплывают лица, далекие слышатся голоса...

«Вы, проектировавшие Днепрогэс. Вы, месившие тут бетон. Девчата-бетонщицы, грабари, монтажники, инженеры-энергетики, люди в резиновых сапогах, в комбинезонах, люди, днями и ночами работавшие тут, — вас хотят уничтожить одним ударом, под ноги войне хотят бросить ваш труд, ваш навеки зацементированный здесь пафос, энергию, вашу любовь...»

Резкие слова команды обрывают думы Богдана.

Идут.

Зелень и металл вокруг. Мимо черного железного леса трансформаторов, сквозь утопающие в садах поселки — на голые, опаленные солнцем кручи Правого берега. Где-то между Новым Кичкасом и Великим Лугом пройдет по холмам их линия обороны. Чем выше поднимаются, удаляясь от Днепра, тем горячее обжигает ветер их лица, ветер степного августа.

Вот они уже на круче. Остановились, придавленные тяжелыми горячими касками и небом, горячим, будто каска. Открытое поле, бурьян да посадки.

— Окопаться!

Достали саперные лопатки, отложили оружие — началась солдатская землекопная работа. Тихо вокруг, войны не слышно, неприятеля и признака нет. А они роют. Земля сухая, твердая, трудно поддается — окопы тянутся вдоль межи. Все тут седое по-степному: седые полныни стоят, тысячелистник седой, серебрится неподалеку в посадках седая маслина. Колочая она, терпкие на ней плоды, а бойцы уже пасутся в колочках.

Вперемежку с армейскими подразделениями занимают оборону народные ополченцы, бойцы военизированных заводских дружин, которые большими и малыми отрядами прибывают из Запорожья. Среди них немало таких, что еще ночью стояли у мартепов, а узнав об опасности, прямо со смены являлись в парткомы:

— Разбронировать нас!

Бронированные и разбронированные, в рабочих спецовках, кое-как вооруженные, на ходу вскакивали в трамваи, и девушки-кондукторы впервые не требовали брать билеты: знали, куда люди едут, куда пойдут, соскочив с трамваев. Целыми отрядами появлялись они теперь на правобережных высотах, на выжженных зноем днепровских «кряжах».

Где враг?

А врага не было, был лишь зной и затишье степное под огромной каской неба.

Неожиданно ребята встретили тут среди ополченских политработников одного из своих студбатовцев — Миколу Харцишина с геофака. От него узнали, что остатки студбата влиты в другие части, Лещенко назначен комиссаром полка и воюет где-то на Киевском направлении.

Разговор с Харцишиным происходил на ходу; увешанный гранатами, запыленный, он спешил со своим отрядом куда-то еще дальше в степь и на вопрос, где противник, лишь пожал плечами:

— Никто ничего толком не знает. На грузовиках послали разведчиков в сторону Кривого Рога, в сторону Никополя, если вернутся — расскажут.

С Левого берега все время прибывает вооруженный люд, дружинники, ополченцы. Их встречают на высотах жадными расспросами:

— Как там в городе? Что слышно?

— Всякая погань голову подымает... Муку тащат из пекарен — пыль столбом стоит!

— При мне двух мародеров на улице расстреляли.

— А у нас — слышали? — Курчавый белообрый ополченец, рывший окоп неподалеку от Колосовского, бросил лопату, весело огляделся вокруг. — У нас ночью возле силового цеха, — начал он громко рассказывать, — меридиан лопнул!

— Что? Что? Какой меридиан?

— Известно какой: географический. Акурат возле силового трещину дал. Быть бы аварии, если б не бросились сразу. А тут мигом — электросварщики и бригада с кузнечного, — у нас братва, знаете, какая! — до утра снова skleпали, сварили, не увидишь, где и лопнул.

— От заливаает! — кивнул Богдану пожилой рабочий, который поблизости ломал полынь для маскировки. — А положение-то аховое. Окопы вот уже роём у ворот Днепрогэса. Не зря же нас подняли, а?

— Конечно, — ответил, хмурясь, Богдан.

— Приехал к нам ночью на завод какой-то высокий чин, чуть не из самого главного штаба, — продолжал рабочий, — ну, сказать, вроде начальника главка. Мы, дружинники, к нему: «Дайте оружие!» — а он нам: «Оружия нет». — «Ну, а как же быть?» — «Куйте сабли». Думаем — шутит, а он всерьез: «Куйте». Известно, заводы у нас такие, что и черта выкуют, но где же ты вчера был, милый человек? Да и саблей ли воевать сегодня, хоть мы и запорожцы... Как же это? А он, начальник тот, пожимает плечами: «Так сложилось». Обозлило меня это его «так сложилось». Не должно, говорю, у нас так складываться!..

Запасная дивизия. Курсанты. Заводские военизированные дружины... Они берут на себя сейчас всю тяжесть. «И чем меньше нас, тем большая ответственность ложится на каждого из тех, кто здесь окапывается, — подумалось Богдану. — Вот заводские говорят, что оборонование у них демонтируют, эшелон за эшелонем вывозят. Но ведь Днепрогэс не вывезешь, не вывезешь и Днепр. Его нужно защищать».

Группа рабочих стоит в полный рост на пригорке, они успокоены тишиной, разговаривают, посматривают вокруг. Над ними горячая голубизна неба, родные степи вокруг, а внизу, далеко за Днестром — родной город с лесом черных заводских труб, растущих будто из земли. Рабочие задумчиво рассматривают все, что их окружает: и небо высокое, и степи, залитые солнцем, и затуманенный, задымленный город за Днестром, и Богдан будто слышит их потревоженные мысли: «Это же наш отчий край. То, без чего мы не сможем жить...»

— Как на душе, запорожцы? — выбравшись из окопа, весело окинул взглядом оборону белообрый шутник, рассказывавший о «меридиане». — Напоим фашистской поганой кровью нашу землю сухую?..

Из города грузовиками доставляют вооружение, раздают гранаты. Эти гранаты только что изготовлены на запорожских заводах; они шершавые и будто бы все еще горячие после заводской обработки. Из ближних колхозов привезли на обед харчи — огромные, густо посоленные пласти свежего сала, которое так и тает на жаре; снимают его с кузовов, расстилают перед бойцами, как белые медвежьи шкуры.

— Делите.

Был хлеб — белый, как солнце; сало — в ладонь толщиной; а воды вот не хватало. Весь Днепр выпили бы, будь он ближе!

Посланные за водой к Днестру приносили ее кто в чем: в ведрах, в котелках, в баклагах, а Степура принес днепровской водицы прямо в каске. Позвал Богдана, Духновича, и они возле его окопа пили из этой каски вволю.

Это была вкуснейшая в мире вода. Мягкая, сладкая, она пахла летним синим Днестром, и когда Богдан пил, не верилось ему, что когда-нибудь они уже не смогут пить эту воду и только в воспоминаниях будет для них жить ее пресный, сладкий, ни с чем не сравнимый вкус.

## 41

Возле окопа Степуры — головастый чертополох, татарник, цепкий дикий цикорий да собачья роза цветет. На примятой полыни, раскинувшись, спят Духнович и Колосовский, и пот течет с них, струится грязными ручьями. Степурина каска лежит в ногах у ребят пустая, вода уже из нее вся выпита.

Степура грузно сидит возле окопа, курит. Эти будяки, синие ко-

сарики да собачья роза — все они друзья его детства. Будто оттуда, с берегов Ворсклы, пришли и встали вот тут, на запорожских холмах. А ниже стелется, цепко держится за сухую землю «собачье мыло». Летом, когда, бывало, набегаешься по ранним холодным росам за коровой и ноги твои покроются цыпками, потрескаются, а мать заставит хоть немного отмыть их к воскресенью, — ничем ты их не возьмешь, кроме этого вот шершавого, как наждак, «собачьего мыла». Трешь, пока не сдерешь кожу... Все это было так давно, будто и не с ним. Все изменяется, и сам он изменился, вырос, только неизменен для него образ матери — встает она сейчас перед ним такой, какой была для него в детстве, какой была все эти годы. Проводила мужа и сыновей на войну и одна теперь дома, только тем и живет небось, что ждет от них весточки. Каждый год приезд его на каникулы — для нее праздник, только и заботы ей тогда, чтоб он получше поел, побольше поспал, чтоб набрался сил для науки. Никак не могла понять, почему он сам рвется к той же работе, что и брат его, комбайнер, хотя в душе гордилась, что рослого, загорелого ее студента колхозники все лето видят то на току, то у штурвала камбайна. И вот вместо золотого лета с мирным стрекотанием комбайнов бросила его судьба в другое лето — лето черных пожаров! Свалилось горе на них на всех; не для урожаяев, не для мирного труда теперь живут люди и жилистый отец его, садовник и огородник, пошел теперь на войну со своими медалями с Выставки за капусту, за помидоры... А могли же быть каникулы и этим летом, мог и Андрей на радость родителям быть сейчас дома, в родном селе, а не томиться душой тут, на знойных заднепровских рубежах. Вот куда докатилась война! Еще два месяца назад он назвал бы сумасшедшим всякого, кто сказал бы ему, что в августовский этот день он уже будет лежать на холмах под Запорожьем, с винтовкой в руках будет защищать Днепрогэс. И все же, как ни тяжело, как ни горек для них этот август, на душе у Степуры сейчас уже нет того отчаяния, что терзало его под Каневом, когда, раненный, он ждал на берегу переправы. Тогда ему казалось, что все рушится, что нет спасения; в причитаниях матерей на киевских шляхах, по которым надвигалось горе, он на мгновение словно бы увидел в черном видении, как погибает его народ. То было минутное отчаяние, вопль души, потрясенной первыми несчастьями, первой кровью и смертью товарищей. Хотя и нет просвета с тех пор, хотя война, как степной пожар, все быстрее распространяется во все концы, опалая своим дыханием уже Днепрогэс, сейчас на сердце у Степуры — вера более твердая, чем когда бы то ни было, уверенность в том, что есть силы, которых не растопчешь войной, есть вещи, которых не уничтожишь огнем. Непобедим народ, воздвигший своим трудом такие сооружения, такую красоту, какая сегодня встала перед взором Степуры. Вон дымят на горизонте запорожские заводы, хотя их бомбят каждую ночь, а ближе, на гранитных плечах днепровских берегов, возвышается он, Днепрогэс, символ новой Украины, детище новой, социалистической цивилизации. Электрическим сердцем республики, солнцем электрическим назвал тебя народ, и тобою, в самом деле, точно солнцем, был озарен весь край. Первая любовь страны созидающей, ее энергия, ее порыв к счастью воплотились в тебе, гордом первенце пятилетки. Разум и руки, создавшие такое чудо, они сильнее всех разрушителей!

Еще не побывав на Днепрогэсе, Степура писал о нем свои стихи. Это наивное его стихотворство, — зачем оно было? Славы хотелось? А что такое слава? И такая ли уж это необходимая вещь для человеческого счастья? Ты считал себя поэтом, вымучивая неуклюжие свои вирши, а поэтом, может быть, ты и становишься только сейчас, когда сердце твое наполнено горем народным и бесконечно близкими стали

тебе думы народа, его страдания, его великая борьба. Нет, не в стихах дело, не хочет он никакой славы, не надо ему ничего, только не было бы горя материнского, да не багровело бы ночное небо от пожаров над его землей, да вечно красовалось бы над миром это самое лучшее произведение его народа — залитый солнцем Днепрогэс!

Заводские ополченцы, что вместе с красноармейцами занимают оборону по холмам, гомонят, перекликаются, чистят винтовки. Тут много рабочей молодежи, смелой, смекалистой, а еще больше пожилых рабочих, у которых дома семьи, дети, а то и внуки. Рабочие, хоть и с винтовками, мало похожи на воинов, они и тут, на огневых рубежах, остаются больше людьми труда, которые еще ночью стояли у мартенов, и немного для них радости в том, что они вынуждены были бросить станки, домны, краны и взять в руки оружие...

Духнович, проснувшись, лежит на спине, смотрит в небо.

— Тебя не удивляет, что небо голубое? — обращается он к Степуре.

— А каким же ему быть?

— Ну, могло же оно быть... черным, скажем.

— Небо — черное? Брось ты эти свои фантазии.

— Ну, не черное, так бурое, или еще какое-нибудь. А то — голубое. Умна, Андрей, умна мать-природа! Самую нежную краску, какая только у нее есть, чистую лазурь эту она дала небу. Именно голубизну — краску, такую приятную для человеческого глаза... Отдала, окрасила ею весь свод небесный, под которым человеку положено жить... Живи!

— А что с этим небом делают! — отозвался Богдан; проснувшись, он тоже лежал на спине, подложив руку под голову. — Даже его запоганили.

— Помните, хлопцы, картины Васильковского в харьковской галерее? — снова заговорил Духнович, пристрастие которого к живописи было хорошо известно (все факультетские стенгазеты он оформлял). — Никто так, как Васильковский, не умел передавать цвет неба. «Небесный Васильковский»!.. И тут вот небо — точно как у него...

Далеко было сейчас от них все это — Харьков, картинная галерея и Васильковский с его несравненным степным небом... Разбросало, разметало в урагане войны молодой их студбат. Новые люди вокруг, новые номера подразделений, только черные медальоны в карманах еще студбатовские.

— Сколько наших товарищей-студентов уже никогда не вернуться в университетские аудитории, — вздохнул Степура. — Отчислен навеки Мороз. И Славка Лагутин. И Подмогильный.

— И неугомонный наш Дробаха, — добавил в раздумье Духнович, — певун, забияка, разбойник...

Стали припоминать тех, кто остался с комиссаром Лещенко на Роси, заговорили и о самом Лещенке, который теперь уже с новым полком воюет где-то там на Киевском направлении.

— Нам повезло, что мы с ним начинали, — сказал Колосовский. — Не представляю себе лучшего комиссара для нашего студбата.

— А как он жег наши документы в вагоне! — вспомнил Степура. — Огнем паспортов и зачеток освещена наша ночь выпускная.

— А может, хлопцы, мы и вправду идеалисты, как говорит Лымарь? — промолвил вдруг Духнович, словно бы борясь с какими-то своими сомнениями. — Может, большинство воюет лишь в силу необходимости, подчиняясь инстинкту самосохранения — и все тут?

— Тогда нужно считать идеалистами всех этих, — поднимаясь, указал Богдан на ополченцев, рассыпавшихся по холмам. — Как и мы, они пришли сюда по доброй своей воле, по собственному желанию.

— Потому что все это, — добавил Степура, — им, как и нам, жизненно необходимо, все безмерно дорого им здесь — от сооружений Днепрогэса до этого вот татарника...

— И татарник не зря на свете живет, — бросил мимоходом мешковатый дядька-ополченец. — Он в степи погоду предсказывает: колется — будет ведро, не колется — жди дождя...

Духнович потянулся к татарнику:

— Колется. К жаре, значит. К засухе. Скажите мне, хлопцы... Неужели и в далеком будущем останется у людей эта вот привязанность к своему краю, к своей земле, — привязанность, которую ты, Степура, так высоко ценишь? Не станет ли все это только предметом таких наук, как, скажем, этнография, краеведение?

— Не знаю, как уж там будет, — сердито возразил Степура, — но сейчас это человеку дает силы. По-моему, как и любовь к матери, это никогда не исчезнет.

— Да я, собственно, и не хочу, чтоб исчезло, ты не пойми меня так, — сказал Духнович. — Есть вещи, без которых душа человеческая поистине стала бы бесцветной и нищей. И все же — сколько тысячелетий еще будет волновать человека этот татарник?

Неподалеку проходила от Днепра группа бойцов с водой, и Богдан, увидев среди них Васю-танкиста, позвал его:

— Заворачивай к нам!

Этот с обожженной щекою Вася — единственный из госпитальных товарищей Богдана попавший сюда — был хоть и без танка, но с мыслью о нем.

— Кого напоить, хлопцы? — подойдя к студентам, спросил танкист и протянул Богдану погнутое ведро, в котором еще поплескивала на дне вода.

Ребята стали по очереди пить прямо из ведра.

— Вашего полку прибыло. Этот вот гражданин тоже почти студент, — указал танкист на ополченца в белой вышитой рубашке, который стоял рядом с ним и неловко улыбался. — Учитель здешний, хортицкий. Киевский университет кончал.

— Голобородько, — учтиво представился тот и, на вопрос Духновича, какой он предмет преподает, ответил: — Словесник. А вы?

— Мы бывшие историки...

— Почему бывшие?

— Ну, может, и будущие. А сейчас пока что не историки, не словесники, не поэты, — Духнович иронически посмотрел на Степуру, — все мы здесь только — активные штыки.

— Это верно, — согласился учитель негромко.

Был он еще не стар, с приветливым лицом и одет так, словно бы собрался не в бой, а на учительскую конференцию, одну из тех традиционных конференций, что проходили прежде в эту пору: в новой кепке, в чистой, вышитой голубым рубашке, в сером новом костюме, сейчас безжалостно перетянутом патронташем.

— Какие степи! — увлеченно произнес Вася-танкист, присевший сверху на бруствер. — Вот где надо было танкодромы-то делать!

— Когда-то в этих степях дикие туры водились, — мягко заметил учитель.

Танкист удивился:

— Что за туры?

— Это предок домашнего быка, вольный житель степей... Последний тур, как свидетельствуют останки, погиб еще в начале XVII столетия...



— Славный край, ничего не скажешь, — загляделся на степь Вася-танкист. — Только что же это противник — ни слуху, ни духу? Разведка, правда, тут никудышная. У нас, танкистов, за такую разведку по шее дают. И разве ж не стóит, как считаешь, Богдан? Лучше б нам поручили, а?

Богдан глядел на него с улыбкой. Ему нравился этот парень. Маленький, коренастый, легами почти подросток, а уже сутулый, будто от долгого сидения в танке; лицо землистое, с шрамами от ожогов, а глаза светлые, широко посаженные, малость нагловатые, так и жди от него какой-нибудь озорной выходки. Богдан еще в госпитале узнал, что родом Вася саратовский, перед тем, как пойти в армию, учился на Урале, в автодорожном техникуме, а службу отбывал на границе и с первых же дней войны принимал участие в танковых боях. Он и сейчас был уверен, что рано или поздно пересядет «с лопаты на танк».

— Это правда, что ваша Хортица, — обратился он к учителю, — была когда-то столицей запорожских казаков?

— Была одно время.

— Вот те воевали так воевали! А у нас что же — другая кость? Пороха, что ли, не осталось в пороховницах — отдать все это... Заводы вон еще работают, Днепрогэс на ходу. По этим проводам ток еще идет, — указал он на стоявшую неподалеку мачту с толстыми проводами. — Высоковольтная?

— У нас тут все высоковольтное, — усмехнулся учитель. — Зайдешь в столовую пообедать, так даже у буфета слышишь: «Сто граммов высоковольтной!» — это значит водки 56-градусной.

— Это здорово! — улыбнулся танкист. — А помнишь, Богдан, казака Дудку, что с нами в палате лежал? На шестой день после операции сто граммов уже попросил, и молодлица, говорит, приснилась. Ох, Дудка, один смех! Как начнет рассказывать свои байки, вся палата гогочет, аж швы на хлопцах лопаются!..

В разговорах, в шутках прошел этот день.

Ночью несколько подразделений было снято с холмов, и командиры, торопя, повели их куда-то на новое место. Сперва думали: перебрасывают на Хортицу, потому что на остров, говорят, уже высажен вражеский парашютный десант: там — слышно было — все время бой.

Но, кажется, не на Хортицу их ведут.

Шагают поселками правого берега, где все утопает в садах, только крыши домиков поблескивают под лунным светом красною черепицей. Без дорог, бредут напрямик, и трещат под ногами бойцов поваленные заборы, палисадники, цветники, взращенные рабочими руками кусты винограда с покрытыми росой лапчатыми листьями, с тяжелыми холодными гроздьями плодов. Время от времени останавливаются в садах, и командир роты, старший лейтенант Лукьянов, подзвав Колосовского, начинает советоваться с ним, и Богдану стыдно, что он не узнает этих мест; чувствует, что знакомы, но не узнает: то ли сильно разрослись запорожские сады за последние годы да появились новые поселки, то ли военная эта ночь все сместила, изменила, перепутала. И роса, и блеск яблоневых листьев, и запах цветов ночных — все было каким-то полужантасическим, незнакомым, тревожным.

Пока они там сверяют с картой местность, Степура стоит под ветвистым деревом и слушает, как сочно хрустят яблоки на зубах, а в ночном небе гудят самолеты. Тревожно гудят, бомбами нависают над этой землей — землей росных садов, гидросооружений, новых рабочих поселков; и земля от них, от бомбовых ударов, защититься может лишь своей открытой красотой, лишь яблоками, сверкающими в ветвях, и нежными запахами любиска, мяты. «Красота против войны, —

думает Степура, — нет, этого недостаточно. Тут еще нужна ярость, беспощадность, нужна неутолимая жажда истребления врага, нужна сталь».

Ночь светлая, высокая. Затаила шелест садов, настороженно прислушивается к чему-то. Для девичьих песен, для шепотов влюбленных была эта тихая, колдовская ночь приднепровская. Не слышно сейчас песен, война хозяйничает в садах. Кто-то тряхнул поблизости ветку, и яблоки глухо падают на землю, как ядра. Под другим деревом чьи-то руки шарят среди ветвей и второпях срывают яблоки вместе с листьями.

А Степура не рвет, почему-то не решается сорвать, стоит и смотрит на облитое лунным светом дерево, которое посверкивает росинками на плодах.

— Рвите, — слышит он возле себя тихий, добрый голос. — Почему вы не рвете?

Это учитель Голобородько.

— А то вот, прошу, возьмите мое.

Достав из-за пазухи яблоко, он подает Степуре, и тот, прежде чем надкусить, понюхал, как оно пахнет. Яблоко пахло всеми садами этого края, всею мирной солнечной довоенной жизнью.

— Как обесценился человеческий труд! — с горечью сказал учитель. — Что вот мы делаем с этими садами... Знаете, тут же каждый рабочий еще и садовник, и виноградарь, и цветовод.

— У меня отец тоже садовник, огородник.

— Я слышал, вы — поэт? Это правда? Когда я учился в Киевском университете, были у меня друзья, чудесные молодые поэты Игнат и Леонид... — И после паузы продолжал: — Кто знает, скольких Шекспиров и Чеховых мы потеряем в это лихолетье, изобретателей, талантов народных... Конечно, никому не хочется умирать, каждому хочется выжить, но если уж выжить, так только для нашей жизни, а не для того, чтобы быть рабом у захватчиков! Вы слышали, какую они комедию разыграли в Ровно?

— Не слышал.

— Привезли в своем обозе какого-то Вышиванного — марионетку, предателя и проходимца, претендующего на пост гетмана.

— Знаем цену таким штукам. Разве на примере чехов и других народов Европы не видно, что делает фашизм? То же самое, а может, еще похуже, несет он и нам.

— Да, кукольной комедией нас не обманешь, — согласился учитель.

Опять их ведут куда-то. В домиках поселка суета, плач, двери распахнуты настежь, в руках у людей узлы, — похоже, собираются в эвакуацию. Вдруг — туча какая-то повисает над бойцами, заслонив луну. Туча — это дуб, ветвистый, мощный. Раскинулся во все стороны — несколько взводов бойцов могло бы спрятаться под ним от дождя или от солнцепека.

— Это казацкий дуб, — объясняет учитель Степуре. — Ему свыше семисот лет. Мы еще этой весной были тут на экскурсии со школьниками. Когда-то Тарас Григорьевич в тени этого дуба отдыхал. Сколько тут молодежи по праздникам собиралось! Колхозные собрания летом тоже проводили не в клубе, а под этим дубом.

Стоит великан, не шелохнется. Столетия выстоял, слышал голос битв далеких, слышал гомон Сечи, звон сабель казацких. Из века в век все шумел на ветрах, все тянулся упрямо вверх, разрастался.

Бойцы из-под касок поглядывают на него. Сила, мощь. Такого никаким бурям не сломить, такому и молния не страшна.

И снова идут дальше, петляя по поселку, пугаясь в виноградных

лозах, скользя и спотыкаясь на твердых ядрах яблок, устилающих эту богатейшую землю.

Неожиданно над садами трепетно вспыхнула ракета, одна, другая, послышалась отдаленная стрельба.

Перебегая табуном через дорогу, встретили группу гражданских, как выяснилось, работников местного райкома партии. С ними был также командир истребительного батальона.

— Враг близко, — предупредил он. — Танки только что обстреляли грузовик наших разведчиков, мы послали их по днепропетровской дороге. Грузовик разбило снарядам, а часть людей вернулась.

Вдоль садов стали торопливо занимать оборону Степура сразу начал рыть ячейку, разрубая саперной лопатой мускулистые яблоневые корни. Тяжко было рубить. Степура чувствовал, как больно корням от каждого удара. Еще не успели окопаться здесь, как бойцов уже подняли и бегом повели в другое место, где тоже сады и виноградники, и лопатки снова кромсают живые корни.

Ракеты все ближе, стрельба все громче. Недалеко за садами слышен грохот тревожный, грохот, передвигающийся в сторону Днепра.

— Там уже танки проходят!

— Не танки — танкетки...

— Один черт!

— Курсант Колосовский! — послышался среди деревьев голос командира роты. — Возьмите несколько добровольцев и разведайте, что за гул...

В группе Колосовского — Степура, Вася-танкист, учитель и еще несколько бойцов и ополченцев.

Перебежав через двор, через огороды, они оказались в каком-то скверике с подстриженными кустами, с дорожками, посыпанными песком. Ракеты рассыпаются уже совсем близко, цепочки трассирующих пуль прошивают темноту, крошат где-то поблизости черепицу, сбивают листья с деревьев, и листья, как от града, вместе с веточками сыплются на разведчиков.

Колосовский приказал лечь, пробираться дальше ползком, ближе к грохоту, к ракетам. Кусты туи пахли опьяняюще, песок шелестел.

— Кто-то стоит между деревьями, — толкнул Степуру незнакомый боец.

Степура приник к земле.

Действительно, среди деревьев виднелась чья-то фигура. Пули, прочесывая сквер, летели на одном с нею уровне, а она стояла, не падала.

— Да это же Ленин! — тихо воскликнул учитель, лежавший впереди Степуры.

Они быстро поползли туда, где виднелась фигура. Да, это был Ленин. Бронзовый Ленин посреди высокой клумбы скверика в рабочем поселке.

Горячо дыша, бойцы подползли к самому монументу и залегли возле него тесным полукругом. Они лежат, а он стоит над ними, как бы защищая их. Ракетами его освещают, а он стоит. Из пулеметов бьют по нему, аж пули плавают, а он не падает.

Немного передохнув возле него, поползли дальше с новой силой. На гул, на свет ракет, все ближе расплескивающихся перед ними, под livни пуль, что хлещут, свистят навстречу...

Неподалеку от Степуры кто-то чуть ойкнул, будто вздохнул. Степура подполз к нему. Учитель Голобородько. Склонился над ним: дышит ли? Но тот уже не дышал, и только разгоряченным телом да яблоками от него пахло: яблоки были у него, как у мальчишки, за пазухой.

Днепрогэс трудится.

Непрерывный равномерный гул стоит в машинном отделении. От работы турбин все помещение слегка дрожит; мощные лопастные генераторы, выстроившиеся один за другим через весь зал, несут свою многолетнюю вахту.

Машинный зал полон солнца. Тут рядом живут зеленые пальмы и серебристо-оливковые богатыри-генераторы, среди которых хозяином похаживает человек. С тех пор, как была пущена первая турбина, и до нынешнего дня не перестают вертеться валы, не перестает вырабатываться ток. Ритм и разгон тут взяты словно на вечность.

Выше машинного зала — пульт главного управления, просторное полукруглое помещение с огромными окнами на все стороны света.

Как и вчера, как и позавчера, как и год и два назад, стоит на вахте у щитов дежурный инженер-энергетик, привычно следя за работой приборов, поддерживая связь с теми, кто отдален от него степными просторами и кто на протяжении многих лет получает отсюда по проводам энергию Днепра.

Принимая после ночной смены вахту, инженер нашел, что все в порядке, хотя, расписываясь в вахтенном журнале, он, как и его предшественник, отчетливо слышал пулеметную стрельбу где-то на окраине Четвертого поселка — рукой оттуда подать до Днепрогэса.

Инженер, только что заступивший на вахту, — высокий, седой, с худощавым лицом аскета — был из числа кадровых рабочих Днепрогэса, принадлежал к поколению тех людей, для которых это сооружение на Днепре — их комсомольская молодость, и пора возмужания, и самая большая гордость их жизни. Босым подростком-грабаварем пришел он сюда из села, ломал днепровский камень, месил бетон, тут и учился, а теперь вот стоит у пульта, и уже давно его никто не называет Ваньком, давно уже он тут для всех Иван Артемович.

Ночью он отправил семью в эвакуацию. Вместе с семьями других днепрогэсовцев жена его с узлами и детьми теперь уже на Левом берегу, сегодня эшелон их двинется на восток, по неизвестному маршруту — Иван Артемович лишь приблизительно знает, что эшелон пойдет куда-то на Северный Кавказ. Договорились: днепрогэсовки там, где останутся, будут выходить по очереди на станцию, днем и ночью будут сторожить под станционным колоколом, чтобы не пропустить своих.

Вся ночь прошла в сборах, в суете, никто не спал, дети надрывали душу криком, слыша, как пули крошат черепицу домов, видя впервые в жизни жуткий свет чужих ракет за поселком.

Провожая семью, Иван Артемович против обыкновения не успел побриться, чувствует теперь под ладонью колючую щетину на щеке, и это вызывает у него досаду: нехорошо в таком виде являться на вахту.

Монтеры, сбившись возле окон, выходящих на Хортицу, обсуждают кем-то принесенный слух: немцы якобы еще с ночи владеют частью острова, а накануне будто бы неожиданно ворвались в Никополь, захватили милицию, НКВД и горком, который как раз заседал, намечая мероприятия по укреплению обороны города.

— Кто это может знать? Где тот Никополь? — сердится инженер.

Коммунисту не к лицу поддаваться таким слухам: тревога не должна заползти сюда. Тревога, уже нависшая над Днепрогэсом, над целым краем, она не имеет доступа сюда, на пульт. Человек тут должен быть спокоен, как эти вот приборы, которые не знают отклонений, как те сигналы, что строго и значительно вспыхивают разноцветными огоньками лампочек на черных панелях.

Тут только следы, чтобы не было аварий.

Серьезных аварий Днепрогэс не знал с тех пор, как его построили, с тех пор, как гидростанция выросла на этих надежных гранитах Днепра. Много гидростанций видел Иван Артемович, бывал и за границей, но такой, как эта, нет на свете. Красавица! Среди южной природы, в садах вся, абрикосы встречают тебя своим белым цветением, когда идешь весной на смену, и из окон станции тоже повсюду видны сады; бывало, еще и листьев не видать на деревьях, а вишни и абрикосы уже белеют буйным цветом по склонам оврагов, на месте бывших пустырей и свалок. Но сердцу энергетика дороже всего полная силы днепровская вода. Как она здесь поет на разные голоса! Когда пласт воды тонок, она почти беззвучно ниспадает с плотины легким белоснежным кружевом, течет ровно, переливается, а когда натиск весенних вод могуч и сотни тонн воды падают одновременно, она летит как молния, обрушивается тяжело и стремительно, словно расплавленный металл, и взрывается внизу с грохотом грозным, глубинным. Во время паводка, когда сбрасывают лишние воды, все тут ревет львиным ревом, шум могучий стоит окрест, в нижнем бьефе, падая с плотины, бушует белая буря весенних вод, высоко над всей округой в воздух вздымается сияющая метель разбитой в лучистую пыль воды! Будто расщепилась она, вся превратилась в энергию, в свет. Грохот, радужная пыль взбунтовавшейся воды, а ты — над нею, с ощущением, что все это ты можешь укротить, обратить на пользу людям...

Потом появились черные огромные шторы в помещении пульта и в машинном зале на всю стеклянную стену эркера, и теми шторами они на всю ночь стали отгораживаться от звездного неба, от Днепра, от зловещего гула чужих самолетов в небе. Потом слышали далекие взрывы, похожие на те, что доносятся сюда, когда рвут камень где-то внизу, на далеких карьерах. Но то были не карьеры, то падали бомбы. Одна из них упала в аванкамеру, вторая ударила в скалу на Днестре, и воздушной волной так обдало Днепрогэс, что стекло с огромного эркера потекло вниз, будто вода. Исковыряли берег, наглушили рыбы, а теперь бомбят заводы на той стороне реки, налетая чуть не каждую ночь.

Дней за десять перед этим через плотину отступали войска откуда-то из-под Одессы — те, которым удалось избежать окружения: прошли, и не стало их, а здесь жизнь продолжается, каждый остается на своем посту, трудится Днепр, и не затихает вечный ветер турбинных валов.

Потом снова хлынули через плотину запыленные войска, подводы с беженцами, стада, тракторы, комбайны. Будто все Правобережье, снявшись с места, двинулось через днепровскую плотину на восток, и коровы тоскливо ревели, бредя по асфальту мимо блестящих витрин соцгородка...

Лавина эвакуированных теперь прошла, и несколько дней по Днепрогэсу уже лазают минеры во главе со своим полковником, изучают, присматриваются; о некоторых вещах полковник расспрашивает рабочих и его, Ивана Артемовича.

— План у нас такой, — говорил ему полковник, — если придется разрушать, то разрушить лишь на время войны. Вывести из строя, а не уничтожать навсегда. — И пояснял: — Испортил частично плотину, сжечь генераторы, выпустить масло из подшипников... Словом, сделать так, чтобы ГЭС не работала приблизительно год.

— Год?

— Да. Через год мы вернемся.

Однако в голове инженера никак не укладывалось, что может дойти до этого, что события продиктуют такой трагичный исход...

И отряд минеров, и стрельба за поселком, и отъезд семьи нынешней ночью — все это кажется Ивану Артемовичу будто нереальным, призрачным, таким, что не пошатнет Днепрогэса, не нарушит ритма его жизни.

Когда приходит сюда и заступает на вахту, он чувствует себя здесь, в своей электрической крепости, увереннее и безопаснее, чем где бы то ни было. Нигде, наверное, человек не осознает так свою силу, как тут, у пульты. Когда он принимает дежурство, то становится как бы владыкой этого края, ибо его воле на это время покорны и титаническая энергия Днепра, и работа мощных агрегатов, и линии электропередач, что разбегаются отсюда на сотни километров. Те, кто видел Ивана Артемовича скромным рыбаком на Днестре, кто встречал его в выходные где-то в плавнях, с удочкой, в одних трусах, кто на Днестре запросто обгонял его неказистую моторку, не узнал бы его здесь, когда он надевает синюю свою рабочую блузу и становится у щитов. Перед ним — полукругом черные панели с приборами, разноцветно мигают на щитах световые сигналы, автоматические приспособления сами ведут записи на бумажных лентах — одни фиксируют температуру, другие — напряжение, частоту. И все это сходится к нему. Тут стоит совершенно другой Иван Артемович: расписавшись за судьбу Днепрогэса в вахтенном журнале, он начинает жить иной жизнью. Перед его глазами зримо встают все, кого он снабжает электроэнергией, — рудники Криворожья, и металлургические заводы Приднепровья, и далекие шахты Донбасса, и бесчисленные колхозные гумна в степи — ночами напролет все они работают на его токе, при его свете. С теми далекими потребителями электричества у него всегда контакт, с ними Иван Артемович связан неразрывно, и он не представляет себе, что связи эти вдруг могут оборваться и весь край охватит тьма.

Из глубины поселка все явственнее слышится стрельба, с Хортицы бьет куда-то в степь артиллерия. Крепко бьет, — может, еще отбросят врага и положение стабилизируется...

— Иван Артемович!

Лида, светленькая, не по летам серьезная девушка-практикантка, зовет его к телефону. Он подходит к столику, берет трубку.

— Дежурный по щиту слушает!

— *Мы — Кривой Рог! Нас окружают танки! Отключите нас!!!*

Одна из самых крупных подстанций, которую питает Днепрогэс своим током, просит отключить ее. Он чувствует, как кровь бьет в виски: отключите, отключите. Чтобы отключить — достаточно повернуть рукоятку. С гулко бьющимся сердцем инженер подходит к щиту, кладет руку на черный эбонитовый ключ. Нужно сделать только одно движение, только одно, но ему почему-то страшно сделать это. Но ведь нужно. Делай!

Лида, подскочив, усталилась на него, как на сумасшедшего.

— Иван Артемович! Что вы?

Он с силой повернул ключ.

— Что вы делаете? — вскрикивает Лида, метнувшись к нему так, что, казалось, глаза ему сейчас выпарапает.

И в этот миг — снова звонок. Кто еще? Инженер приложил трубку к уху:

— Щит слушает.

— *Мы — Днепродзержинск! Подстанция в опасности. Отключайте нас! Немедленно!*

Он останавливается у панели приборов, посеревший, и рука его еще ожесточеннее поворачивает ключ.

Практикантка плачет, упав головой на стол, в отчаянии сжимая кулачки.

— Вы отключаете их... И Кривой Рог, и этих... Весь Правый берег отключили...

Он отвечает ей молча: «Да, отключаю. Отключаю заводы, которые питались нашей силой. Отключаю степи, которые мы освещали ножами. Отрезаю от нас всю ту жизнь, с нервами, с кровью».

Остается еще Левый берег. Левому нужен ток — там на заводах работают краны, идет демонтаж. Ток туда должны подавать до последнего...

Из проходной звонит Поля-уборщица.

— Иван Артемович! Я тут одна! Пропуска на столе, вся документация лежит открытая. В коридоре уже размещаю раненых... Что мне дальше делать, скажите?

— Находишься там. Не пускай на территорию никого.

— А раненых?

— Раненых пропускай.

Монтеры и Лида уже теснятся у окна, выходящего на Левый.

— Иван Артемович, сюда! Посмотрите!

На той стороне видны грузовики, подъезжающие к самому выходу из потерны — километрового тоннеля, проложенного глубоко под водой в бетонном теле плотины, — и фигуры бойцов, которые, сгибаясь под тяжестью, торопливо несут туда какие-то ящики.

Лида в тревоге следит за ними:

— Что это они несут?

Иван Артемович знает, что. Он знает об этом еще со вчерашнего дня. Взрывчатку несут в потерну! Главный инженер и военные, подрыльники, готовят взрыв. Но что скажешь ей, этой девчонке-практикантке, которая приехала сюда учиться, приобретать мирную профессию, а теперь видит, как начинают Днепрогэс взрывчаткой.

— Неужели это будет, Иван Артемович?

Девушка смотрит на него с мольбой, щеки ее мокры от слез, слезинки дрожат на ресницах, и он испытывает стыд перед этой юной практиканткой за все происходящее вокруг, за то, что он не в силах спасти ее надежды, мечты, будущее.

— Тебе тут больше нечего делать, Лида. Иди. Отправляйся на Левый.

— А вы?

— Нам еще нужно задержаться.

— Почему?

— Почему да почему! — сердится один из монтеров. — Мы — коммунисты, вот почему. Мы уйдем отсюда последними.

— И я с вами! — всхлипнула девушка.

Инженера злит ее упрямство.

— Отправляйся!

— Я практикантка!

— Кончилась твоя практика.

Она плачет еще сильнее.

— Для чего же я училась? Для чего старалась? Чтобы увидеть смерть Днепрогэса?

— Молчать! Не увидишь ты его смерти! — крикнул Иван Артемович, теряя самообладание. — Уходи! Вон!

Она пятится от него.

Через дверь из помещения пульта выйти уже нельзя. По двери бьют снайперы.

Схватив девушку за руку, инженер потянул ее к лифту, сердито втолкнул в клеть, с силой грохнул за нею железной дверью. Сквозь металлическую сетку он еще видел заплаканное, искаженное болью ее лицо, видел до тех пор, пока оно не исчезло внизу вместе с клетью.

Когда он вернулся в зал, монтеры ошеломили его известием:

— На Хортице немцы!

Он бросился к южному окну. То, что он увидел, не было плодом больного воображения: рассыпавшись, будто для облавы, вот они медленно спускаются по склонам острова вниз, к Днепру, к разбросанным над Днепром домикам. Оттуда им, как на ладони, виден весь Днепрогэс. Они уже оскверняют его завоевательским взглядом, уже считают Днепрогэс своим. Живой, действующий, родной Днепрогэс и цепи наступающих фашистов перед ним — от этого можно было сойти с ума! Итак, значит, все то реальность: и прорыв вражеских бронетанковых частей, и внезапно захваченный Никополь, и десанты... Были ночи тревог, аэростаты в небе, бомба упала в воду аванкамеры, и жену отправлял, но до самого этого мгновения еще теплилась в сердце надежда: ничто не коснется Днепрогэса, дух разрушения не будет хозяйничать здесь. И вот теперь, глядя на врагов, топчущих сапогами священную землю Хортицы, собственными глазами увидев фашистов из окна Днепрогэса, инженер почувствовал, что в нем пробуждается разрушитель, растет жестокая готовность в один миг поднять на воздух все, что строил своими руками, все, что на протяжении многих лет было гордостью и славой народа. Пусть сгорят генераторы! Пусть развалится плотина! Пусть гряда развалин останется тут от всего — только бы им не досталось!

Инженер зовет монтеров, и, отойдя от окна, они советуются, чем закончить эту свою последнюю вахту.

## 43

Тяжелые железные ворота открыты настежь, кровь запеклась на бетонированной дорожке, ведущей на территорию Днепрогэса. Днепрогэсовская территория, святая святых, куда раньше без разрешения не мог ступить ни один посторонний, теперь свободно без всяких пропусков принимает группы раненых. Свежие раны, горячая кровь — сейчас это единственные пропуска, важные для начальницы проходной тети Поли. Инженер сказал: сиди — вот и сиди, стережет. Пропустит раненых, вглядываясь, нет ли среди них здоровых, крикнет: «Вон там, в садах располагайтесь», — а сама снова занимает пост у окна бюро пропусков, где сидели раньше караульные начальники в низко надвинутых на лбы фуражках. Еще не высохли чернила в чернильнице, что стоит перед нею, плотные книжки пропусков лежат на столе с корешками, простроченными, как на швейной машинке. И руки ее, грубые, большие, потрескавшиеся от работы, — руки, знавшие только мокрое тряпье, щетки да ведра с помоями, — теперь похозяйски лежат на столе, на чистых, незаполненных пропусках.

Поля, Поля-уборщица... Назвали так вот, когда была молоденькой, да и осталась для всех на Днепрогэсе с девичьим именем, хотя давно уже прошли лета ее девичества днепрогэсовского, беспокойного... Все до сих пор зовут ее ласково по имени, будто девчонку-днепрогэсовку, хотя она уже мать взрослого сына, студента авиатехникума, которого позавчера проводили в армию. Одинокая теперь. С самого утра в проходной, на посту, с польским карабином, из которого не умеет стрелять, среди документов, что бросили хлопцы из секретной части, уходя туда, в поселок, где идет бой, где с ночи не затихает перестрелка.

Волею событий поставлена Поля вот здесь, на воротах Днепрогэса. Сидит с никому не нужными пропусками, прислушивается к отдаленной перестрелке в поселке. Большие серые глаза, лицо суровое, не старое, но в глубоких складках, — не очень много улыбок знавало оно,



зато от горестей искажалось не раз. Всяко бывало в жизни: были и обиды, были и премии, но все это теперь куда-то отошло, когда ее оставили здесь одну, словно бы на страже Днепрогэса: стой, охраняй. Одна тут теперь и за НКВД, и за дирекцию. Хоть и малограмотна, но до чего ж ясно видит она сейчас, что было хорошо в жизни и что неладно. Добре умели строить, даже ночами с музыкой приходили сюда заводские помогать днепростроевцам, и целые ночи при свете прожекторов кипела работа в котлованах; а как спасали стройку от весенних паводков, работали, не боясь никаких простуд, не жалея себя, — и вот он поднялся над дикими скалами, их Днепрогэс. Каждое лето экскурсии шли здесь потоком, люди, словно зачарованные, ходили по этому электрическому царству, где прямо у трансформаторов яблоки наливаются, где алые розы все лето буйно пылают среди черного леса металлических конструкций. Теперь там уже свищут пули, бродят по садам раненые, которых она туда направляет, бьют снайперы по окнам, по деревьям, и, чтобы попасть на открытую подстанцию, монтерам приходится пробираться подземными ходами. А на той стороне к потерне подвозят взрывчатку грузовики. Лучше, кажется, ей ослепнуть, чем видеть, как начиняют взрывчаткой плотину Днепрогэса, ту плотину, где каждая капля бетона, каждый прутик арматуры будто бы вложен ею самой, где вроде бы не инженеры планировали, а распланировала все она сама...

Вольность какая-то в природе и чистота — это и есть Днепрогэс. Даже птицы его любят. Ласточки в плотине, под шлюзом, в недоступных местах под выступами бетона вылепили себе гнезда, целые гряды, целые колонии гнезд. А этой весной все кукушка куковала. Не в вербах, не где-то в садах, как другие, а на самой плотине, на высокоом кране куковала, понравилось ей в его железных ветвях. Много лет накуковала Днепрогэсу за весну. Что ж, выходит, соврала кукушка? Вон какое горе лихое теперь нас постигло. На территории Днепрогэса свищут пули, смертью звякают о бетон. Где же наши самолеты, где наша броня?

Во второй половине дня раненых стало прибывать из поселка еще больше.

Вот двое ведут под руки третьего, почти волочатся его сапоги по асфальту, такой, видать, тяжелый. Каска нахлобучилась ему низко на глаза, изо рта — кровь.

— Сюда, сюда его, — командует Поля, проводя их через открытые ворота на территорию, где сады, где тень. В саду скошено сено, оно лежит еще рядками, сушится. Раненого кладут на сено под яблоней, в холодке. Весь в крови: и грудь и живот. Кое-как перевязан какой-то простыней, она набухла кровью и стала похожей на тот кусок материи, которым на собраниях накрывают стол президиума. Ремешок каски, видно, сдавливает ему горло.

— Снимите каску, — просит он.

Сняли.

Те, что привели, — один в щетине жесткой, рыжей, а другой тоже в щетине, но черной, цыганской, — скорбно стоят над ним.

Раненый спрашивает слабым голосом:

— Что это пахнет? Сено?

Ему небось странно, что на Днепрогэсе пахнет сеном.

Под деревом, где он лежит, — торчки от скошенного бурьяна, и множество упавших яблок лежит на стерне. Возле плеча раненого одно — блестящее, краснобокое, накололось на стернину, запенилось соком. Пахучие, теплые, нагретые солнцем яблоки, они наполняют запахами воздух, и раненый, наверное, особенно чувствует их запах после гари и пороха.

— Пить... — тяжело хрипит он.

Поля бросилась к проходной, там у нее еще есть вода, но один из тех, кто привел раненого, худощавый и черный, похожий на осетина, остановил ее:

— Не нужно, тетя Поля. Ему нельзя.

Он назвал ее «тетя Поля»... Она удивленно посмотрела на него:

— Кто же ты? Откуда знаешь меня?

— Колосовского помните?

— Так это ты... как же тебя... Богдан?

— Богдан. Вас я сразу узнал. Вы все такая же.

Сын Колосовского. Да, это он. И сухим блеском карих глаз, и продолговатым лицом, и всей врожденной военной осанкой он и впрямь напоминает отца. Когда тот бравый, усатый Колосовский проводил, бывало, учения со своим днепрогэсовским полком, помнится, среди красноармейцев вертелся смуглявый мальчонка, который так и рос возле полка. Давно ли пацаненком бегал, а теперь вот стоит перед нею высокий юноша, заросший, до черноты прокопченный на солнце. Гимнастерка вылиняла, весь в пыли, в крови, а рука с крепким волосатым запястьем держит автомат — наш уже, такой покамест редко у кого увидишь.

Прежде чем уйти, он наклонился над раненым, а когда поднялся, глаза его блестели от слез.

— Вы уж тут присмотрите за ним, тетя Поля... Самого лучшего друга вам оставляем.

Не успела она и расспросить Колосовского, что там, в поселке, как он, стуча сапогами, быстро зашагал с товарищем обратно, к задымленным пороховой гарью садам.

— Пить, пить, — опять просит раненый и ворочает головой так, будто его все еще душит ремешок каски, хотя каска лежит в стороне, на солнцепеке.

— Нельзя тебе пить, голубок, — уговаривает его тетя Поля.

— Все уже можно, — хрипит он. — Горит во мне...

Богатырского здоровья, видно, хлопец. Кровь хлещет из него, как из вола, жизнь вытекает, а он живет. Внутри у него все искромсано, грудь разорвана, а сердце могучее бьется, не хочет умирать. Хрипит, хватая ртом воздух. Помутневший взор блуждает где-то вверху, где над садами вздымается к небу железо, где звонко цокают пули и белым дождем осыпаются вдребезги разбитые чашечки изоляторов.

Рука раненого, пошарив, вытащила из окровавленных лохмотьев какую-то закрутку, черный желудь.

— Возьмите вот...

Поля догадалась: это он и есть, медальон, — она слыхала про них; неумело открыла, извлекла крохотную полоску бумаги: Степура Андрей Минович...

Она не дочитала. Ее уже настойчиво звал к себе из проходной звонок телефона.

— Ты что, оглохла там? — услышала в трубке голос дежурного инженера. — Немедленно сюда!

— А документация?

— К чертям твою документацию!

— А раненые?

— Направляй к нам.

— К плотине?

— Да ты что там, ничего не видишь? По плотине он уже мины кладет... Через потерну будем отступать. Скорее, ждать не будем!

Она слышала, как он бросил трубку. Кажется, только теперь поняла всю опасность. Пули бьют стекла, раскалывают черепицу на

крышах домов... Скорее схватить узел и бежать! Узел ее в углу. Утром прихватила с собой на работу, чтобы все было под рукой, если придется сниматься в эвакуацию. А эти бумаги, а кучи незаполненных пропусков? И шкафы в кабинете набиты бумагами, которые начальство называло солидным словом «документация», — куда все это деть?

Схватив свой узел со всякими домашними вещами, вытряхнула из него все, даже нарядное одеяло из разноцветных лоскутков, которое сама пошила, — никакие тряпки теперь не дороги. Вместо них торопливо стала запихивать в чехол от перины папки, книжки ордеров, охапки бумаг... Никогда не думала, что бумага такая тяжелая, — еле подняла эту перину-канцелярию.

В саду раненых уже не было, только Степура Андрей Минович лежал на прежнем месте, истекая кровью.

— Что же, голубок, мне делать с тобой? — кинулась она к нему. — Как тебя заберу?

И вдруг отпрянула. Он лежал перед нею успокоенный, бездыханный. Глаза прикрыты, запекшиеся губы уже не просят воды.

Сердце у Поля сжалось: почему она его не напоила хоть перед смертью? Кто же похоронит тебя здесь, голубок? Сады наши запорожские будут тебе щелестеть, Днепр будет шуметь, Днепрогэс будет тебе памятником!

## 44

От поселка приближалась стрельба, надвигался какой-то грохот, и через минуту в садах уже блеснул маслянистым боком танк. Ломая деревья, он продирался в направлении открытой подстанции, подминал под себя клумбы, розы, оборванные провода.

Запыхавшаяся, сгорбленная под тяжестью перины, Поля бежала вниз, к потерне, и ей уже ничто не было страшно, не кланялась под пулями, защищенная от них лишь бурдюками надвое разделенной перины, которая все сползала ей на голову и словно бы сама подталкивала вниз по склону берега. Пули бьют, лязгают — свинцовый град стучит по изоляторам, по железу мачт.

Внизу, у входа в потерну, собрались все, кого тут настигла беда: инженер, монтеры, раненые бойцы.

Когда Поля, задыхающаяся, растрепанная, остановилась возле них и сбросила свою ношу, все ахнули, глянув на ее перину: истерзана пулями в клочья, бумаги из дыр вылезают.

Иван Артемович нахмурился:

— На кой черт тащила эту канцелярию?

— Не оставлять же им, — сказала Поля и обернулась туда, откуда прибежала.

Там, на огромной территории их Днепрогэса, уже разгуливали вражеские танки, ломали сады, распахивали гусеницами клумбы. Сюда, вниз, пули не долетают. Зато плотину враг обстреливает все сильнее, кладет мины точно по ней, хотя там — ни одной живой души. По плотине нет хода.

Когда, собираясь в путь, Поля снова взялась за свою перину, к ней подошел в окровавленной гимнастерке знакомый лейтенант из спецчасти. Наклонившись над периной, он порылся в ней среди бумаг, потом достал из кармана спички, чиркнул, и через минуту всю Полину документацию охватило жаркое пламя.

Не был предан огню лишь один документ — вахтенный журнал последней смены; его держал сейчас под мышкой дежурный инженер Иван Артемович. Так с журналом под мышкой он и вступил в потерну.

Раньше через нее мог пройти даже грузовик, а теперь вход в тоннель полузавален мешками с песком.

— Зачем это? — спрашивают раненые.

Инженер молчит. Он знает, что это для направления взрыва.

Сыростью, холодом подземелья дохнуло на людей, когда они стали углубляться в потерну. Вода хлюпает, как в шахте; толстые кабели тянутся по стенам; с потолка свисают известковые сосульки, будто сталактиты.

Впереди идут инженер, лейтенант из спецчасти, монтеры, Поляуборщица, за ними — растянувшись, наполняя потерну стоном — бредут раненые, которым, кажется, нет числа. Одних несут, других поддерживают, и все они идут еле-еле.

«Как медленно! — думает Иван Артемович. — А надо было бы бегом пробежать этот километр под водой!»

Главный инженер, передавая ему с того берега по телефону распоряжение немедленно забирать людей и отступить потерной на Левый, не сказал всего, но по его голосу, нервному и тревожному, Иван Артемович понял, что там уже все решено, все готово и осталось только подать команду. Ноги сами спешат, хочется рвануться и бежать, но раненые не побегут, их не бросишь, и он, то и дело оглядываясь, только просит сердито, чтобы они шли быстрее.

Кто-то из раненых, прихрамывая, бубнит недовольно:

— Некуда теперь спешить.

— Есть куда!

— Может, скажешь, куда? — снова ворчит раненый.

Инженеру ничего не остается, как открыть им то, о чем раненые даже и не догадываются:

— Плотина будет взорвана.

Тревожный гул прокатился по потерне.

— Не может этого быть!

— Будет!

— Когда?

— Может, через час. Может, через минуту. Живее!

После этого даже раненые прибавили шаг.

Еще сумрачнее стало теперь в потерне. Шли в тоннельную гулкость, видели известковые сталактиты перед собой, слышали хлюпанье воды, фильтрующейся через бетон, и, казалось, еще ниже нависал над ними мокрый бетонный потолок в разводах белых известковых пятен, названных гидростроителями «белой смертью». Прошло много лет, но «белая смерть» не размыла, не подточила плотину, зато черная военная смерть теперь нависла над ней. Они чувствовали эту тяжесть, как спустившийся в шахту чувствует вес земных пластов, но люди были благодарны строителям, которые, закладывая плотину, как бы тогда уже предвидели далекую эту беду, загнавшую их нынче сюда, в днепровский подводный тоннель.

Спасет ли он их? Успеют ли они проскочить на ту сторону, где все свои? Или раньше будет подожжен шнур, и взрыв сотрясет тоннель, разломает бетон на глыбы, и тысячи тонн днепровской воды, нависшей сейчас над ними, закрутятся, взревет здесь, где они сейчас идут...

— Скорее, товарищи! Скорее!

Тоннелю, казалось, не будет конца. Казалось, сколько ни шагай, не будет конца этой сырости подземелья, известковым сталактитам, гулкой немоте склепа, куда не проникает ни один звук надземного

мира. Звонкие шаги. Выстрелы падающих с потолка капель. Тяжелое дыхание горюющих людей...

— Стой!

— Что случилось?

— Нет хода. Потерна перекрыта!

Да, перекрыта. Гора ящиков поднялась впереди из мрака, преградила путь. Ящики со взрывчаткой. Люди сбились перед ними гурьбой. Мышь не пролезет, так плотно они уложены, эти тяжеленные ящики с толлом. Тупик. Мешок. Лбами в тол! И выхода нет. Живые в могиле! Именно так — живыми в могиле почувствовали себя.

И в этот миг голос инженера:

— Товарищи, здесь проход!

В одном месте среди нагромождения ящиков — узенький проход, только человеку и протиснуться. Оставлен, видимо, минерами специально для них, для последних отступающих.

Кое-как начали пробираться, перелезая через ящики.

— Раненых вперед!

Это было мучительно — протискивать раненых в темноте между ящиками. Стоны, ругань, вскрикивания... Казалось, все это длится бесконечно долго. Поля и Иван Артемович ждали, пока пройдут все, и пробрались последними.

Когда вышли, наконец, из потемок тоннеля, с неба в глаза им ударили светом высокие красные облака. Красные, яркие, как утром, когда всходит солнце из-за днепровских скал. Но сейчас оно не всходило. Сейчас оно заходило. Там, за плотиной, за кранами Днепрогэса, тонуло в кровавых пожарах степных.

На берегу возле шлюза расположился штаб какой-то, и Поля сразу набросилась на командиров, плача, стала укорять их за плохую оборону.

Они не отвечали ей, но слушали внимательно и всё молча поглядывали в бинокли на ту сторону Днепра и на плотину.

Среди военных были и директор Днепрогэса, и главный инженер, и секретарь обкома, и даже нарком электростанций, который находился тут как уполномоченный Ставки. Иван Артемович, подойдя к нему, передал ему вахтенный журнал.

— Товарищ инженер, — взяв журнал, сказал нарком, — через год снова будете принимать вахту.

Из города подошли трамвайщицы (трамваи их остановились), подошли и спрашивают простодушно:

— Когда будет ток?

Им никто не отвечает.

Солнце зашло. Небо в красных облаках заката угасает, оливковые сумерки окутывают все вокруг, а люди, собравшиеся на берегу, — и генералы, и рядовые, и обкомовцы, и днепрогэсовцы, — все глядят на плотину, будто хотят наглядеться на нее в последний раз. Повитая сумерками километровая гребенка с десятками бетонных быков, водовыпускных прогонов, щитов — все застыло, все словно ждет чего-то...

Взрыв, был он или нет? Это скорее напоминало землетрясение. Содрогнулась земля. Инженеры и рабочие сняли фуражки и напряженно глядели с берега, как медленно, будто при замедленной съемке, разламывается плотина...

В пролом сразу ринулась вода, буря ревущей воды, а в небо с огнем, с брызгами поднялась черная туча взрыва. Властвуя в хаосе пролома, стихия воды довершала то, что было начато взрывом: доламывала, выворачивала бетон, бушующая среди руин, стреляя брызгами в небо.

И вот уже, как голос времен минувших, в сумерках над Днепром раздался грозный порожистый гул, глубинный, клокочущий рев, в котором было что-то первобытное, дикое, мрачное.

Оглушенная этим гулом-ревом, стояла Поля среди молчаливых командиров, бойцов и днепрогэсовцев, столпившихся на берегу возле шлюза. Отчаянно вцепившись руками в бетонный парапет, все смотрела в сгущающиеся сумерки на черную клокочущую рану своего Днепрогэса; то были минуты, когда горячие слезы сами застилают взор, и мир темнеет, и хочется умереть.

## 45

Ночью подошли танки. Заглушив моторы, остановились в Шестом поселке, лбами к Днепру. Нельзя ли как-нибудь перебраться на Правый? Нельзя ли перебросить через пролом в плотине какой-нибудь мост для танков? Это сейчас больше всего волновало танкистов. На плотину была выслана разведка. Разведчики дошли до самого места взрыва. Нет, о перекидном мосте не могло быть и речи. Метров на восемьдесят вырвало живую часть плотины, и в проломе между оскаленных бетонных развалин с дикою силой кипит вода. Пропасть. Бесформенные нагромождения искалеченного бетона. Отдельные глыбы висят на прутьях арматурного железа высоко над водой, а внизу клочок, ревет водопад, бушует в черной прорве так, что содрогается весь бетон уцелевшей части плотины.

Из помещения гидростанции, из машинного отделения, вымахивает пламя — горит обмотка генераторов, горит все, что сегодня еще действовало.

А на Правом берегу взлетают ракеты и слышна стрельба. Там бой. Там еще сражаются те, кто не успел отступить на Левый.

Среди тех, кто остался на Правом, был и Колосовский.

День боя — это целая жизнь, так много вмещает он в себя. Утром Колосовский был командиром отделения, потом, когда ранило взводного, стал взводным, а часом позже, когда убило командира роты, возглавил роту, вернее, ее остатки. От взводного ему и достался тот отечественный автомат, скосивший сегодня немало фашистов.

Кроме Васи-танкиста, Духновича и еще нескольких бойцов из старого состава роты, были теперь у него и ополченцы из города, и бойцы местного истребительного батальона, и какие-то люди из других подразделений. Местные мальчишки, еще не знавшие, что такое страх, вызвались ходить в разведку, откуда-то приносили бойцам то гранаты без запалов, то запалы без гранат...

Это был тяжелый, исполненный неимоверного напряжения день. С утра сдерживали на окраине поселка вражескую пехоту, появившуюся на бронетранспортерах. Гитлеровцы, высыпав из них, с пьяными выкриками пошли в атаку на сады. Задрал головы, уперев автоматы в живот, они шли прямо на сады и строчили, как слепые.

Богдан подпускал врага для близкого огня, несколько раз поднимал своих в контратаку. Удивительное состояние души: идешь в контратаку — и ничто не страшно, не боишься умереть, а позже, когда все кончится, не можешь сигарку свернуть: руки дрожат — перед бойцами стыдно. Оттесненные врагом в глубину поселка, вели огонь из Дома культуры, засев на чердаке; отстреливались из кустов на скверах, с каких-то веранд, — на одной из таких веранд едва не убило и Богдана — немецкая с длинной ручкой граната, упав, завертелась у его ног, в последний миг он успел ударом сапога отбросить ее назад, за угол дома... Потом вели бой с танкетками, которые провались на

улицу, и в этом бою потеряли Степуру. Бывает, человек идет на подвиг с отчаяния, не имея другого выхода, или в слепом экстазе; Степура же пошел на подвиг сознательно: когда надо было остановить танкетку, он с поднятой в руке тяжелой гранатой бросился из сада ей наперерез и, кинув гранату, подбил танкетку, хотя самого его изрешетило, изранило — выживет ли теперь?.. Видели врага в этот день вблизи, с малых дистанций, стреляли по зелено-серым мундирам, которые ползали по огородам, энергично подбрасывая зады; слышали из-за соседних домов лай команд на чужом языке, а порой сходились и в рукопашную. Таков был день.

Потом налетели штурмовики. Звенело в ушах от рева их моторов, сплошной дым и пыль стояли там, где они кружились, а когда их крестообразные тени, черкнув по земле, исчезали, в уверенности, что все живое уничтожено, — из кустов, из ям, из подвалов снова появлялись бойцы, и снова Колосовский собирал, сбивал их в отряд, способный продолжать бой.

В короткие передышки, когда Богдан смотрел на Левый, на высокие корпуса Шестого поселка, на горячие днепровские скалы того берега, до которых отсюда было так далеко, ему казалось, что живыми отсюда им уже не выйти, что будут они приперты танками к тем вон скалам, будут раздавлены бронированными фашистскими лбами, и только кровь и тряпки будут гореть на днепровских гранитах, как у серой стены Пер-Лашеза, где когда-то расстреливали коммунаров.

Ночь застала Богдана с его сводным отрядом все в тех же садах Правого берега. Тут было их много, таких вот летучих отрядов, больших и маленьких, наспех сколоченных из оставшихся, из тех, кто сам теперь решал, как ему быть, как дальше вести себя.

Они ждали ночи с намерением пробиваться на ту сторону через плотину. Горит Запорожье. Сегодня несколько раз бомбили район заводов, то и дело над Днпром, над Хортицей завязывались короткие, ястребиные воздушные бои. И сейчас слышно, как стреляют над заводами зенитки, стучают в вечернее небо, будто набивают его чем-то. С Хортицы гулко бьют крупнокалиберные пулеметы, после каждой очереди в скалах днепровских далеко раскатывается эхо.

Колосовский уже готовил людей для прорыва на плотину, когда внезапно раздался оттуда мощный взрыв. Они не знали, только могли предполагать, что это значит. Неужели поднята в воздух плотина? Им не верилось. Им не хотелось верить. И они не оставили своего намерения прорваться. Лежали в садах, и враг их уже не тревожил, только ракетами то и дело освещал над ними листья деревьев, переплетения металлоконструкций. Ракеты падали рядом, гасли с гадючьим шипением.

Нужно было разведать, какими силами охраняется вход на плотину, и Колосовский решил отправить туда нескольких добровольцев. В числе других в разведку вызвался Духнович, который в этот день вообще удивлял Богдана выдержкой и умением ориентироваться в сложных ситуациях. Богдан послал и его, поставив во главе группы Васю-танкиста.

Возвращения разведчиков ждали с нетерпением. Притаившись по кустам, по рвам, вели приглушенные разговоры, высказывали всякие догадки.

— Только вы их и видали, тех разведчиков, — слышал Колосовский неподалеку от себя чей-то сиплый, словно бы пропитой голос. — Ежели можно пробраться, так сами проберутся, а мы тут пропадай. Только черта с два проберутся! Слышали, как бухнуло? То ж плотина взлетела вверх тормашками. Одно ведь знают командовать: «вперед» да «вперед», а когда сниматься — ни у кого язык не поворачи-

вается. Весь день вот тут нас дурачили: будет, будет приказ, отзовут, не забудут,— а чем все кончилось?

— Есть, кажется, приказ, который запрещает отступить,— слышалось в ответ.

— Тем, кто приказы пишет, хорошо: они далеко,— все бубнил тот сильный голос.— А нас вот бросили на произвол, уже нам и батько Сталин ничем не поможет. Сидим, а что высидим?

— Что ж, по-твоему, сдаваться?

— Не сдаваться, а по домам...

— На печь? Под юбку к жене? Думаешь, там не найдут?

— А коли найдут, так что? Они культурные.

— Культурные? Чего же тогда их культурность на нас танками да бомбами прет?

— Ты меня политграмотой не корми. Накормлен ею — аж тошно...

Богдан не мог больше терпеть. Подполз к бойцам:

— Кто это здесь язык распустил?

— Вот он,— указали бойцы на мордастого, который лежал между ними, опершись на какой-то узел.— Все ноет и ноет...

Колосовский подполз к нему ближе.

— Ты кто?

Узнав командира, толстомордый сделал движение, будто хотел встать, но не встал, лишь присел на корточках.

— Рядовой Храпко.

— Так ты считаешь, лучше по домам?

— А что? — в голосе Храпко зазвучали наглые нотки.— За что гибнуть? Я в жизни своей яйца не съел!

— Бедолага, яйца он не съел! — насмешливо произнес один из ополченцев.— А глянь, какой портрет нажрал.

— И вправду, портрет! — засмеялся другой.— Кирпича просит...

— Ну, ты, полегче с кирпичом-то! — огрызнулся Храпко.

— Вот что, Храпко,— перебил его Колосовский.— За эти твои разговоры...

Но он не закончил. Вернулись разведчики. Вася-танкист, присев и все еще возбужденно дыша, доложил, что охрану у плотины несет броневики. Возле — всего несколько немцев, разговаривают, смеются.

— Если их убрать — плотина наша!

— Приготовиться! — скомандовал вполголоса Колосовский. И команда, передаваемая шепотом, побежала от бойца к бойцу.— А вы, Храпко, будете рядом со мной. Граната есть?

— Есть...

— Пойдете первым.

— Почему я? Почему первым? — вскочил тот, держа гранату в руке.— А вы?

— Я-то пойду, но сперва ты,— Колосовский с ненавистью толкнул его вперед.— Иди, гад!

И тот, согнувшись, стал пробираться сквозь кусты, за ним по пятам с гранатой в руке Колосовский.

Тигриной походкой шел отряд. Немцы не ожидали нападения. Они о чем-то громко галдели возле броневика, когда отряд Колосовского подкрался к ним. Вспышка! Удар! Нескольких гранат оказалось достаточно, чтобы возле броневика остались только трупы.

Сапоги бойцов уже гулко стучали по плотине. Плотина взята! Плотина снова в их руках. Богдан бежал, и сердце его замирало от счастья. Бежал к жизни, которая была на том берегу, к родному Запорожью, что пылало и звало, как маяк, озаряя полнеба. С каждым шагом вперед укреплялась надежда: вот-вот они будут там. А на-



встречу приближался рев водопада. Этот рев уже сказал им все, но они еще не верили и бежали вперед изо всех сил, бежали так, что, казалось, с ходу перелетят, каким бы широким ни был провал!

С разбега Богдан чуть не сорвался вниз, в пропасть, так неожиданно разверзлась она перед ним. А кто-то с разгона ахнул туда, в темный бушующий водоворот...

— Кто упал?

Молчат.

— Где Храпко?

Нет Храпка: то ли сам сорвался, то ли кто помог...

Задыхающийся Колосовский стоит у края обрыва. Уцелевшая часть плотины дрожит, вибрирует под ногами от натиска воды, в горячее лицо бьют брызги, словно дождем сечет снизу, из клокочущей черной пропасти...

Прорваться на плотину, увидеть водоворот — и обратно? Это, кажется, было свыше их сил. Но другого выхода не было.

— За мной! — скомандовал Колосовский. — Пробьемся в другом месте. В плавнях переправимся.

И через миг отряд табуном бежал по плотине назад, в темноту Правого берега. Немцы не успели еще толком и опомниться, как бойцы промчались через трупы часовых у плотины и, преследуемые лишь вспышками ракет да беспорядочным огнем трассирующих, уже исчезли в ночных садах, в железных чашах трансформаторного леса.

С Левого еще услышат их.

Еще несколько недель продержится Запорожье. Еще на некоторое время наши части отобьют у врага Хортицу, и секретарь ЦК произнесет ставшую крылатой в войсках фразу: «Чем хвалитесь? Хортицу отбили? Запорожцы и не сдавали ее никогда!» — и это прозвучит как горький укор, о котором будут помнить всю войну. Несколько недель еще будут разрезать на заводах домны, чтобы по частям вывозить их отсюда, десятки тысяч вагонов с заводским оборудованием пойдут из города на восток.

Но рану Днепрогэса уже не закрыть. День и ночь будет клокотать она, грозным потоком хлынут прорвавшиеся воды на всю низовую часть города, а выше, на обмелевшем озере Ленина, когда вода спадет, вынырнет старый Кичкас, один за другим вылезут из воды черные, замшелые, зеленой слизью покрытые пороги, вылезут и заревут на всю Украину.

## 46

Может быть, кто спросит: зачем это было сделано?

Нет, это не было вызвано слепой жаждой уничтожения, — это была сознательная и тяжелая жертва, с болью принесенная народом, это была баррикада, преграждающая путь врагу. Полностью уничтожить Днепрогэс попытаются фашисты: отступая в 1943 году, злобно и бессмысленно они взорвут его, и если не весь он будет уничтожен, не до последнего камня разрушен, то лишь благодаря мужеству и находчивости советских бойцов, первых днепровских разведчиков, которые успеют кое-где перерезать адские провода, подведенные к сотням тонн взрывчатки.

Но все это еще далеко.

Еще бесконечно далек тот день, когда Хрущев и Ватутин выведут полки на Днепр и укажут им с Вышгородского плацдарма путь на Киев.

Еще враг сам создает плацдармы, неудержимо рвется на левобережную Украину, чтобы развить наступление дальше на восток,

оставляя позади себя новые пространства, окутанные пожарами, зноем и пылью этого черного лета...

Латвия, Литва, Белоруссия захвачены врагом. Фашистские дивизии — у стен Ленинграда. К тяжким оборонительным сражениям готовится Москва, пылает Смоленщина, в лесах Белоруссии разворачивается партизанская борьба. Настанет час — и страшными для врага станут брянские, белорусские и украинские леса, зачернеют вражьи трупы снега Подмосковья, и обмороженные, засопливившие колонны гитлеровских войск, сгорбившись, побредут под нашим конвоем; а покамест он, самонадеянный пришелец, еще полон наглой веры, и, даже попав к нам в руки, заученно рассказывает с точностью до одного дня, когда и какой из наших городов будет взят, когда его армия выйдет на Волгу и на Урал и когда мы погибнем.

Ураган войны бушует над Украиной. Миллионы людей выброшены на дороги — на тяжкие дороги отступления, лишений, отчаяния. Почерневшие от пыли и горя, бредут по дорогам беженцы, а их отход прикрывают такие же почерневшие, изможденные войска. Командиры, комиссары, бойцы в расплывающихся, изъеденных потом гимнастерках, неутомимые труженики войны, — они принимают на себя самые тяжелые удары. Отступая на восток, они все время обращены лицом и оружием к западу, к его танкам, минометам, к его моторизованным дивизиям.

Дорого стоила врагу битва на Днестре, битва за левобережные плацдармы, но Гитлер и его генералы не хотели замечать потерь. В середине сентября моторизованные войска врага, перейдя в наступление с Кременчугского плацдарма на север, прорвали нашу оборону на двухсоткилометровом фронте и, соединившись своими танковыми группами в районе Лохвицы, отрезали многочисленные войска Юго-Западного фронта, оборонявшиеся на Левобережье, восточнее Киева. Долго еще днем и ночью будут идти здесь бои, будут пробиваться на восток группы окруженцев, гибнуть в неравных схватках. В числе павших будут и командующий фронтом генерал-полковник Кирпос, и штабные его офицеры, и писатель Гайдар.

Еще будут звучать выстрелы окруженных, а танковая группа фон Клейста, высвободившись отсюда, устремится на юг, разрезая тылы наших армий, возьмет Орехов, двинется на Мариуполь, и угроза окружения нависнет уже над южными нашими армиями. Неожиданным будет появление вражеских танков в нашем тылу, в запорожских степях. Еще не вывезенный хлеб золотыми горами будет лежать на колхозных гумнах, еще будут двигаться по этим местам обозы эвакуированных, а уже закипит здесь жестокая битва на смерть. Ожесточеннейшие, какие только в окружении бывают, бои завяжутся на этих последних рубежах; разбившись на большие и малые группы, со страстным упорством будут пробиваться на восток окруженцы. Потом настанет день, когда в осенние сумерки в терновом степном буреке генерал, командующий армией, соберет всех оставшихся в живых — ездовых, шоферов, штабных офицеров и даже раненых из полевых госпиталей, — всех, кто еще способен держать оружие, — соберет и скажет:

— Товарищи, мы в окружении. Пока живы, останемся бойцами Родины. Пробьемся или умрем!

Бросив в балке легковую машину, отказавшись от самолета, на котором он мог еще вырваться отсюда, генерал поведет остатки своей армии на прорыв. Всю ночь будет идти неравный бой с вражескими заслонами, ареной схваток станут колхозные дворы, загнанные красноармейцы будут отстреливаться из-за сеялок, из садов, из посадок, а к утру возле полезащитной полосы за селом будут лежать груды

трупов немецких, груды трупов наших, и среди рядовых будет лежать генерал, а возле него — двое бойцов по бокам.

Немцы похоронят его с почестями, даже памятник поставят ему в степи, отдавая должное храбрости советского генерала (тогда они еще позволяли себе такие жесты). А после войны это степное селение будет названо его именем, и подымется в центре села высокий обелиск с высеченной на нем надписью: «Генерал-лейтенант *Смирнов Андрей Кириллович (1895—1941)*».

Погружались в мрак города, гибли армии, и, может, кое-кому это уже казалось концом, но это было только начало.

## 47

В те горькие дни, когда одни гибли, другие, пробиваясь из окружения, шли степями на восток, в этих бескрайних просторах оставались места, куда не докатывался грохот войны, где еще мирно поблескивали в степи тихие светлые лиманы и еще не пуганные ни одним выстрелом птицы безмятежно паслись у моря перед осенним отлетом...

Ногайщина, степь и море, и две девушки идут по безлюдному побережью.

— Так это ты здесь выростала, Ольга?

— Здесь, Таня, здесь. Вон в море выступила коса Белосарайка, маяком белеет — тот маяк светил мне в детстве. Не знаю, как сейчас: погас или все еще мигает. Дождемся вечера — увидим.

В просторной впадине, что тянется вдоль моря, тут и там зеркально светятся спокойные лиманы, а между плесами воды земля в разливе чего-то синего, нежного, сиреневого...

— Это что?

— Кермек цветет. Всю осень синее, до самых холодов. Это наш бессмертник... А вон, видишь, орлы!

Девчата, остановившись, загляделись в небо, на птиц. Это было редкостное зрелище: величаво — именно величаво, иного слова не найти! — делают круги в вышине, в той вышине, откуда весь мир, наверно, кажется иным.

— Настоящие орлы?

— Да, настоящие степные орлы... Все лето вот так кружат в небе над степью и морем. А перед отлетом сколько перепелов, скворцов, дичи всякой тут собирается! Полное побережье птиц...

Они идут, а чайки белые носятся над ними, роняют пискливые крики.

— Этих чаек у нас каганцами и героликами зовут...

— Как тут тихо! Только чайки вскрикивают.

— И на море никого... Помню, еще маленькой, стою как-то на берегу, а далеко, где-то у самого горизонта, на тихом спокойном море, в мареве, белые паруса плывут один за другим. Над морем утром дымка голубая, а они сквозь эту дымку — ослепительно белые от солнца, фантастически красивые, словно каравеллы какие-нибудь. Спрашиваю маму, что это? А она: пошли с косы за глиной на Крутенькую... Так просто, буднично... За глиной.

Войны тут еще не было, на этом тихом, забытом побережье. Безлюдно, пустынно. Только фелюги рыбацкие, челны, баркасы да байды просмоленные чернеют на берегу, лежат сиротливо, покинутые, некоторые уже порассыхались, — видать, давненько не прикасалась к ним рыбацья рука.

На одной из таких фелюг девчата сели передохнуть. Давно они не ощущали такой тишины, такого покоя, что льется прямо в душу.

Как птиц бросает в воздухе во время бури, так бросало и их в последнее время вихрем событий.

С окопных работ они снова вернулись в Харьков. Город был уже какой-то растревоженный, неприветливый, на улицах — металлические противотанковые ежи, мешки с песком. Всюду множество продуктов, на площади возле ДКА продают сливочное масло, красноармейцы берут масло, если не во что, прямо в каски.

В университете, куда они прежде всего забежали, среди других знакомых, которые как раз получали стипендию, встретили Марьяну. Она была какая-то чужая, отстраненная от них своим горем. Узнали, что она работает на заводе, но завод скоро должен выехать.

— И ты с ним?

— Там видно будет,— ответила скупно и как-то многозначительно посмотрела на глухую, обитую дерматином дверь спецотдела, возле которой они ее встретили.— Остаться хочу.

— Как остаться?

— А так... Радисткой, диверсанткой, да кем угодно — мне теперь нечего терять,— добавила она со злостью в голосе.

С подругами распростилась без нежностей, почти холодно.

В аудиториях, в коридорах факультетских, на узлах с пожитками какие-то незнакомые люди — оказалось, все это эвакуированные сюда из Киевского университета. Среди них только и разговоров, что о боях под Киевом, где в рядах защитников города сражается много студентов, которые тоже пошли добровольцами на фронт. Завтрашний день и киевским и харьковским представляется одинаковым: эвакуация, дорога, Кзыл-Орда — там, где-то в глубине Средней Азии, они должны найти для себя убежище.

Таня и Ольга были далеки от этих планов. После того как они получили письма, которые ждали их на факультете (Таня — от Богдана, Ольга — от Степуры), и узнали, что хлопцы ранены и с ними можно повидаться, никакая сила не могла удержать девчат здесь. В тот же день они выехали в Мариуполь (оттуда писал Богдан), договорившись, что по дороге заедут к Степуре в донбасский госпиталь.

В госпитале Степуру не застали, однако узнали, что он теперь тоже в Мариуполе, в том диковинном выздоровбате. Поехали туда. Везли хлопцам из университета новость, что война для них закончилась, что студентов теперь отзывают и их опять ждет университет, учеба.

Уже видели себя вместе с хлопцами, вместе с ними ехали куда-то в азиатские просторы. Как радовались они в те минуты, что у них такая огромная страна, что есть на свете Заволжье, Урал, степи Казахстана, Киргизия, куда не долетит никакая пуля, не достанет никакая война!

В Мариуполе их ожидало горькое разочарование. От Лымаря, которого девчата встретили среди штабных писарей, они узнали, что хлопцы два дня назад снова отправились на фронт.

Впервые с начала войны Таня тогда разрыдалась. До сих пор за все время разлуки с Богданом она ни разу не плакала, Ольга по крайней мере никогда не видела ее слез, а тут — не удержалась. Зато после этого в ее характере появилось злое упрямство, какое-то ожесточение.

Несколько утешило девчат лишь то, что хлопцы отправлялись, как сказал Лымарь, в хорошем настроении и что уже после их отъезда пришло известие об ордене, которым награжден Богдан.

— Орден Красного Знамени — это же вещь! — восклицал Лымарь. — Такие награды редко дают, а ему дали. Гордись, — сказал он

Тане и еще хвалился, что его самого куда-то переводят, отзывают, но Таня его уже не слышала. Она уже не слышала ничего на свете, кроме голоса собственного сердца, которое рвалось вслед Богдану, искало его по всем фронтам.

Куда теперь? Назад, в университет?

Таня сказала:

— Ни за что!

Учиться дальше одной, пока он воюет, никак не помогать ему сейчас, а потом оказаться к тому же на разных курсах с ним? Это было совершенно невозможно. Нет, ждать, ждать, сколько бы ни пришлось. Вместе доучатся когда-нибудь.

Уезжать отсюда не хотелось. Места эти стали дорогими для них: тут ходили хлопцы, тут залечивали свои раны, отсюда писали письма. Это был последний их адрес, место свидания, которое не состоялось; и если девчата останутся здесь, они будут вроде бы поближе к ним, своим любимым...

Таня и Ольга пошли в горком комсомола, попросились на работу. На какую угодно, потому что не было сейчас на свете работы, за которую они не взялись бы. Несколько дней работали на строительстве степного аэродрома, потом устроились в госпитале, стали донорами, убирали в подсобном хозяйстве овощи для раненых, с утра до вечера собирали помидоры, а мимо них по дороге все время шли на Таганрог обозы эвакуированных, и они видели детей, состарившихся от горя, и женщин, которые родили прямо на подводах, но могли помочь этим несчастным только тем, что давали им помидоры на дорогу.

Потом и овощи были собраны, и госпиталь выехал, и появилось в сводках новое — Мелитопольское — направление.

Тане ничего не оставалось, как принять приглашение Ольги и отправиться с нею к ее родителям. И вот они сидят теперь на черной рассохшейся фелюге. Таня, достав из чемоданчика студенческое фото Богдана, стала — в который раз — всматриваться в него. Он. Ее суженый. Самый лучший. И этот полный силы, высоколобый юноша, он может быть убит? Неужели зароят в землю эту ослепительную улыбку? И высокий этот лоб, в котором собрано столько знаний, столько веков человеческой истории — от ассири-вавилонян до наших дней?.. Жутко было думать об этом.

— Что будет, если его не станет, Ольга? Я не представляю себя без него, никак не представляю. Я была счастлива просто быть с ним, даже и тогда, когда мы были в ссоре и сидели порознь, в разных углах аудитории... Жизнь, в которой не будет его, для меня бессмысленна.

— Гони прочь такие мысли. Он ведь жив.

— Да, конечно...

Поднявшись, девчата пошли дальше.

Снова кермек цветет, и солонец стелется темно-зеленый, безлистый, — наверно, сродни убогой тундровой флоре и той, что, возможно, произрастает где-то на Марсе.

Впереди огромное село раскинулось по побережью, стайка тополей выбежала почти к самому морю.

— Вон там, где тополя, там мы и живем.

А Таня вспоминает позднюю осень в Харькове, студеный вечер ноября; ветер гонит тополиные листья по аллеям Шевченковского парка, по которым они идут с Богданом с последнего сеанса кино. Листья еще зеленые, но уже подмерзли и звенят по ночному асфальту, словно железные. Будут ли звенеть те листья еще когда-нибудь ей с Богданом, или все то уже навеки миновало и нет ему возврата?

Хата Ольгиных родителей полна тревоги. Суета, беспорядок, сборы в дорогу... Мать — статная, смуглая гречанка, которую можно было бы принять за старшую сестру Ольги, — в момент появления девчат увязывала пожитки. В первую минуту она растерялась, какое-то время топталась возле своих узлов, потом со слезами бросилась обнимать дочь.

— Я уж не знала, что и думать... Не пишешь, никакой весточки от тебя... А это ж кто? — подошла она к Тане.

— Подруга моя, — сказала Ольга. — Самая близкая подруга.

— Вот и хорошо. Вдвоем-то веселее вам будет.

Она тотчас усадила девчат обедать, словно знала, как они голодны. Продолжая свою работу, рассказывала, что тут творится, какая поднялась сегодня с утра суматоха.

До последних дней жили здесь спокойно. Разговоры об эвакуации расценивались чуть не как проявление малодушия: ведь на западе были еще Днепр, Каховка с оборонительными сооружениями, Мелитополь, тысячи людей — местных и присланных сюда даже из Средней Азии — целыми трудовыми бригадами уходили туда, на рытье противотанковых рвов; враг где-то там должен был найти себе могилу. И вопреки всему этому из района вдруг телефонограмма: увести трактора, гнать за Кальмиус скот, эвакуировать семьи актива.

— А Федорка-то Михайлова поехала на фронт, — рассказывала мать о соседке. — Слух прошел, что Михайло убит, а он на днях объявился, из Захаровки звонит в сельсовет: вызовите мне семью к телефону. Посыльный не верит, говорит: тебя же нет, — а он кричит, ругается: это я! Побежали в сельсовет мать и жена, плачут у трубки, а трубку взять боятся. Потом Федорка взяла-таки, переговорила с ним, в тот же день выпросила двуколку у бригадира и метнулась к Михайле в Захаровку, — он там в своей части...

В хату вбежал маленький, живой, до черноты загоревший на солнце носатый грек, оказавшийся Ольгиным отцом. Поздоровался с дочерью, потом, окинув быстрым взглядом Таню, мимоходом обнял и ее, как свою, и сказал почти весело:

— Вы держитесь теперь нашего табора... Вот она будет вами командовать, — кивнул он на жену и добавил: — Двигаться будем порознь. За Кальмиусом встретимся.

Механик МТС, коммунист еще с двадцатых годов, он получил задание сопровождать трактора. Они уходили сейчас, а семьи с подводами должны были выезжать рано утром.

— Вот только без этого, без этого, — осторожно оторвал он от себя жену, которая зашла в плаче. — Мы еще с тобой будем петь, старуха! Слышишь?

Узел с харчами был для него готов, и, схватив его, он выскочил из дома. Через минуту девчата увидели его уже на одном из тракторов, с грохотом проходивших по улице.

А вскоре после этого — крик на все село: Федорка вернулась с фронта, из окружения выскочила!

На подворье у нее, куда побежали и девчата, полно людей, а Федорка — бледная чернявая молодичка лет тридцати — стояла перед ними возле запряженной двуколки и рассказывала о своем Михайле:

— Набрехали о нем, что убит, а он теперь уже лейтенант, командует взводом артиллерии. Сама видела его пушки и полный боевой припас возле них в ящиках. Гляди, говорит, Федорка, в какой каше были, а ничего не бросили, наша пушка, хоть и маленькая, а знаешь, как танки берет! Где-то они еще за Черниговкой попали в окружение,

думали — смерть всем, один лейтенантик с перепуга давай переодеваться в рядового. Подскочил, стал просить моего: отдай, говорит, мне твою гимнастерку! Михайло отдал, а самому-то как быть? Надел лейтенантскую. Потом, когда тревога улеглась, попал мой Михайло на глаза генералу, тот останавливает: «Товарищ лейтенант!», — а Михайло ему: «Я не лейтенант, я рядовой, это только форма на мне лейтенантская». И рассказал все как было. А тот выслушал и говорит: «Ну и будешь теперь лейтенантом. Такое тебе звание за то, что ты не растерялся!» И вот он теперь законный командир, — гордо закончила Федорка.

Соседок, однако, интересовало другое:

— А моего ты там случайно не бачила? А моего? А моего? — сыпалось отовсюду.

— Ваших не видела, только Грицка Харченка из Бахтармы встретила, он при Михайловой батарее. Я им еще и ужин варила с той хозяйкой, у которой они в саду стоят. Приготовила им ужин, переночевала, а наутро там такое началось, что не приведи господь. Михайло говорит: «Ну, Федорка, откомандировывайся, двигай домой, бо нам воевать. Только подальше от главных дорог, проселками пробирайся. А как придешь домой, передай там всем: отступление — это еще не смерть, панике не поддаемся, есть пушки, есть снаряды, — чего нам их бояться?» Он же у меня, знаете, какой боевой, да еще и коммунист, он и в Берлине побывает — вот увидите!

Толпа еще не разошлась, когда из степи в село влетел военный грузовик с двумя красноармейцами. Остановились возле двора, стали спрашивать, где больница.

— Перевязочный материал ищем. Только что под Мангушем был бой, там наши раненые лежат, нужно подобрать. Может, из вас кто поедет?

— А отчего ж! Я первая поеду, — сразу подала голос Федорка. — Я уже там была, у меня муж лейтенант!

— И мы тоже поедем, — сказала Таня.

— Мы студентки, — пояснила красноармейцам Ольга, — проходили курсы ГСО...

— Садитесь!

Забрав в опустевшей больнице медикаменты, помчались в степь.

По дороге узнали от красноармейцев, что танковые части врага, прорвавшись откуда-то из-под Бердянска, устремились по тракту прямо на Мариуполь, минуя эти селения. Все побережье теперь, с десятками колхозов, рыбзаводом, сельсоветами и Белосарайским маяком, оказалось отрезанным, враг отхватил его, как ломоть, и бросил, — знал, что все это теперь от него не уйдет.

Пригорюнившиеся и какие-то совсем беззащитные, девчата притихли в кузове. Что же теперь? Еще утром шли вдоль моря, наслаждались тишиной и покоем, не чувствуя близкой опасности, и вдруг эти разбросанные по Приазовью греко-украинские села, что стали для них последним прибежищем, уже и сами оказались под угрозой окружения.

— Не тужите, девчата, — утешает Федорка, поняв их настроение. — Я вот была в окружении, да вырвалась, и жива, а ведь там такое было! Всех не окружат! Войско — оно, как вода, сквозь пальцы протечет.

— Протечет, — мрачно заговорил сердитый красноармеец, который все время зорко всматривался в степь. — А вы видали, что под Черниговкой творилось? Видали, как танкисты наши сами сжигали себя в танках, когда кончились снаряды и никакого выхода?..

— Ты мне не рассказывай, у меня муж там, — гордо твердила Федорка. — И снаряды у него есть, и голова на плечах, — выскочит. Такой

из ада выскочит. Не нюня, не слюнтяй какой-нибудь — на море шкипером был, теперь командир, лейтенант артиллерии, а я — командирская жена...

Подводы какие-то галопом несутся по степи; грузовики с зенитными пулеметами, нацеленными в небо; у посадок бродят брошенные кони. Машина с двумя красноармейцами, Федоркой и девушками остановилась возле полосы нескошенной высокой суданки. Раненые красноармейцы, выползая из суданки, встретили их радостно.

— Мы уж и не надеялись, что приедете.

Бойцы все были молодые-молодые. И Таня почувствовала, что невольно ищет среди них знакомое, самое родное лицо. Был среди них один, чем-то похожий на Богдана, — молодой, заросший щетиной лейтенант, смугловатый, похоже, кавказец. Она бросилась перевязывать его. Лейтенант сам поднял на себе окровавленную, забитую пылицей гимнастерку, показал рваную рану на спине.

— Наверное, легкое пробило, — хрипел он.

— У Горького тоже было пробито легкое, — перевязывая, утешала его Таня, — а сколько прожил. Вы тоже будете жить.

Раненый посмотрел на нее с благодарностью.

Набрали раненых полный кузов и уже хотели ехать, когда один из них вдруг сказал:

— Обождите. Там еще бригадный комиссар. Он тоже ранен.

— Где он? — встрепелась Федора.

— Вон там, под посадкой.

Завернули к тому месту, где суданка подступала вплотную к густой колючей лесополосе. Группа бойцов занимала тут оборону. Каждый лежал лицом на запад. Бригадный комиссар был среди них, за станковым пулеметом. Заросшее, запыленное лицо в ссадинах, глаза ввалились, и только где-то там в глубине их еще проглядывал живой упрямый блеск... Голова перевязана пыльным бинтом, командирская фуражка валяется в стороне.

— Мы за вами, — крикнула Федора комиссару, — садитесь.

Он не шевельнулся.

— Что же вы? Садитесь скорее!

— Езжайте, — услышали они его сухой властный голос. — Мы пока остаемся.

— Вы же ранены!

— Это вас не касается... Мы — прикрытие.

Видно было, что комиссара не уговорить. Они поехали, а он остался с бойцами у колючей степной посадки.

Девчата все время оглядывались с машины туда, где он остался, упрямый этот комиссар. Они уже подъезжали к селу, когда услышали от посадки пулеметный клекот.словно в пустыне, одиноко проклекотало в огромной степи, среди безлюдья, тишины, пылицы...

— Вот это коммунист, — сказала Федора. — Я почему-то так и думала, что он не поедет.

— Почему? — спросила Ольга.

— Потому что я уже видела таких. Говорил мне мой: «Ты не знаешь, Федорка, что такое солдатский стыд, какой он горький. В глаза не может глянуть людям за это наше отступление».

Над селом вставал дым. Горела только что подоженная эмтээсовская нефтебаза, по улицам мчались подводы вниз куда-то, к морю.

— На косу давайте, на косу! — крикнул им председатель сельсовета, когда они остановились возле больницы. — Район уже не отвечает, — и в подтверждение своих слов он показал телефонную трубку с оборванным проводом.

На минуту подкатили к Федоркиной хате, чтобы хозяйка могла



захватить вещи, остановились и возле Ольгиного двора, но в доме и во дворе было пусто.

На центральной улице догнали Ольгину мать, которая вместе с другими женщинами едва поспевала за подводой.

— Там, на косе, нас ждите, — крикнула она девочкам.

Грузовик помчался вниз, к морю. Кажется, все, что было тут живого, устремилось теперь со всего побережья на косу, видневшуюся далеко своими деревьями, маяком. Бежали к морю с узлами, мчались на конях, на двуколках, на тачанках. Откуда-то тащили туда тракторами даже комбайны.

Когда девочки с ранеными въехали на косу, перед ними открылась страшная картина: вдоль самого моря, сбившись, стояли трактора, а вооруженные ломами люди — и Ольгин отец, механик, среди них — ходили среди тракторов и разбивали моторы. На Мариуполь им не удалось прорваться. Колонна с полпути возвратилась сюда; тут-то и нашли свой конец трактора, большей частью совсем новенькие, может, только в этом году выпущенные Харьковским тракторным.

А дальше, из глубины косы, где чернеют вдоль берега суда рыболовецкого флота, слышны крики, там толпятся люди — председатели прибрежных сельсоветов на скорую руку заполняют эвакуационные листки, а заполнив, молча — к колену — прихлопывают печатью.

На фелюги, на баркасы грузили муку, продукты, и слышен был чей-то раскатистый голос:

— Где паруса? Ищите паруса! Они где-то здесь!

## 49

Оказалось, паруса на складе, а склад закрыт, дверь на засове и ключей нету.

— Чего вы глядите? — сразу вступила в дело командирская жена Федорка. — Целовать будете этот пробой?

И, схватив весло, попавшее под руку, с размаху ударила им в раму окна. Вскоре добрались до брезентов. Таня с Ольгой тоже волокли к берегу тяжелые эти брезенты, которые должны были наполниться ветром и превратиться в тугие ветрила их суденышек.

Одни отплывали, другие готовились к отплытию, а они долго возились на своем, ставили парус, и командовала ими Федорка, она все умела. Забрызганная водой, растрепанная, натягивала парус, хвасталась своим молодым помощникам:

— Бо я сама, девочки, рыбачка и родилась на море. Вышли отец с матерью на лов, там и пуповину мне завязали...

Работа приближалась к концу, когда налетел вражеский самолет, начал бросать на косу бомбы. Одна бомба с жутким свистом падала прямо на их фелюгу, и Таня, забившись под парус, видела уголком глаза, как, безумев от ужаса, учитель-инвалид иступленно рвал на груди рубашку. Ему, видать, так же, как и ей, Тане, показалось, что это уже смерть, что бомба летит прямо на него. Однако бомба, плюхнувшись неподалеку от фелюги, лишь подняла морскую воду тяжелым фонтаном и никого не зацепила. На косе дико ржали кони, кричала не своим голосом какая-то женщина — раненая или, может, от испуга, а Федорка, только побледнев, решительно распорядилась:

— Сети давайте! Сети растягивайте!

Девчата, вскочив, принялись таскать с берега на фелюгу порванные рыбацкие неводы; путаясь, развешивали их так, чтобы с самолетов было видно: тут, внизу, мирные люди — авось у воздушных бандитов пробудится, ворохнетя что-то человеческое...

После налета погрузили к себе на фелюгу нескольких раненых, которых не успела забрать специально выделенная моторка; сюда же сели Ольгина мать, местный кооператор с портфелем и тот учитель-инвалид. Последней, прямо с тачанки, к ним метнулась запыленная женщина с двумя детьми — семья какого-то работника из района. Муж только помог ей сесть, из рук в руки передал детей, а сам, попрощавшись, снова вскочил на тачанку и помчался в степь, — он оставался тут партизанить.

Фелюга отчаливала, когда от берега, прыгая по воде, к ним подбежал еще один пассажир — краснорожий пожарник местной команды. Федорка люто сцепилась с ним. Он лез в фелюгу, а она его не пускала. Он что-то ей бормотал, а она кричала на всю Белосарайку:

— Не пущу! Какой ты, к дьяволу, коммунист? За пьянку сколько выговоров имеешь? Вот у меня коммунист — так он в боях прокипел! Вот политрук — коммунист, так в ранах лежит. Вон тот с пулеметом в посадке прикрывает всю степь — так тот коммунист! А сорняк нам не нужен!

Она все-таки столкнула его в воду, и пожарник, поняв, что с Федоркой ему не сладить, устремился к другим фелюгам.

Под вечер вышли в море. Обязанности капитана взяла на себя Федорка, она знала, куда вести:

— На Кубань пойдем. На Должанскую косу.

Таня с Ольгой, расположившись на корме на изодранных рыбацких неводах, не могли оторвать глаз от берега, который все удалялся и удалялся от них.

Побережье было фантастически красиво. Предзакатное солнце утонуло в облаках, и весь горизонт повит молочно-матовым светом; необычайный свет стенами стоит вокруг, а в нем разлито золото, и на стенах тех светящихся покоится небо — высокое, прощальное.

Ближе и дальше на море виднеются суда, большие и маленькие, парусно-моторные и просто на одних парусах, фелюги, байды и едва приметные на воде челны, баркасы — все выходит в открытое море, летят на рыбацких своих крыльях к тебе, далекая, не занятая врагом земля Отчизны!

Долго еще им виден был Белосарайский маяк на косе. Когда стемнело, он не замигал им своим огоньком, как мигал тут в море рыбакам на протяжении многих лет. Вместо маяка багрово, тревожно светит им в эту ночь пылающий Мариуполь — горит порт, горит «Азовсталь».

Ночь застала их в открытом море вдали от берегов. Разбрелись друг от друга парусники, исчезли в темноте. А кругом вода и вода.

Таня, окоченевшая на ветру, забралась с Ольгой вниз, расположилась возле раненых под защитой жесткого тяжелого брезента. Холодно. Дрожь пронизывает тело, а душу не покидает тревога. Стонут раненые. Один из них, в бреду, все выкрикивал, звал какого-то Мартынова, а потом вдруг умолк, притих, и глухо прозвучал из-под брезента голос его соседа:

— Отмучился...

Федорка с помощью Ольгиной матери положила умершего на какую-то доску, потом они приподняли его и по морскому обычаю спустили за борт.

— А документы взяли? — спросил кооператор.

— Все как нужно, — буркнула в ответ Федорка.

Очевидно, желая развеять гнетущее настроение, она опять громко принялась рассказывать кому-то в темноте о своем муже-лейтенанте и о его непобедимой артиллерии, а потом перешла на своего удивительного свекра, который умер незадолго до войны:

— Девяносто девять лет прожил и болезней никаких не знал, только узлы на руках вздулись. А в тот день, когда исполнилось ему девяносто девять, подзывает меня и говорит: «Беги на море и скажи сынам, пускай сюда спешат скорее. Скажи, что уже, мол, я умер». — «Но вы же еще живы!» — «Не твое дело. Скажи — умер». Так и передала на косу, бо перечить ему никак нельзя было. Приезжают под вечер сыновья, а батько... во дворе сено дергает из копнушки. Они набросились на меня: зачем, мол, зря их от работы оторвала, а отец им: «Нет, не зря. Это я ей так велел». Сели обедать. А старик на лавке прилег. «Где же Федорка?» — спрашивает. «Я здесь, тато. Это же я». (Он уже не узнавал меня). «Дай воды холодной». Я подала, только комнатной. «Нет, принеси из колодца». Принесла, выпил, а мы себе дальше обедаем. Вдруг один из сыновей говорит: «Браты, а тато уже померли». И мы положили ложки и все встали. Так-то умирали старые люди. Отжил свое и — как уснул. А теперь глянь, какой смертью умирают. Какого вон молоденького забрала. Не в девяносто девять, а, видать, в девятнадцать.

Возле Тани под брезентом лежит раненый, тот, что похож на Богдана. Потерял крови много и теперь дрожит, замерзает. Когда другие притихли, начали дремать, она вдруг почувствовала его руку на себе, у самой груди, где раньше только Богдановой руке разрешалось быть. Не отодвигаясь, она некоторое время лежала так, грела раненого своим телом, без стыда грела.

Но руку его потом осторожно отвела.

— Почему? — спросил он еле слышно.

— Нельзя, — так же тихо ответила она.

— Почему нельзя?

— Так, нельзя.

— Ты меня перевязывала днем. Ты так на меня смотрела. На меня еще никто в жизни так не смотрел.

Таня молчала.

— Ты когда-нибудь могла бы меня полюбить?

— Никогда.

— Почему?

— Люблю другого.

После этого он больше не прикасался к ней.

Все дальше холодное, растревоженное зарево над Мариуполем, а над морем гудят самолеты. Многие уже спят, только Федорка не дремлет у паруса — слышен ее голос: рассказывает кому-то, как они доберутся до Кубани, на Должанку, где в рыбцехе работает брат ее мужа. Кубань — это уже спасение.

При слове «Кубань» Таня вспомнила, что где-то там мать Богдана. Таня ни разу не видела ее, но мать знает о Тане, как Таня многое знает о ней, о ее характере, привычках, о ее нежной любви к сыну. В каком-то совхозе она учительствует. Как пригодился бы сейчас ее адрес! Разыскала бы, явилась бы к ней: «Я — Таня, я Богданова невеста...» Попробует разыскать, найдет, вместе будут работать, вместе будут ждать его.

Рядом с Таней, съезжившись, лежит Ольга. Она, оказывается, не спит.

— Я все думаю о том комиссаре, который остался с пулеметом прикрывать нас в степи, — говорит она шепотом. — Спасется ли он? Сколько их рассыпано в степях! В таком положении ведь может ока-

заться и Андрей... И все же, чувствую я, мы с ним встретимся непременно...

— И обязательно в Харькове!..

Размечтавшись, девушки мысленно уносятся к тому желанному времени, когда произойдет перелом на фронтах и все будет иначе и рано или поздно хлопцы живыми вернутся к ним с войны.

Было уже за полночь, когда из морской темноты до них долетел истошный крик, надорванный, хриплый:

— Эй, люди, люди! Сюда! Спасите! Помогите!

Оказалось, они плывут мимо маленького островка, каких немало в Азовском море. Песчаная плешь среди морского простора, ободранные рыбацкие курени, и одна-единственная фигура мечется в темноте возле воды, надрываясь от крика. Подплыли ближе, подобрали этого Робинзона. Был он мокрый весь, бежал к ним по воде, падая, а когда, запыхавшегося, тащили его через борт, дохнуло от него водочным перегаром. Федорка признала его: заготовитель из Милекина. Уплыл он еще с первой моторкой, с вечера у них тут был привал; видать, выпили, он уснул, и его забыли. Даже теперь, оказавшись на судне, он еще не верил своему спасению, отрезвевший, трясся с перепуга. Немного опомнившись, стал рассказывать, как бегал тут и кричал всем парусникам, которые проходили в темноте, но там не слышали, проплывали мимо, и горе-заготовитель уже думал, что так и останется один возле дырявых этих шалашей и крылатых голодных мартынов, которых так много на острове.

Перед рассветом на горизонте появилась полоска кубанского берега.

— Радуйтесь, земля! — объявила, стоя у паруса, Федорка.

Некоторых укачало, а Таня, утомленная, согревшись под брезентом, задремала. В дремотном забытьи отчетливо увидела перед собой Богдана, ощутила на себе его теплую желанную руку. Ей стало так хорошо и приятно, что она проснулась. Но это было чье-то чужое, не его тепло, и оно сразу перестало греть ее. Резко отодвинулась, одиноко сжалась комочком, и ей вдруг так захотелось увидеть хоть на миг того, для кого берегла себя, свою нежность, девичьи свои нерастраченные чувства. «Где ты? Жив ли? Может, лежишь в степи, среди таких вот молодых-молодых, как те, которых мы подбирали у суданки?»

Отчаяние сменялось надеждой, душа была в смятении, не находила покоя. Смертоносной тучей движется враг по родной земле, день за днем отступают на восток почерневшие от горя войска, куда-то под холодными звездами уносит Таню туго натянутый парус, и тот, кого она ждет, все отдаляется во мраке ночи вместе с уходящей землей; или, может, его и нет в живых, а ей все слышится на расстоянии его голос и все видится сквозь ураган войны его далекая улыбка...

## Письма из ночей окруженческих

Мы не погибли. Мы живы. Перед нами, как перед скифами, степи стелятся пустынные. Только самолеты в небе напоминают: XX век!

Небо огромное, степное. Ночи сухие, звездные, пахучие. Человеческим потом, пылицей, полынью пахнут эти ночи, от зари до зари сухими травами, емшан-травой шелестят...

Это мы идем, окруженцы. Люди прервавшихся связей, те, кого отовсюду подстерегает смерть.

Всю ночь идем, не отдыхая. Птицы вспархивают у нас из-под ног, и нам самим хочется быть птицами. Хочется поднять в воздух свои тела, свои раны, свои еще не пробитые пулями головы, взлететь над заревами пожарищ на горизонте, над вражьиими заслонами и вырваться из этой тяжелой пустыни, которая зовется окружением, из этой огромной пустоты, которую мы не в силах заполнить.

Нас мало. Нас горстка. Мы — только одна из тех многочисленных групп, которые пробиваются сейчас через степи на восток, после того, как нас разбили, после того, как и штаб нашей армии во главе с генералом Смирновым пал в бою под Черниговкой. Мы вели бои до полного истощения сил, и мы не виноваты, что так случилось.

Бредем по степям, всюду натываемся на следы Днепрогэса, точно на останки погибшей цивилизации. Мачты. Пустота вокруг, и в ней — стройные днепрогэсовские мачты. Словно девчата с коромыслами на плечах, пошли, зашагали на восток прямо степью — через балки, через холмы и пригорки, — чуть заметные, исчезают в дали степной...

Оборванные их провода грузно свисают на землю, теряются в полынях. Иногда мы останавливаемся возле такой мачты, и она высоко поднимается над нами, как монумент иной жизни, как напоминание о жизни электрической, трудовой, когда пчелиный гул электромоторов все лето слышен был на колхозных гумнах и лампочки Ильича светились в домах степняков. Теперь, отрубленные от Днепрогэса, от востока, мачты одиноко высятся в степях, безотрадно никнут растрепанными косами проводов. Токи, силой своей равные молниям, проносились над степью по этим проводам, а сейчас нет в них ни искры, и свисают они над полынным этим царством бессильно, как жилы, из которых выпущена кровь. Сколько же стоять этим мачтам вот так? Сколько гудеть в неволе на ветрах степных? Покроетесь ржавчиной, и полынь, может, вырастет выше вас, пока мы вернемся сюда.

С каждым днем нам все труднее. Нас мучит жажда. Изнуряет голод. А главное, никто не знает, чем кончится этот окруженческий наш поход, пробьемся ли к своим, или в стычке с врагом погибнем, или — еще хуже — концлагерь, плен. Плен — это страшит больше всего, это горше, чем смерть. Таких, как мы, сейчас вылавливают по степям, набивают нами кошары степные, кровавыми колоннами гонят на запад, за Днепр, откуда возврата нет.

Заградотрядник говорит мне:

— Ежели что — стреляйся!

А я не хочу стреляться. До последнего дыхания хочу бороться. Разве я не имею права на это? Ползком ползти. Обманывать врага. Притаиться, если нужно. Притвориться мертвым. Чтобы потом вдруг ожить, выпустить когти и вогнать их в горло врага.

Ты скажешь: это на тебя так не похоже, Богдан, когда только ты этому научился, ведь раньше ты был добрым, я тебя знала нежным, открытым...

Да, были мы добрыми. Книга, наука была нашим знаменем. Этот сеял хлеб. Тот учился. Тот строил корабли в Николаеве, а Заградотрядник охотился на зверя в далекой тайге. Богаты были мы каждый своим трудом, творчеством, мечтами, думами. Теперь у нас есть только оружие — орудие смерти в руках да сердце, до краев наполненное жгучей ненавистью. Для человека это так мало! Вот у него, у Заградотрядника, я знаю, бритва в противогазной сумке. Он хотел покончить с собой, когда стало известно, что нас окружили. А теперь

готов без колебаний перерезать горло первому попавшемуся вражескому часовому, который встанет на нашем пути.

Вчера один от нас отстал. Нарочно отстал, спрятался. Когда мы спали, он отполз от нашей группы и залег в подсолнухах, ожидая, пока мы уйдем. Но прежде чем уйти, мы его разыскали. Как раз зарывал в землю документы. Оглядели: уже нет на его пилотке звездочки. Час назад была, а сейчас нет, только невылинявшее пятнышко на том месте... И будто погасла без этой звездочки пилотка, погас он сам. В кармане — листовка пожелтевшая, выгоревшая, тайком подобранный где-то в степи. Пропуск в другой мир, не наш: пропуск в лагерь, в те кошары, в бесправье, под палки надзирателей. Стоя перед нами на коленях, выпачканный в пыли, просил пощады у нашего окруженческого суда, нищенски выклянчивал жизнь...

Мы пошли дальше, а он остался у подсолнухов мертвый, на добычу воронью.

Такими стали. И за это — самый страшный, самый беспощадный наш счет тебе, Гитлер, тебе, война!

Безводье — вот чем мучит нас степь. Когда перед рассветом выпадает роса, мы падаем и слизываем ее с травы, как собаки. Но скупа степная роса. Если бы только напиться! Если бы хоть раз утолить жажду! Мы вспоминаем полные воды Днепра, во сне мы припадаем к ним пересохшими, потрескавшимися губами. Однажды ночью в темноте что-то забелело перед нами в лощинке — озерцо степное, плес или лужица какая-то? Обезумевшие, бросились мы туда. Забыв об осторожности, грохаем сапогами на всю степь и бежим, бежим... И вот оно, озерцо! Ждали, захлопает водой, а оно звонко застучало у нас под ногами: белое, твердое! Солончак!

Шелестит трава под ногами, шелестят языки в пересохших наших ртах.

Трудно передать всю степень нашего стремления вперед, жажды вырваться из окружения. Вся сила, энергия вся — на прорыв. Вперед, вперед! Только бы вырваться! Только бы пробиться! Любой ценой! Во что бы то ни стало!

В пути встречаем зарю рассветную, но она не радует нас: перед нею, перед светом ее, как ночные дүхи, должны мы прятаться, дожидаясь снова темноты.

Днем нас не видно. Днем мы как звери степные. Отлеживаемся в бурьянах, в колючих посадках и подсолнухах, обливаемся потом — солнце немилосердно жжет нас с вышины, и ветер не пробьется к нам в заросли. Проснувшись, видим небо над собой и в нем иногда — орлов.

Не знаем, кто из нас останется в живых. Может, все превратимся в прах, ветер, траву... Может, эти орлы выклюют нам глаза в степях. Но, верно, и травую став, почувствуем радость, когда все это кончится, когда покореженными фашистскими танками и ржавыми пушками будут заваливать возрожденные домны «Запорожстали».

Слышишь ли ты меня, Таня? Может, в самом деле существует в природе какой-то таинственный магнетизм, какие-то неисследованные токи, которые передают человеческие мысли от мозга к мозгу на расстоянии?

«Пиши хоть в мыслях...» Об этом ты просила, когда в последний раз мы виделись в чугуевском лагере, и вот я посылаю тебе теперь эти ненаписанные письма, эти мысли свои, которые не пройдут ни через одну полевую почту и неизвестно, дойдут ли когда к адресату.

Сейчас ты от меня на расстоянии звезды, и пусть душа свободно говорит с тобой, со звездой далекой, недоступной. Таня — так будет называться эта звезда моя.

Как часто я сдерживал свои чувства к тебе, скупым был на ласку, стыдился говорить тебе нежные слова, чтобы не казаться сентиментальным. Сейчас я даю себе волю, даю волю всему тому, что клокочет в моем сердце — пусть оно говорит само. Сейчас, отсюда, я еще сильнее люблю тебя, хотя думал, что сильнее — нельзя. Руки люблю твои, что меня обнимали, очи, что так солнечно мне смеялись. Капризы твои, и озорство, и ревность — все люблю. Когда еще на Киевщине, в первом боевом нашем крещении, поднявшись живым из-под шквального минометного огня, увидал под хатой чудом уцелевшую среди черного кипения войны высокую, горящую на солнце мальву, ты мне представилась как она — красивая, чистая, гордо устремленная куда-то ввысь.

Ты для меня самый дорогой человек на свете, но — страшно подумать — иногда мне кажется: было бы, пожалуй, лучше, если бы тебя не было вовсе, если б во мне исчез твой суженый, человек, которого ты ждешь, — тогда я остался бы лишь бойцом, который может уже не дорожить собой, солдатом, который несет в сердце своем одну только ненависть. Один на свете, без близких, без родных, как штык. Без любви, возможно, легче было бы нам воевать и умирать в бою.

Но это — минутное, этому не верь. Любовь придает нам силы, помогает переносить все.

Рядом со мною лежит Духнович. Из всего студбата он остался один возле меня. Ты не узнала бы его теперь, нашего Мирона. Зарос рыжей щетиной, в ушах земля, из противогазной сумки торчат ручка гранаты и желтый початок кукурузы. Те, кто не забраковал его в райкоме, могут не краснеть за него: Мирон стал солдатом. В боях на Днестре и позже, на этой стороне, я видел его бесстрашие. Невероятно быстро война перековывает человека. Еще «Илиада» не отзвучала в нашей памяти, еще сонеты Петрарки дышали для нас любовью, а мы уже готовы были убивать.

Как давно мы воюем! Как состарила каждого из нас война! Будто не месяцы, а годы, десятилетия отделяют нас от студенческих аудиторий, от библиотек, общежитий, от солнца студенческой юности...

Идя по степи окруженческой, где-то в дали недостижимой видим родной университет и железобетонный небоскреб Госпрома, и ту заветную райкомовскую дверь, через которую мы вышли в бурный, взбаламученный войною мир. Придут после нас иные поколения, будет у них иная жизнь, иные нравы, и будет их жизнь, наверно, легче, чем наша, но испытают ли они когда-нибудь чувства, с которыми мы оставляли райком, уходили на фронт? Отсюда, со скифских степных равнин, гигантское здание Госпрома для нас — как маяк. Эти родные небоскребы новой социалистической Украины, каскады бетона и стекла, они и здесь все время живут для нас за горизонтом, манят и зовут, как символы.

Пора, однако, в путь. Встаем. Заспанные. Злые. Едим гречневую крупу, сухую, соленую, — гречневый концентрат. Когда нас разгромили, мы, блуждая в степном буераке среди разбитых дивизионных обозов, на каждом шагу натыкались на растерзанное, разбросанное на поле боя армейское наше добро. Валялись треснувшие рогожные мешки, из них высыпались на землю сухари. Сахар кучами. Консервы. Концентраты всякие в промасленных бумажных пачках — сухие супы. Тогда ни я, ни Духнович, ни Вася-танкист ничего не брали. Нам казалось все это ненужным, мы не думали, что нам еще придется есть. Только этот вот артиллерист — увалень Гришко, до войны

работавший кладовщиком в колхозе, да рядовой Новоселец успели набрать в свои солдатские вещмешки сухих армейских супов и концентратов. Теперь все это стало нашей коллективной собственностью, и перед тем, как трогаться дальше в путь, каждый получает из шершавой ладони Гришко свой рацион — горсть сухой соленой гречки, придуманной мудрыми интендантами для приготовления скороспелых солдатских супов.

Во время переходов тяжелее всего достается грузину Хурцилаве. Толстый, с одышкой, он едва поспевает за нами, мы всю ночь слышим, как он трудно дышит, и нам жаль его. Все дни он мрачен, не обронит слова, только и слышно его прерывистое дыхание да еще это вот хрумканье, когда он жует гречиху, которая должна зарядить его силой на всю ночь перехода.

Насыпая в ладонь порцию черной концентратной гречки, я вижу свое, вижу, как белели перед нами чугуевские гречихи, когда мы отправлялись на фронт.

— Неужели та самая, которая так бело цвела в Чугуеве? — говорю Духновичу.

— Она. Почернела.

Перед тем, как тронуться, приподнимаемся, оглядываемся вокруг. Неистово красное солнце садится над степью. Словно курится оно, словно только что образовалось из тех красных вихрей, раскаленных ураганов, которые окружают его, разлившись на весь запад. Среди просторов степных то там, то тут возвышаются древние курганы. Это та степь, Танюша, которую мы с тобой собирались исследовать. По этим полям отец мой гонялся когда-то за степными пиратами — махновцами.

Век тачанок миновал — танковый век над степью грохочет. Слышим отдаленный тяжелый гул. Идут танки. Из багровой пылищи запада по далекой дороге степной движутся на восток громадной колонной, чтобы где-то там с такой же колонной сойтись стальным клином. Стоя в почерневших сухих подсолнухах, видим, как танки один за другим выныривают башнями из закатного тумана, из океана кровавой мглы, что словно бы надвигается вместе с ними с запада. О, Германия миннезингеров, Германия Бетховена, Шиллера и Гете! Погляди на себя сегодня! Прежде шло от тебя на восток мудрое слово философов, поэтов, великих гуманистов, а сегодня идет железный туполобый каннибал в каске, идут молодые арийские бестии, закованнные в броню, разрушители и убийцы, идут уничтожать нашу землю, нашу культуру, нас самих.

Молча смотрим, как они проходят. Молча стискиваем зубы. Мы не можем их остановить. За Днепром у нас были против них хоть черные, начиненные огнем бутылки, а тут и этого нет.

— Будут и у нас танки — говорит сквозь зубы Вася-танкист, стоя возле меня. — Будут, будут! Еще больше будет!

Оборванные, измученные окруженцы, мы предчувствуем: грянут битвы победные. По тысяче стволов выставит армия наша на километр фронта. В несколько этажей нависнет в воздухе наша авиация. Тысячи танков, первоклассных боевых машин ринутся на запад, и содрогнется от ударов артиллерии Берлин, и, может, кто-то из нас, идущих сейчас в окружении, увидит Гитлера в клетке, увидит поверженный рейхстаг, освобожденный Белград и Прагу — далекую, прекрасную...

Мы трогаемся, и багровые ураганы запада гаснут для нас уже в пути.



Этой ночью ведет нас Колумб.

Он только что присоединился к нам. Он единственный среди нас гражданский. Такими мне представляются запорожцы. Плечистый, могучий, из тех, кто двух хлопцев за шиворот поднимет, тихо стукнет лбами и так же тихо снова на землю поставит. А сам смиренный, полнолицый, усы красивые, светлые. В фуражке, в вышитой льняной сорочке и дубленом брезентовом плаще поверх нее. Мы почти ничего о нем не знаем. При проверке документов запомнилось, что зовут его Христофор, отсюда и пошло: Колумб да Колумб. Так и идет с нами этот степной мореплаватель.

Встретили мы его как только миновали поле тех подсолнухов, где дневали и откуда наблюдали за колоннами немецких танков. Еще и не стемнело как следует, когда увидели вдоль посадки на стерне табун беспорядочно брошенных тракторов. Будто напуганные кони, свернув с дороги, бросились они кто куда да так, недалеко от посадки, и застыли. Раньше мы видели в степи расстрелянные стада, убитых пастухов, гнавших скот в эвакуацию. Теперь перед нами были расстрелянные тракторы. Мы еще днем слышали, как строчил здесь немецкий самолет, но тогда не придали этому значения. А теперь перед нами результаты дьявольской его работы — железное кладбище тракторов. На ближайшей к нам машине привалился к рулю, словно задремал после утомительной дороги, юноша, белокурый, чубатый. А под трактором в пыли свежая еще лужа крови и другая лужа — мазута. С другого трактора свалился тракторист, будто в последний миг рванулся, хотел спрятаться под трактор, да не успел: так вот и лежит — вниз головой. И еще, и еще... Мы думали, нет тут никого живого, но возле посадки между тракторами вдруг заметили коренастую фигуру дядьки в картузе и плаще. Стоял, глубоко задумавшись, среди расстрелянных трактористов, среди мертвых тракторов, и, кажется, даже не услышал, как мы к нему подошли.

— Ты из этой колонны? — набросился на него Заградотрядник. Дядька не шелохнулся.

— Из этой.

— А почему живой?

Тот посмотрел на него долгим, усталым взглядом.

— Судьба.

— Один живой среди стольких? Орлы будут клевать твоих трактористов, а ты живой?

Дядька рассердился:

— Да и ты ж почему-то живой!

— Не тебе меня спрашивать... А ну, руки вверх!

Заградотрядник кинулся было к нему, чтобы обыскать, но тот не дался.

— Не подходи! — угрожающе поднял стиснутый кулак.

Пудовый был тот кулак. Размером чуть не с голову Заградотрядника. И на кулаке — следы засохшей крови. Помогал ли кому, своя ли...

Потом дядька сам показал нам эвакуационный лист, из которого мы узнали, что он агроном одной из степных МТС. Был назначен от райкома партии старшим колонны, а теперь вот она... Часть трактористов разбежалась во время обстрела и не вернулась: то ли погибли, то ли скрылись, а эти вот здесь — тот повалился вниз головой, тот навсегда уснул на руле...

— В радиаторах вода должна быть, — подал голос Вася-танкист, хлопотавший у ближайшего трактора.

Но и радиаторы были разбиты. Лишь из некоторых удалось процедить теплой, еще не остывшей воды — хватило горло промочить.

Колумб присоединился к нам. У нас есть компас, чтобы ориентироваться, есть звезды в небе, чтобы знать, где восток, где запад, но Колумб, хорошо знакомый с местностью, должен будет вести нас в обход населенных пунктов, где, наверное, уже полно немцев. Он поведет нас степью. Перед тем, испанским Колумбом, были океаны воды, необозримая гладь морская, а перед этим — необозримая суша.

Зарево в степях. Горят эмтээсовские нефтебазы, горят элеваторы на далеких станциях, скирды. Среди этих пожаров и проходит наше окруженческое плавание. Мы не можем идти по прямой. Нам приходится кружить, далеко обходя село, в котором слышен гул танков, приходится держаться подальше от больших дорог. Главные дороги не для нас, мы теперь люди темных дорог, как говорит Гришко. Опасность подстерегает нас на каждом шагу. Всякий миг ждешь, что вспыхнет прямо перед тобой ракета и крикнет кто-то: «хальт!» — и ударит прямо в лицо автоматная очередь.

Осторожно бредем по какой-то залежи, по высокой трескучей полыни. Ох, уж эта полынь! Мы пропахли, прогоркли насквозь, наши губы горьки от нее, горько во рту, горько на душе.

Кончается полынь, что-то хрупкое, легкое, ломкое под ногами.

— Гречиха! — поясняет Колумб. — По гречихе идем, — добавляет он, тяжело ступая своими сапогами.

Где-то недалеко, на дороге, взлетают вверх ракеты, и мы падаем, ползем дальше по-пластунски. Гнутся, ломаются хрупкие стебли, каждый из нас оставляет за собой продавленный след. Гречиха не трава, она не поднимается.

Уже выползали из массивов гречихи, когда где-то в балке, в стороне, услышали вдруг приглушенный голос Гришко:

— Пасека!

Да, это была настоящая колхозная пасека, привезенная сюда, наверное, еще перед началом войны к гречихам, на июньское цветение. Рамочные ульи похожи на миниатюрные домики, в каждом из которых живет пчелиная семья, а вся пасека напоминает игрушечное село, что притаилось у поля гречихи, как на опушке леса. Мирное пчелиное поселение! Весь край разворошен, лежат расстрелянные стада по степям, горят хлеба, ничто живое не находит себе места, и только мирная пчелиная артель спокойно трудится здесь, не замеченная войной, счастливо ею забытая.

Ненадолго забытая. У крайних ульев в темноте слышна возня, треск — там разламывают рамки. Вытряхивают пчел, ломают соты. Потревоженные пчелы гудят над нами, сердито жалят — за этот ли грабеж, или потому, что не гречишным медовым духом, а горькой полынью пахнут эти люди, горькие, полынные.

По долгу командира я должен был остановить, запретить, но я знаю, как все мы изнурены голодом и как много нам нужно сил. Мне и самому Татарин уже протягивает кусок сота, и я беру, жадно высасываю сладкую пчелиную добычу, что пахнет летом, солнцем довоенным, цветом степным. Только Колумб не принимает в этом участия. Он стоит в стороне как укор, как живая совесть.

— Ешьте, ешьте, сыночки, — слышим вдруг голос незнакомый, старческий.

Рядом с Колумбом остановился кто-то, похоже, пасечник. Занятые своим малопочтенным делом, мы и не заметили, как он подошел. Маленький старичок с палкой в руке, в мохнатой шапке, одетый уже по-зимнему, будто готовится тут и снег встречать, возле этой гречихи, возле пасеки, и зиму с ними зимовать.

— Только у меня, в шалаше вон, накачанный есть, а ульи... зачем же их разрушать? Пасека колхозная, может, наши еще приедут за нею; голова сказал: жди!

— Никто, кроме немцев, сюда не приедет,— глухо и смущенно бурчит Гришко.— Из наших мы — последние.

— Та ще фронт может по-всякому обернуться... Идемте, идемте со мной в курень...

Никто из нас не идет. Горячий воск сотов будто бы забил каждому из нас глотку — молчим. Пристыженные, шаг за шагом отступаем, пятимся от пасечника, от пасеки, от пчел. Очутившись за шалашом, опрометью кидаемся в темноту...

Сами себе противны.

— Все равно тем достанется,— как бы отгадав наши душевные терзания, говорит Колумб мрачно.— Придут, разнесут в щепки. Кончился наш медосбор.

Идем какой-то балкой. Кажется, не совсем туда, куда нам нужно, а туда, куда она нас ведет, эта кривая степная балка. Уже поздно. Небо заволакивается, из-за далекого облака светится ущербный месяц, будто далекое, кровью налитое око из-под насупленной брови сурово следит за нами: «А ну, кто вы? Куда идете среди ночных пожаров? Почему бродите по ночам в степи, исхудавшие, заросшие, как звери? Почему не найдете себе пристанища на этой просторной, еще вчера такой прекрасной земле?..»

— Где мы? — спрашиваю Колумба.— Не слишком ли отклоняемся?

— Нет,— спокойно говорит он.— Тут где-то неподалеку должна быть птицеферма колхоза имени Энгельса. Леггорнов разводили.

Вскоре у подножья горы замечаем хату, а в ней — бледный, чуть приметный свет. Нигде никого — ни жизни, ни власти, а окошко светится. Кто там светит? Крадучись, пробираясь по дну балки, натываемся вдруг на маленький колхозный пруд; забыв об осторожности, бросаемся к нему, припадаем к воде, жадно пьем ее, теплую, густую, пропахшую илом и еще чем-то. Перья густо белеют на берегу пруда — перья леггорнов...

С оружием наизготовку окружаем хату. Вот передо мной уже белеет стена, скупо освещенная ущербной луной из-за туч. А на стене, под самой застрехой висят, как на выставке, щедрые дары степной природы: золотистые, оставленные, видно, на семена, початки кукурузы, перец красный, стручковый, огромные венки лука...

Венки эти сразу как-то успокаивают нас: значит, война еще тут не была, не было тут, видно, ни врага, ни таких, как мы, окруженцев, иначе не висеть бы вот так спокойно тугим этим золотистым венкам на белой стене.

Бесшумно оцепив дом, принимаем к окнам... Люди в доме! Полная комната девчат... Стоят на коленях на полу, глазами в угол, словно секта какая-то: молятся. Электрическая лампочка свисает перед ними с потолка, но нет в ней света, вместо нее мигает в углу лампадка. Возле печи, опершись на нее плечом, печально стоит женщина, высокая, смуглая, лет за сорок, с сережками-полумесяцами в ушах. Как птица, которая охраняет свой выводок в степи, стояла она над девчатами. Сама не молилась, была только глубокая печаль на ее смуглом, степной красоты лице.

Услышав шорох за окном, она настороженно вскинулась, и девчата мгновенно повернулись к окнам, и их сосредоточенные, какие-то светлые перед тем лица вдруг перекосило ужасом. За всеми окнами — заросшие шерстью, страшные первобытные люди! Приплюснутые стеклом носы, черные, запыленные лица пещерных варваров,—

именно такими представлялись им враги. Значит, их уже окружили в этой хате, сейчас будут хватать, мучить, глумиться, убивать.

— Открывай! — Заградотрядник грубо застучал в дверь.

И вот дверь открыта, и мы в хате всей своей окруженческой ватагой, и одна из девушек, испуганно забившаяся в угол, вдруг воскликнула радостно:

— Звездочки! Звездочки на пилотках! Наши!!!

И сразу лица девчат осветились улыбками, и стали они такими, будто вся Красная Армия вернулась и можно жить, как раньше.

— А вы уже, значит, молитесь? — подошел к девчатам Заградотрядник, искусанный пчелами. — И не стыдно? А еще, наверно, комсомолки?

— А что же нам остается, хоть и комсомолки? — ответила ему одна из девчат, очень похожая на ту женщину, что стояла у печи, только тоненькая, юная, длинноносая. — Вы не защитили — может, бог защитит... если он есть где-то там... в стратосфере.

— Нет его и не будет, — решительно отрезал Вася-танкист и обратился к женщине: — Это все ваши дочери?

— Вон моя, — кивнула женщина на тоненькую чернявку. — А это ее школьные подружки, тоже девятиклассницы, из села прибежали. Там уже танки фашистские ревут. Где от них спастись? Сюда, в степь, на птицеферму...

В углу за лампадой икона, больше похожая на картину: на огромной тарелке отрубленная голова человеческая в терновом венке.

— Это кто? — спрашиваю у женщины.

— То ж голова Иоанна Крестителя... От стариков еще осталась.

— А какими же молитвами вы молитесь? — спрашивает от порога Духнович, умываясь над тазом.

— А мы без молитв, — ответила ему маленькая, круглолицая. — Мы стихами.

— Какими стихами?

— Просто что в голову придет... Из «Кобзаря» или из Леси...

— А я сегодня из «Моисея» Франка читала, — призналась хозяйкина дочь. — Вступление к поэме: «Народе мій, замучений, розбитий...»

— Да разве они верующие? — промолвила женщина. — Церкви и знать не знали, все клуб да клуб. А когда вот подкатилось и спасения другого нет, так и молиться начали.

— За то, чтобы наши вернулись, — смутившись, призналась из угла веснушчатая, тонкобровая.

— Мы ведь знаем, что есть только атомы, материя, — щебетала хозяйкина дочь, — но так вдруг захотелось, чтобы хоть какая-нибудь сила была над нами там вверху, чтоб хоть какие-нибудь стратосферные боги там существовали да помогали Красной Армии...

— Это смешно, — говорит Новоселец, но ни ему, ни нам не смешно.

Женщина велит девчатам, чтобы они шли резать и ошипывать кур, готовить бойцам на ужин белых своих леггорнов. Но такая роскошь не для нас. Мы не имеем права больше здесь задерживаться. Умылись. Кое-кто на ходу успел даже соскрести щетину своими тупыми бритвами. Подтянулись. Помолодели, снова стали похожи на боевое подразделение.

— Когда же вы вернетесь? Откуда вас выгладать? — обступили нас девчата, когда мы уже стали выходить. — Говорят, они нас эшелонами будут вывозить в Германию, с торгов продавать... Неужели правда?

И словно из их будущего ударил нас стон невольничий, стон девчат — черниговок, полтавчанок, киевлянок, которых эшелонами от-

правляют на запад в рабство, а в городе Люблине, на пороге великого рейха, гонят в баню, а перед тем ведьмы эсэсовки стригут девчат ножницами, косы обрезают. Позже, через много лет, один из нас услышит: «У моей подруги были такие красивые косы, а те схватили — и долой!» Не эти ли то будут косы? Не ее ли, юной этой птичницы, которая молилась сегодня Франковым «Моисеем»?

Скоро и домик, и девочки исчезли из виду. Мы уже за другим пригорком. Из головы не выходит у меня «Моисей». Это была любимая поэма Степуры. Не раз и на фронте читал он чеканные ее строки:

Все, що мав у життю, він віддав  
Для одної ідеї  
И горів, і яснів, і страждав,  
И трудився для неї...

И еще это:

И підуть вони в безвість віків,  
Повні туги і жаху,  
Простувать в ході духові шлях  
И вмирати на шляху...

Но мы не хотим умирать! Мы идем для того, чтобы жить. Мы вырвемся из этих степей окруженческих, где чувствуем себя как под огромным стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.

Шумит и шумит высокая стерня под нашими ногами, шелестит бурьян под ударами тяжелого Колумбова плаща.

Еще сильнее пылают на горизонтах пожары.

В небе тесно от туч, беспокойных, клубящихся. Небо и все вокруг потемнело от них, лишь там, где прячется горбушка месяца, светлеет растрепанная прядь, как борода микеланджеловского Моисея, помнишь?

## 52

Знаем — не одни мы идем. Много таких, как мы, большими и маленькими группами идут в эти ночи степями на восток. Трусов отгоняют. Предателей карают. Идут, случайно сведенные судьбой, объединенные лишь целью: пробиться! Иногда ночью мы встречаем таких, как мы сами. Сходимся настороженно, недоверчиво. Они остерегаются нас, мы остерегаемся их. Они поднимаются из бурьянов, мы тоже поднимаемся, перекликаемся, как птицы ночные, потом сближаемся, готовые в любой миг пустить в ход оружие. Свои! — и легче на сердце. Посоветавшись, обменявшись слухами, предупредив друг друга: «Туда не идите, там засада», — снова расходимся и продолжаем путь небольшими группами — так легче выходить. Многие из нас погибнут, попадут в неволю, а другие все-таки выйдут, вольются в регулярные войска и не раз потом будут вспоминать эти степные окруженческие блуждания.

Лето отступления, лето тяжелых оборонительных боев, окружений, лето скорых и праведных судов на дорогах, упрямых атак, которые кончаются ничем. Вспоминается Рось, что стоила нам столько крови, а теперь давно уже в руках врага. Взорванный Днепрогэс, что ревет сейчас там сильнее Ненасытца, сильнее Волчьего Горла, ревет вместе со всеми девятью своими дикими порогами, как самый большой из них. После взрыва плотины — как он дико разлился в ту ночь, Днепр, затопляя все окрест! Наши бойцы, оставшиеся в плавнях, спасаясь, карабкались на деревья, мы тоже в поисках переправы, как обезьяны, лазали по деревьям до тех пор, пока не подплыли к нам рыбаки на

своих лодках... Что ж, может, все это нужно было пройти? И горечь невозвратимых потерь, и бои до последнего, и эти окружения, — может, все это нужно пережить, чтобы стать другими и победить? И тот взрыв Днепрогэса сделал свое дело, точно так же, как сделала его и наша, пусть неумелая, контратака на Роси, и эти последние, на сторонний взгляд, напрасные бои, которые мы вели в окружении. Думаю, как ничто не пропадает в природе, так, наверное, не пропадут понапрасну никакие, даже самые малые солдатские усилия.

Говорят, в грядущих войнах мужество человека, его доблесть, героизм не будут иметь значения. Все решит, дескать, палец, нажимающий кнопку. Не знаю, как оно там будет, но сейчас дух наших армий, безграничная выдержка нашего солдата — это самое сильное наше оружие. Смотрю вот на своего Новосельца, этого почти подростка с загадочной улыбочкой на устах. Мне нетрудно представить его и в смертном бою, и за проволокой концлагеря, но всюду он, измученный голодом, искалеченный, останется таким, всюду он останется самим собой. Может быть, он способен и на не очень-то благовидные поступки, — не способен лишь на одно: жить на положении подневольного у завоевателей.

Когда я думаю о будущем нашей армии, мне почему-то вспоминается седой человек с умными терново-черными глазами, так много сделавший для меня, — комиссар Лещенко... Ведь есть же такие люди в нашей армии, их много. Они цементируют ее, благодаря им армия наша выйдет из этих испытаний другой, она будет мужать как армия высокого духа и интеллекта. А такую армию невозможно победить.

Рассвет застает нас в посадке, далеко от дорог. Этот тихий, не потревоженный войною степной рассвет, — что может сравниться с ним? Что может сравниться с этой мягкостью воздуха, с этим покоем, который наступает в природе, с первой осенней серебришкой?.. Туман плавает над степью, а сколько росы в посадке! Мы бредем по ней, как по воде. Крупная, густая, она отливает сединой на кустах перекати-поля, на листьях колючих акаций, поблескивает бисером на каждой паутинке, которая опутывает бурьян. В посадке наткаемся на свежие лежбища, что, видать, оставили такие же, как мы, передне-ваз здесь. Мы тоже облюбовали тут себе прибежище на день. Колючая степная рощица, раньше защищавшая колхозные хлеба от суховеев, теперь будет защищать нас от вражеского глаза. Дикая голуби — горлинки — глядят на нас с верхушек посадки, — они как наш дозор, и тут, возле них, располагаемся мы.

Сегодня мы можем позавтракать. На шее у Гришко сияет золотистый венчик дородного лука-сеянца, достает он из своей сумки еще и буханку белого хлеба. Все это дала ему та женщина из птицефермы. Гришко разрывает венчик лука, дает каждому по луковичке, а Татарин тем временем делит хлеб. Всем достается по ломтику. Мы едим его осторожно, чтобы не обронить ни крошки. И мы никогда не забудем этот хлеб, эти ломтики.

Степь лежит перед нами ровная, как футбольное поле, до самого горизонта. Колумб, оглядывая ее, рассказывает:

— Урожай в этом году был у нас тут на хлеба — давно такого не видывали. Выйдешь в поле — стеной стоят. Комбайны пустили — ножи ломались.

Любопытным, мудрым человеком оказался этот Колумб. Представляю, как близко сошелся бы с ним Степура, который так любил открывать людей крепкого народного склада. Словно бы не о себе, о ком-то другом рассказывает Колумб, и мы видим: утро воскресное, усадьба МТС; степной агроном, встав с восходом солнца, побрился ради выходного дня, чистую сорочку надел и выходит в поле по-

смотреть хлеба: скоро их убирать, комбайны и трактора стоят наготове, тока на полевых станах подметены. Чисто всюду, как перед праздником. Вышел агроном и встал посреди своего океана: кругом хлеба! Голодную Индию вспомнил, эрозию в каких-то других далеких краях, и как варварски где-то истребляют леса, а тут — разлив хлебов праздничный. Покладистого, доброго характера был этот человек, по призванию земледелец, выращивающий плоды и злаки, — один из тех, которым так любо смотреть, как падают теплые весенние дожди на поля и как буйно после них все растет. Шел агроном в то утро воскресное и еще ничего не знал, душа его тихо пела, и хотелось этому человеку всю землю засеять, всех людей досыта накормить белым пшеничным хлебом...

— Это я выходил в поле, — говорит Колумб, — это я был в степи в то черное воскресенье... 22 июня — день солнцеворота, самый продолжительный у нас день в году, и ему суждено было стать самым черным днем нашей истории...

Когда мы, поставив часового, ложимся спать, Колумб тоже ложится. Ложится, как шел, не снимая своего железного плаща, лишь расстегнув его немного сверху, чтобы не душил.

Первым собирается в дозор Новоселец. Я слышу, как они разговаривают с Гришко. Тот рассказывает — не в первый уже раз — о своем пятилетнем сыне.

— Откусит, бывало, кислое яблоко и мне сует: «На и ты *накисляйся*, тато!» А то скажет: «Татка люблю, маму люблю и сам *люблюсь*». А когда ложится спать, то все просит: «Расскажи, тато, как это ветер в лесу елками *ветрит*», — шумит то есть!.. Вот оно как, Новоселец, а ты, глупый, — не женат...

Засыпая, я все еще вижу горлинку на верхушке акации. Она зорко посматривает вокруг — умница, она сторожит наш покой...

Все спят, и я уже сплю, как вдруг меня будит Новоселец.

— Товарищ командир!

— Что случилось?

— Все в порядке, — говорит он тихо. — А такое вот дело...

И знаками зовет меня за собой.

Я иду за ним туда, где в кустах, раскинувшись, храпит агроном.

— Гляньте, что у него такое...

Из-под рубашки на груди Колумба что-то алеет. Знамя! Так вот почему он не дал себя обыскать, вот почему не снимает с себя плаща!

Мы стоим и смотрим молча на этот жаркий багрянец материи. Кусочек пурпура. Кусочек китайки. Пламенем горел он на баррикадах, и его, как вымпел, поднимали отважные люди на снежные вершины гор, и, может, где-то уже родились астронавты, люди будущего, которые понесут его в неизведанные дали космических пространств...

Как бы почувствовав наше присутствие, Колумб пошевелил усами, открыл глаза.

— Это ты, Вожак? Чего вы? — и, глянув на распахнувшуюся, с оторванной пуговицей сорочку, догадался, и ему вроде бы даже стало неловко. — Переходящее. Этой весной нашей МТС вручили. С моей колонной было, а теперь пусть с нашей группой будет.

Он еще больше вырос в наших глазах. И когда вечером снова трогаемся в путь, даже Заградотрядник, вечно не доверяющий никому, говорит весело:

— Веди нас, Колумб!

Идем, и я слышу, как разговаривают между собой в темноте Колумб и Духнович.

Духнович словно жалуется:

— Такая малая у нас планета, такое, в сущности, немногочисленное на ней человечество, и очень важно, сможет ли оно когда-нибудь объединиться — объединиться для мирного труда, для счастья, для штурма далеких миров...

— Вот они говорят, жизненного пространства им мало, — гудит Колумб. — А вы знаете, что одна Индия с ее теплом, богатыми осадками могла бы прокормить население всего земного шара, конечно, при лучшем ведении хозяйства, не при колониальных порядках...

Через некоторое время в темноте опять натываемся на брошенные трактора да комбайны, к которым крадемся с особенной осторожностью, потому что поначалу они показались нам танками. Замерли трактора. А когда-то до поздней осени гудели тут целыми днями, и ночью при свете фар слышен был их гул.

В другом месте чувствуем, как что-то цепляет нас за ноги, и Духнович объявляет о своем открытии:

— Кабель!

— Скорее все же это арбузные плети, товарищи, — замечает иронически Колумб.

Мы набрали на бахчу. Арбузы на ней частью собраны, большей частью перетоптаны, передавлены, наверное, такими же, как мы, окруженцами, которые прошли тут раньше нас. Остались нам только корки и гнилье да зеленая завязь с детский кулачок, но это все же — влага, хоть есть чем губы промочить. Ползаем меж упругих плетей, и впрямь похожих на перепутанный кабель, и жадно высасываем сок из раздавленных, растоптанных чьими-то сапожищами арбузят, и в душе благословляем тех, кто эту бахчу насадил.

Выбираясь из бахчевых плетей, Духнович вскоре натываемся на обрывок настоящего телефонного кабеля. Откуда он тут? Наши бросили, или, может, это уже не наш, а немецкий? Может, окруженцы, ползая здесь, порвали его вместе с арбузными плетями? Пока мы, сбившись в кучу, высказываем разные предположения, на дороге, в глубине степи, вдруг сверкнул огонек, застрекотал мотоцикл.

— Связист!

Немецкий линейный надсмотрщик мчится прямо на нас, гулко тарыхта на всю степь, не желая знать, что кроме него тут могут быть еще какие-то живые существа.

Мы, конечно, могли бы его подстрелить, но мы не будем стрелять. Колумб подсказывает нам другое: перехватить кабелем дорогу и держать на уровне головы мотоциклиста. Взять его живьем!

Мы не хотели, чтоб он погиб, налетев с разгона на кабель, но случилось именно так. Сидевшему за рулем как бритвой перерезало горло, зато второй, который оказался в коляске, взят живьем, хотя нам, державшим кабель, содрало руки до крови. Он наш пленник. И мы его теперь ведем.

## 53

Светало, и как-то неожиданно высунулось, взошло солнце, наше безрадостное окруженческое солнце, похожее на какой-то гигантский снаряд. Где мы? Что это за земля? Нет тут лесов. Наши леса — подсолнухи.

Бредем, пригибаясь, через поля подсолнухов, среди их шершавых, кое-где и вовсе высохших, черных, точно перегоревших листьев. Шляпы подсолнечников, колючие, жестяные, бьют в лицо. Семя — там, где



его не поклевали птицы, — осыпается само. Гришко и Новоселец вылушивают его на ходу, грызут, плюются шелухой, и пленный смотрит на них с удивлением. Он весьма послушен. Делает все, что и мы. Мы присаживаемся, присаживается и он, мы торопимся, прибавляет шаг и немец, не ожидая, пока кто-нибудь подтолкнет его прикладом.

— Гыль на листьях, — предостерегает Колумб. — Рядом, значит, дорога.

В такое время, при солнце, дорогу переходить особенно опасно. Отступив немного назад, в глубину подсолнухов, мы остаемся там на весь день. Измученные переходом, товарищи садятся, разуваются, блаженно вытягивают уставшие ноги. Немец тоже садится и, по примеру других, стаскивает с себя сапоги.

Заградотряднику не терпится. Показывая на немца, он спрашивает меня, каково будет мое распоряжение насчет этого типа.

— Допрашивай, — говорю я Духновичу.

Духнович, который лучше всех нас знает немецкий язык, охотно принимает на себя обязанности переводчика. Во время допроса, а также из отобранных документов выясняем, что это тыловик, офицер химической службы дивизии горных стрелков, которая наступает где-то впереди, развивая удар на Ногайские степи. Что особенно поразило меня и Духновича: наш пленник еще недавно тоже был студентом и так же, как мы, не закончил курса — во время гитлеровского похода на Францию ему пришлось надеть военную форму.

— Коллега, — кивая на пленного, насмешливо говорит Духнович. — Хоть «Гаудеамус игитур» с ним запевай.

Он допрашивает пленного дальше. Мы с Танкистом кое-что понимаем из ответов немца, нам хорошо знакомы отдельные слова его речи, но какие это слова! Лебенсраум... Блицкриг... Иприт... Люизит... На таком языке он изъясняется сейчас с нами, потомок Гете, потомок немецких гуманистов, современный лейпцигский бурш!

Он охотно говорит о газах.

— Та первая газобаллонная атака 22 апреля 1915 года, когда мы выпустили 180 тонн удушливых газов на позиции французов и англичан, вывела из строя всего пятнадцать тысяч человек... Это было детской забавой в сравнении с тем, что мы имеем теперь. Сейчас в наших лабораториях рождается вещество неизмеримо более токсичное. К тому же оно не будет иметь ни цвета, ни запаха, и обнаружить его в воздухе, даже в смертельных концентрациях, практически будет невозможно. Оно вызовет слепоту, паралич нервной системы, целым армиям оно принесет мгновенную смерть, понимаете, — мгновенную!

Глаза у него становятся блестящими, безумными. Ему, видимо, нравится потрясать наше воображение этой таинственной химической мощью. Он смотрит на противогазные сумки, которые висят через плечо у некоторых из нас, и скептически качает головой: не уберегут, мол, не спасут.

А в сумках тех и противогазов-то нет, давно выброшены.

Мне вспоминаются резиновые, похожие на скафандры, костюмы, в которых мы ходили на военных занятиях в университете дегазировать «отравленную местность». Оказывается, и скафандры — не защита.

— От нового нашего газа мир еще не знает защиты... Будут миллионы отравленных.

И это говорит человек?

— Гадина, кобра, — хрипит Татарин, замахиваясь прикладом за спиной у пленного, но я останавливаю:

— Приказа не было.

— А что нам с ним цацкаться? — гневно кричит Заградотрядник. — Чего ждать?

— Подожди,— остановил его Духнович.— С твоей стороны было бы не гуманно...

Эти слова разозлили Васю-танкиста:

— Не забывай, Духнович,— перебил он,— *если враг не сдается — его уничтожают!*

— Но ведь он сдался.

— Сдался? — возмущенно возражает Заградотрядник.— Мы силой, хитростью взяли его. Черта лысого он сдался! Стало быть, «его уничтожают»... А ты, курсант, просто беззубый пацифист...

— Вот видишь, уже и ярлык,— косо улыбается Духнович.— Только меня этим не запугаешь. Беззубый пацифизм не для меня, но и твои методы не пригодны, когда речь идет о жизни какого бы ни было, но все же представителя рода человеческого...

— Ты еще считаешь его человеком?

— А кто он, по-твоему?

— Двухногий зверь! Такой же бесноватый, как его фюрер. Дать бы ему, чтоб и не пикнул...

Я считаю, однако, что это мы всегда успеем...

— День проживет, а там видно будет.

Немец, похоже, понимает, что речь идет о нем, что решается его судьба. Притихший, внутренне напряженный, он вопросительно смотрит на меня своими голубыми арийскими глазами, пока я не говорю ему:

— Шляфен. Спать.

Духнович и немец ложатся рядом. И вот мы все уже, кроме часового,— и окруженцы, и наш пленник — вповалку лежим в сухих подсолнухах, лежим, как в огромной тюремной камере, где вместо стен каменных, вместо потолка низкого — небо высокое, открытое нашим думам.

Когда мне кажется, что все уже спят, неожиданно подползает Заградотрядник.

— Ну скажи, почему ты не разрешаешь прикончить его? Жалеешь?

— Нет, не жалею.

— Так в чем же дело? Принцип?

— Возможно.

— Ох, Колосовский...

Весь день, пока другие спят, распластавшись в подсолнухах, один из нас по очереди сидит над немцем, стережет, рассматривает его, своего смертельного врага, вблизи. Он молод, как в большинстве и мы. Светловолосый, стриженный под бокс, со свежим румянцем на щеках. Видно, от пережитого нервного потрясения он обливается потом, руки у него липкие, как в солидоле. Когда солнце стало припекать, он снял с себя френч, снял штаны, оставшись в одних трусах, подставив солнцу свои хорошо натренированные мышцы. Он часто переворачивается, ложась то на спину, то на живот,— видимо, не спится ему, терзают беспокойные мысли о своей теперешней судьбе.

Когда пришла моя очередь караулить его, немец будто вздремнул, но, заметил я потом, он лишь делал вид, что спит: сквозь приспущенные веки неусыпно следили за мной голубые щелки его глаз. О чем он думал? На что надеялся? Может, только и ждал той минуты, когда меня одолеет дремота, и он, вскочив, бросится в своих трусах туда, где за горизонтом грохочет война.

Неподалеку от нас по степи проходит железная дорога, и, когда приподнимешься, из подсолнухов виден переезд с черно-белым шлагбаумом. Кто опустил его, этот шлагбаум? Враг-оккупант или, быть может, последний наш железнодорожник перед тем, как покинуть

свою степную будку, напоследок перекрыл за собою дорогу на восток?

Там — никакого движения. Время от времени над нами в небе проплывают горбатые самолеты. Никакие шлагбаумы для них не преграда. Грузно идут курсом на восток. Я вижу, что пленный, прищурившись, следит за ними.

— Юнкеры?

Немец утвердительно кивает головой: юнкеры. Бомбовозы.

— Руки бы отсохли у того, кто их выдумал! — говорит, проснувшись, Гришко и обращается к Духновичу, который, оказывается, тоже не спит: — Кто его изобрел, первый самолет?

— Тот изобретатель едва ли думал о войне.

— А тот, который изобрел бомбу?

— Тот скажет, что тоже не хотел.

— А тот, что газы?

— Это вот у него спроси, — кивнув на немца, говорит Духнович. — Ведь и действительно получается чертовщина какая-то, — говорит он после паузы. — Ученые изобретают динамит и делают это вроде бы с самыми добрыми намерениями; делают бомбу, уверяя, что не хотят уничтожения; конструктор строит самолет тоже как будто из самых лучших побуждений. Сконструировали, сделали, а потом — на! — передают в руки сумасшедшему, в руки маньяку, который все эти плоды человеческого гения поворачивает на войну, а ученые, видимо, считают, что они не при чем, что они не соучастники преступления.

Колумб, проснувшись, рассматривает немца в упор.

— Вот интересно, сам-то он хотел войны? Спроси его, — говорит он Духновичу.

Немец, выслушав вопрос, отрицательно качает головой: нет, он не хотел. Отец его, майор, сам задохнулся в газах еще в ту войну...

— А что же его принесло сюда?

— Говорит, его воля ничто в сравнении с волей фюрера!

— Передай ему, — говорю я Духновичу, — фюрер их еще не раз пожалеет, что начал войну. Она обладает свойством бумеранга. Рано или поздно останется от их поганого райха пепел, скажи ему это.

— О! Это было бы ужасно, — говорит немец, выслушав Духновича. — Увидеть готику родного города в руинах, увидеть в руинах средневековые наши соборы, ратушу, старинные дома, памятники, которые стали известны всему миру по гравюрам прославленных немецких мастеров. Майн гот! Пусть этого никогда не будет. Я видел Варшаву, Львов, видел разрушенное ваше Запорожье, меня искренне поразила ваш Днепротэс, это сооружение модерн, которого я не ожидал встретить в скифских просторах... Скажите, это уже Скифия?

Он явно впал в меланхолию. Голос его стал печальным, каким-то надорванным. Поднявшись, пленный сел среди подсолнухов и, боязливо поглядывая на желчного, даже во сне хмурившегося Заградотрядника, начал делиться своими переживаниями, заговорил о том, какое тяжкое впечатление производят на немецкого воина эти безграничные степи, завоеванные и незавоеванные.

— Мы, немцы, привыкли к малым расстояниям, небольшим территориям, а тут у вас все кажется безграничным. Это действует на психику. Мы не привыкли мыслить категориями ваших просторов, и вид этих океанических степей рождает во мне сейчас чувство почти мистическое. Может быть, я слишком интеллигент, но я заметил с некоторых пор, что степь ваша разрушает во мне энергию, убивает воинский задор.

— Это не степь убивает...

— Нам говорили, что мы, немцы, — властелины и идем сюда владычествовать. Но когда мы, наступая на Запорожье, еще за Днепром,

вышли на холмы и увидели перед собой грандиозную панораму Днепрогэса и металлургического завода в степи, я подумал: мой фюрер, здесь будет нам трудно!

— Вот не предполагал, что молодчиков из «Гитлер-югенда» могут мучить такие сомнения, — заметил Вася-танкист, проснувшись и растирая в ладонях подсолнечные листья для закурки...

— Вам может показаться, что я вымаливаю себе жизнь, — сказал немец, взглянув на звездочку на рукаве Танкиста. — Но, поверьте, эти слова мои — искренни. Нам говорили: судьба Германии решится на Украине битвой на Днестре, говорили, что за Днестр мы не выпустим ваших армий, а вы все дальше уходите на восток, а мы — все дальше от райха.

— Ишь ты, разговорился, — вставая, ворчит Заградотрядник и по-матривает на меня. — Почему он еще живой? Ждем, пока удерет?

Собираясь в дорогу, мы начинаем обуваться, немец тоже поднимается. Натянул мундир и теперь сосредоточенно выскабливает расческой из своего арийского чуба пыль и подсолнечную труху. Серьезно, без улыбки следит он, как Гришко раздает каждому из нас паек — уже только по полгорсти сухих наших рационов. Когда получили все, кроме немца, Гришко вопросительно смотрит на меня: давать ли, мол, этому?

Немец понимает: от того, как я сейчас отвечу, зависит его судьба. Если велю дать и ему, значит, он остается жить, если скажу не давать, то это будет означать конец, кажут ему здесь, на месте. Так и стигнет, не получив нашего окруженческого продаттестата. Глаза его, выпуклые, полные голубизны арийской, глядят на меня с ожиданием и даже с грустью какой-то, будто предсмертной. Дам или не дам?

Но в самом деле, что же с ним делать? Вести с собой? Так он же выдаст нас при первом удобном случае, погубит всех. Оставшись с нами, он только усложнит, сделает еще более опасным, еще более трудным и без того тяжелый наш поход. Что же делать? Разумеется, не стрелять. Мне уже представляется, как он будет вырываться, отбиваться, когда хлопцы пустят в дело штыки. Не закапывая, мы бросим его тут в пыли, у этого подсолнечного стойбища. Мы способны на это, и нас не будут терзать угрызения совести: ведь он пришел сюда, неся смерть, и голова его нафарширована смертоносными химическими формулами каких-то новых средств уничтожения людей...

Пленный все смотрит на меня — печально, вопросительно, будто выведывая, что его ждет, пока взгляд его вдруг не падает на Заградотрядника, который с мрачным, свирепым выражением на лице надевает на винтовку штык.

— Бум-бум? — тихо спрашивает пленный, ткнув себя пальцем в лоб. «Убьете, мол?»

Мы молчим.

— Бум-бум?

Он ждет решения.

— Как быть с ним? — подчеркнуто обыкновенным голосом, словно речь идет о самых будничных вещах, спрашиваю товарищей.

— Плюнуть и растереть, — отвечает Заградотрядник с показным равнодушием, чтобы не вызвать у немца подозрения.

Гришко согласен:

— А что с ним цацкаться? Одним ртом меньше будет... Харчей — кот наплакал.

— Да, но это все-таки язык, — говорит Вася-танкист.

Какое, однако, если вдуматься, странное выражение: *язык, взять языка...* Не человек ценен, не разум его, не человеческая его сущность, а только язык, только сведения, которые он может дать.

— Вот этот язык нас и погубит, — стоит на своем Заградотрядник, и я вижу: Татарин и Новоселец — заодно с ним.

Пленный весь превратился в слух. Кажется, он понимает все из нашего разговора по интонациям. Понимает и напряженно ждет.

— Духнович, переведи ему, — обращаюсь я к нашему толмачу. — Вот мы слышали от него о каком-то новом, изобретенном их учеными газе. Известна ли ему формула газа?

Духнович спрашивает, и впервые чуть приметная улыбка искривляет немцу рот.

— Он говорит, что это тайна, что формула газа является собственностью немецких вооруженных сил.

— А ему, ему она известна?

Пленный еще больше кривит губы в усмешке: как хотите, мол, так и думайте; либо известна, либо нет, этого я ни за что не скажу вам, потому что так интересующая вас тайна сохранит мне жизнь.

— По-моему, никакой он формулы не знает, паршивый этот гитлер-югенд, — презрительно бросает Заградотрядник. — Бац-бац — да и пошли дальше.

— Все формулы вылетят, — говорит Татарин. — Все газы в нем перемешаются.

Они жаждут суда. Все мы жаждем суда над ним.

Переглянувшись с Танкистом, приказываю Гришко:

— Дай и ему, этому тевтону, сколько полагается.

— Только гречку зря съест... Больно он нам нужен, этот лишний рот, — ворчит Гришко, но все-таки дает.

Получив маслянистые черные зерна гречки, немец начинает старательно поедать их. Жует, как-то по-телячьи подбирая языком.

А я думаю о том, что решил для себя еще раньше: мы не уьем его, мы поведем его дальше с собой. Офицер химслужбы дивизии, он наверняка знает эту важную тайну, тайну нового страшного оружия. Химик, начиненный формулами смерти, он будет идти с нами. Но не только потому я не уничтожу его, что он ценный *язык*, и не только потому, что существуют какие-то международные конвенции относительно пленных, — фашисты растоптали эти конвенции, и мы знаем, сколько наших пленных они душат по кошарам, пристреливают по дорогам и зарывают живыми в противотанковых рвах. Принципы гуманности, человечности, справедливости для них не существовали и не существуют, но я не хочу быть похожим на них! Он нам сдался. Оружие выбито из его рук. Над таким учинять расправу? Ведь этим я себя и товарищей — пусть частично, пусть на один только миг — поставил бы на одну доску с ним, с фашистом, а я не хочу опускаться до их уровня. Голодные, оборванные, окруженные, мы будем такими, как всегда, мы никогда не станем похожими на них — убийц, строителей концлагерей и фабрик смерти, палачей нашей светлой жизни!

Встаем. Дальше — за подсолнухами, за железной дорогой, куда нам идти, — степь ровная, открытая — выйдешь туда и кажется, увидят тебя на тысячу верст вокруг.

— Сегодня солнце заходит красное, с ушами, — говорит Колумб. — Видите, какие длинные уши-столбы выставило. Значит, быть ветру.

Вскоре мы уже снова в пути. Шагаем в потемках родною степью, сами почти пленные, ведем пленного врага. Всю ночь он будет идти с нами, голод и жажду нашу изведает, и усталость, и почувствует нашу волю пробиться на восток. Будто невидимыми цепями приковала его судьба к нам, а нас — к нему. Мы не можем его отпустить. Мы не можем его убить. Он будет с нами все время как проклятье.

Ночью, когда из глубин космоса проступают звезды, пробиваются к нам скудным светом, мы чувствуем, что идем не просто по земле — идем по планете. Может быть, простор и открытость степей дает нам это ощущение — идем по планете. Несем с собой удивительную уверенность, что из всех творений природы, из всех миров, блуждающих где-то в космической беспредельности, нет лучшего, чем наш — теплая, зеленая планета, созданная для всего живого, для удивительно разумных существ. Воды на ней — океаны. Солнца вдоволь. Идем в земном поясе, где издревле бурно цвела под тем солнцем жизнь. Мамонты когда-то здесь водились. Эллинские мореплаватели стремились к этим берегам и слагали о них золотые легенды. Царства степняков, царства скифские, половецкие ржали тут конями, оставив после себя высокие курганы, размытые дождями, разрушаемые ветрами, но не сглаженные временем. В тех курганах, которые мы собирались исследовать с нашим профессором, ждут нас амфоры невероятной красоты, ждут немые свидетели жизни прошедших поколений.

Небо днем огромное, ночью еще больше. Всей темнотой, звездами, глубинами вселенной открывается над нами. Еще недавно в это небо поднимались радуги весенние, светились сочно; под солнцем дымились после дождя необозримые, посеянные человеком хлеба, и он стоял среди них, словно в океане, радуясь трудам своим, плодovitости земли... А нынче пылают по степям элеваторы, наполненные колхозным хлебом, и небо не в радугах, а в прожекторах и ракетах, и лежат расстрелянные в степи пастухи, колхозные механизаторы и дети — фабзаучники из Николаева, на которых мы в одном месте наткнулись. Они, как и мы, тоже отступали степью, и пули мессершмитов настигли их среди незащищенных степных просторов.

В небе ночном видим далекую красную планету Марс.

— Неужели и там так? — говорит мне Духнович. — Неужели и там это высокоорганизованное существо не имеет покоя, радости, счастья? Как бы хотелось дожить до тех дней, когда человечество вырвется туда, на звездные трассы, пошлет к другим планетам свои космические корабли, освободившись от земного плена... Циолковский считал, что это произойдет еще в нашем столетии. Как быстро развивается человечество! Давно ли еще в этой вот степи скрипели деревянными колесами кибитки кочевников, шатры виднелись половецкие и человек был в возрасте детском, а ныне он — полубог, только какой полубог! Возьми немцев: были люди как люди, цивилизованная нация, а теперь их ненавидит весь свет...

— Не за то, что немцы, а за то, что фашисты...

— Вот они изобретают новое чудовищное оружие, — говорит Духнович, помолчав. — Мы тоже изобретем его, другие тоже создадут, какая же перспектива? Самоуничтожение? Нет, пока это племя, которое населяет землю и зовется человечеством, не осознает себя как единое целое, — не видать ему добра!

— Эта война должна быть последней из всех войн, какие были на земле, — вмешивается в наш разговор Колумб, и я тоже так думаю, потому что я твердо в это верю, — ведь никто из нас еще не знает, что и после этой войны опять нависнет угроза, гигантские атомные грибы вырастут в небе и девочка с другого континента в отчаянье будет умолять: «Мама, увези меня туда, где совсем нет неба!»

Мы, окруженцы, еще не знаем этого. Звездная ночь поднялась над степями, высокая, огромная, и мы идем сквозь нее с верою, что жертвы наши не напрасны, что мы — последнее поколение людей на земле, которое вынуждено взять оружие в руки.

— Даже детей не щадят,— говорит Колумб, видно, вспомнив расстрелянных с самолета фабзаучников.— Орел охотится на зайца, ястреб — на полевую мышь, человеком созданная птица охотится за человеком... Нет, дальше так невозможно. Победа, которую мы добудем в этой войне, должна стать победой над всеми войнами.

— О, если бы это было так,— вздохнув, отвечает Духнович.— Атеист я, безбожник рыжий, но когда смотрел на девчат, там, на птицеферме, на их устремленные куда-то вверх, «в стратосферу», светлые лица, захотелось и самому трехэтажным периодом обратиться к небесам, добиться ответа: «Зачем? Зачем это все?.. Вот эти разрушения... Пожары до небес... Неистовство уничтожения. Разве все это необходимо?» Если говорить о себе, то я до сих пор был больше объект войны, чем ее субъект. Солдат из меня был, кажется, неважный. «Интеллектуалист», ха! Как всякая букашка, я, разумеется, хочу жить, хочу копошиться на нашей грешной планете еще энное количество лет. Но если бы мне сказали: умри, Духнович, это нужно для того, чтобы на земле никогда больше не было войн... Простите мне высокий штиль, но ей-же-ей — я не пожалел бы для этого своей маленькой несуразной жизни. По-моему, каждый человек должен хоть раз достигнуть своего зенита...

Час за часом шуршит кукуруза, по которой мы бредем, шуршат подсолнухи, которые так и остались неубранными, брошенными на произвол осенним дождям, зимним метелям да буранам. Плоды работающих человеческих рук, они утратили теперь свою ценность, никого уже не интересуют и становятся лишь укрытием для заросших, пропыленных, как мы, степных окруженцев. В одном месте натываемся на противотанковый ров и, перебравшись через него, оглядываемся, не потеряли ли немца в темноте.

— Газуй, газуй,— слышим голос Новосельца, который подгоняет прикладом этого спеца по газам, и вот пленный уже белеет возле нас своим соломенным арийским чубом. О том, чтобы вырваться, ускользнуть, удрать, он, кажется, и не помышляет. Держится послушно. И хоть непривычен к таким переходам, старается не отставать, держится ближе ко мне — потому ли, что тут его меньше толкают, или хочет, чтобы я видел его: вот, мол, он, не убежал.

— Что ни говорите,— ворчит Заградотрядник,— не нравится мне его лошадиная арийская физиономия. Не терплю.

— По-моему, у него винтиков не хватает,— слышу позади голос Гришко.— Рехнулся с перепугу. Вы видели днем, какие у него глаза? Глаза сумасшедшего, а на уме — все газы, газы. Он будто угорел от них.

— Может, этот угар когда-нибудь выйдет из него и он еще станет человеком,— говорит Колумб.

— Этот угар, видно, никогда из него не выйдет. Он ему уже и разум помутил...

— Ничего себе будет язык,— ядовито подхватывает Заградотрядник.— Пока приведем, он от страха совсем с ума спятит. Из тихопомешанного буйным станет... Нате, радуйтесь, сумасшедшего вам привезли. Смирительную рубашку на него!

Однако пленный, кажется, еще в своем уме, потому что, услышав во время разговора слово «Колумб», он засмеялся мелким смешком, — его позабавило, что среди нас есть Колумб. Но на его смешок Колумб так ощетинился своими усами, что немец сразу умолк.

А в самом деле, не горькая ли ирония судьбы в том, что среди нас Колумб? Море, разбушевавшееся море войны подхватило нас и бросает из одной опасности в другую. Родные берега, которые по-нашему называются линией фронта, все время перемещаются в пространстве

и, несмотря на усиленную, изнурительную нашу ходьбу, кажется, не приближаются, а, напротив, неумолимо отдаляются от нас на восток. Линия фронта где-то там, в глубине ночи, где с вечера и до утра висят по горизонту, между звездами, огромные осветительные ракеты, которые противник развешивает на парашютах. Мы зовем их «паникадилами» и торопимся к ним, потому что там, где их зажигают, надо полагать, как раз и проходит в эту ночь линия боев.

Немец понимает наше положение, понимает, куда и зачем мы так спешим, и, когда мы на ходу посматриваем на далекие неподвижные ракеты на востоке, за которыми так упорно гонимся, он, кажется, в душе смеется над нами: «Гонитесь! Никогда вам их не догнать!»

«Но ведь и ты в наших руках,— думаю я с ненавистью,— и сколько бы мы ни шли, ты будешь идти вместе с нами, и жить тебе не больше, чем нам».

— Коммунист? — вдруг спрашивает меня пленный.

— Коммунист,— говорю.— А что?

Помолчав, пленный указывает на Колумба:

— А этот?

— Тоже коммунист.

— И тот? — спрашивает о Васе-танкисте.

— И он коммунист.

— Скажи ему,— слышим неожиданно хриплый, прерывистый голос молчуна Хурцылавы,— скажи, что все мы коммунисты с 22 июня сорок первого года.

— И еще скажи,— говорит Заградотрядник,— что будет им крышка. Как бы там ни было, а мы выиграем эту войну.

— Выиграем,— добавляет Колумб,— но никогда не перестанем ее ненавидеть. Так и скажи.

Какое-то время идем молча.

— Представь себе, Богдан,— слышу потом возле себя голос Духовича,— какими глазами посмотрел бы на нас человек далекого будущего... Солнечные, чудесные города. Свободные люди. Жизнь, где войны стали уже только достоянием археологов. И вот оттуда, из тех солнечных городов, смотрят на нас чьи-то глаза: кто они, эти оборванные, изможденные существа, которые в темноте бредут по планете? И сколько еще им надо пройти, чтобы достигнуть своей заветной цели?

Бредем через какие-то заросли — высокие, как бамбук. Это сорго, красное просо, у степняков оно на веники идет. Только стали осторожно выходить из проса, как вдруг — что такое? Музыка где-то поблизости, радио говорит. Не по-нашему говорит. Присев, видим из зарослей, как по открытому полю, которое раскинулось перед нами, движется какой-то огонек, в другом месте виднеется палатка — возле нее радио включено. Слышен смех, музыка, веселый гомон. А дальше в степи темнеет что-то по земле...

— Самолеты! Аэродром!

Да, это самолеты. Мы с ходу напоролись прямо на немецкий полевой, только, может быть, сегодня освоенный аэродром. Огонек — это, видно, часовой фонариком посвечивал, а в палатке вовсю горит свет, без маскировки... Радио слушают, ужинают, жируют в завоевательской своей палатке. Им весело, им спокойно, выставили одного-двух часовых и могут не тревожиться за этот степной аэродром, на который, возможно, только сегодня посадили свои победоносные самолеты.

— Эх, сюда бы мою машину,— шепчет рядом со мной Вася-танкист.— С каким наслаждением походил бы я гусеницами по ихним хейнкелям.— И вдруг поднимается.— Знаешь, я пойду. У меня есть гранаты. Я подкрадусь, подползу...



Мы накоротке совещаемся и решаем: да! нападать! В помощь Танкисту вызывается Татарин. На поясе у него кинжал-штык, и я знаю, как он умеет им орудовать. Пойдут двое, остальные будут прикрывать их отсюда.

По борозде они отползают от нас в ту сторону, где ходит часовой.

— А как же с этим? — тихо говорит возле меня Заградотрядник. Это он о немце, который неподвижно лежит между нами. — Я заткнул ему кляпом рот, чтобы не крикнул, но ведь этого же мало! Как сиганет, разве его удержишь, в два прыжка будет у своих!

Пленный лежит, не шевельнется. Я чувствую напряжение его тела. Все мышцы его напряжились, он весь подобрался, как перед прыжком, а глаза уже там, где музыка, где спасение... Но пусть только попробует. Вот он шевельнулся на локтях, и в то же мгновение чей-то штык уже снова прижал его к земле.

Мы берем на прицел вражеский этот шатер с его светом, смехом, проклятый этот завоевательский шатер, так нагло разбитый в нашей степи. Напрягая зрение, ждем. Мы отлично сознаем всю опасность, мы впервые, находясь в окружении, обнаруживаем себя, но ведь такой случай, и мы не безоружны, мы готовы к этому бою, чем бы он ни кончился для нас. Товарищи растаяли в темноте, а часовой ходит. И вдруг его не стало: упал, даже не вскрикнув.

— Кончили, — шепчет Заградотрядник.

Когда первая граната рванула самолет, мы залпом открыли огонь по палатке. Одним духом я разрядил весь диск. Пока вставлял второй, между темными силуэтами самолетов снова вспыхнуло пламя, громыхнули два взрыва — один за другим. Панические выкрики, стрельба, ракеты тут и там рвут темноту. Мы ведем огонь по самолетам, по палатке. Мы не сойдем с места, пока товарищи не вернуться.

Неподалеку слышим из темноты стон, и я с Духновичем бросаюсь туда. Это Танкист.

— Я ранен... Возьмите меня.

Мы тянем его в нашу бамбуковую чашу.

— А где Татарин?

— Татарина нет. Он убит.

Через несколько минут мы уже поспешно отступаем в глубину степи через просо, через подсолнечники. Оглянувшись, видим, как зарево встает над аэродромом: горят самолеты! Горят!

Слышим за собой шум тревоги. В небе разливается мертвенный свет ракет, прошивают темноту пунктиры трассирующих пуль... Лихорадочно отходим все дальше, а немцы выпускают и выпускают вслед нам ракеты, но до нас они не долетают.

Танкиста мы несем на плащ-палатке, несем вчетвером, и немец несет, тяжело дыша, крепко ухватившись за один из концов.

Раненый стонет все сильнее, он истекает кровью, его нужно немедленно перевязать. На пригорке возле скирды мы останавливаемся. Отсюда хорошо видны костры пылающего аэродрома. Стрельба там все еще не прекращается, ракеты взвиваются в небо.

— У кого есть индивидуальные пакеты?

Торопливо разрывая пакеты один за другим, принимаемся с Духновичем перевязывать Васю-танкиста. Сейчас хоть как-нибудь, днем разглядим, перевяжем лучше. Раны на спине, на ногах... Мы уже заканчиваем перевязку, как вдруг Гришко, возившийся у скирды, оглушает нас новостью:

— Бомбы! Целая скирда авиабомб!

Взволнованный, он рассказывает, как выдернул из скирды сноп и рука его наткнулась на какой-то решетчатый ящик, и под ним еще и

еще ящики, а в ящиках — бомбы. Мы бросаемся к скирде, раскидываем солому и видим: бомбы, бомбы. Целая гора авиабомб!

— Наши, наша маркировка.— присмотревшись, говорит Новоселец.— Точно такие штуки наш завод вырабатывал, я еще этой весной сопровождал их в разные концы по железной дороге.

Похоже, завезли их сюда для степного аэродрома совсем недавно, торопливо свалили ночью, замаскировали снопами... Так наши и не успели ими воспользоваться. Теперь воспользуются другие, как только обнаружат. А обнаружат непременно. От аэродрома все взлетают и взлетают ракеты, мне уже кажется, что они падают все ближе. Нужно уходить!

— Взять раненого!

Команда касается и Духновича, но он не трогается с места.

— Это нужно уничтожить,— вдруг говорит он глухо.

Мы понимаем его. Он о бомбах. Об этом складе черных, начиненных смертью бомб, что не сегодня-завтра, если их так оставим, будут пущены в ход...

— Как ты их уничтожишь, курсант? — спрашивает Заградотрядник.— Чтобы их подорвать, нужен патрон с детонатором, несколько метров бикфордова шнура...

— У меня есть граната,— говорит Духнович упрямо, с каким-то даже раздражением.

Я знаю, в противогазной сумке у него есть граната — последняя граната, которая осталась у нас на всех.

Да, граната может начать, и тогда пойдет само... Но кто бросит? И что будет с тем, кто бросит? Не успеет отбежать. Будь он даже птицей, не успеет отлететь...

Вдруг в лощинке, где все чаще взрываются ракеты, явственно слышим собачий лай. Погоня! Лай овчарок. Это нас травят, преследуют.

— Уходите, я прикрою! — Духнович выхватывает гранату из сумки противогаза.

— Дай сюда гранату,— говорю ему.

— Не дам. Ты иди. Тебе вести людей... Я догоню! Идите! — кричит он на всех. И чтобы вывести нас из оцепенения, прямо при нас выдергивает предохранительную чеку. Теперь только стиснутыми пальцами он сдерживает слепую силу взрыва.

Ракеты падают все ближе, собачий лай нарастает. Кажется, не собаки, сами враги лают, гонясь за нами...

— Взять раненого!

Снова вчетвером мы подхватываем его и, отдаляясь, видим возле темной скирды бомб темную одинокую фигуру человека. Он сказал: «догоню». Зачем он сказал «догоню»? Ведь он хорошо все понимает. Некоторое время я вижу в полумраке сутулую, совсем не воинственную фигуру Духновича. Эта сутуловатость оттого, что много дней и ночей гнулся он над книгами в библиотеках.

Спустившись с пригорка в заросшую густой полынью долину, кладем раненого, останавливаемся передохнуть. Ждем взрыва, но его все нет. Отсюда нам хорошо видны на пригорке скирда, то и дело освещаемая ракетами, и сутуловатая фигура человека, застывшего против нее. Ракеты и приближающийся лай собачий будто вовсе не касаются Духновича, он, как изваяние, стоит против той огромной скирды, в которой вместо снопов золотых, колосистых бомбы на бомбах лежат — кажется, вся война собралась в ней со всею своей смертоносной силой, бессмысленностью и ужасом...

— Боже, какой хлопец! — тихо говорит Колумб, стоя возле меня, и я так же думаю о Духновиче: какой он прекрасный! Как много мне хочется сказать ему! Такого друга, видно, уже не будет никогда у меня в жизни...

И в это мгновение там, где была скирда, земля изверглась в небо огнем, и грохот потряс земные недра до самых глубин. Ни ракет уже, ни лая, только пламя и удары, удары из недр...

Упав в бурьян, на эту горькую полынную планету, стискивая зубы, чтобы не разрыдаться, мы все ждем чуда — ждем, что из того грохота, из того бушующего огня появится перед нами знакомая сутулая фигура, ждем, хотя знаем, что Духнович никогда не появится больше.

## 55

И снова идем.

Боль утрат, и дух степей полынный, и Днепра синеву, и чистые, как юность, рассветы — все забрали с собой и все несем на восток.

Думаю о тебе, далекая моя любовь. Была ли ты на самом деле? Или я выдумал тебя? Нет, ты была, ты и сейчас есть по ту сторону всего этого ужаса, который нас разделяет. Жди, мы выйдем. У каждого из нас в сердце такой заряд любви и нежности, который выведет нас из этого ада.

Сильные духом, помнишь ты такое выражение? Тогда мы как-то по-книжному представляли себе таких людей, а за это время скольких я видел их, вижу рядом с собой и сейчас. На вражеские танки они бросались за Днепром с зажигательными бутылками, грудью вставали на защиту Днепрогэса, держали рубежи, которые, казалось, удержать невозможно. Но, может быть, ярче всего эта сила духа человеческого раскрывается для меня вот здесь, когда мы, отрезанные от своих, в далеком окружении, идем полями под ничейным небом, не подвластные никому, кроме самих себя. Слово вне времени идем, не зная, что делается на других фронтах. Цель наша где-то в тумане, за мраком ночи, но мы готовы всю жизнь идти, лишь бы достичь ее. Мало у нас оружия, но самое верное закаленное оружие в нас самих, в нашей воле, в наших сердцах.

Ветер ночной шелестит в посадках и впервые после стольких ночей доносит до нас отдаленный гул. Это гул фронта. Тревожное, в сполохах небо алеет на горизонте, и на его фоне явственно проступают — ближе и дальше — скирды, разбросанные по степи, и все они нам кажутся теперь складами замаскированных авиабомб. На севере шуршат под ветром без конца и без края темные поля кукурузы. И вдруг замечаем там силуэты людей! Множество людей в кукурузе, на стерне. Только мы их увидели, тотчас они исчезли. Залегли. Залегли и мы.

— Эй, кто там?

— Свои.

— Что за люди?

— С окопов люди. А вы? Вы — наши?

— Наши.

И лес людей встал. Мы сходимся все ближе. Все они с лопатами. Насколько проникает глаз в темноту — люди и лопаты. Бороды, сумки, шапки, картузы... Целая армия землекопов окружает нас. Наперебой рассказывают, как копали противотанковые рвы, сооружали полевой аэродром до последнего дня, а потом была им команда отправляться в ближайшие военкоматы; пошли, а военкоматов уже нет — снялись и выехали; гнались за последним военкоматом от села к селу; они туда, а его уже нет, они дальше, а он еще дальше...

— Сколько вас?

— Много. Возьмите нас с собой. У вас ведь компас... — Передние

глядят на светлячок компаса, который фосфоресцирует у меня на руке. — Возьмете?

Они ждут нашего ответа.

А я думаю, что без них выходить нам будет легче — мелкими группами пробираться безопаснее. Так что же, бросить вас в беде? Бросить тех, которые, быть может, завтра станут солдатами наступления, бойцами победных битв?

И я говорю им:

— Мы вас берем.

Когда трогаемся, все поле за нами шелестит. Уже не разберешь, где ветер ночной шелестит, а где люди, которые идут за нами в темноте, лавиной идут.

Гул фронта приближается, пожары растут. Нигде я не видел таких пожаров, как в эту ночь. Кажется, сама земля горит на горизонте, тревожным багряным светом наполняя всю эту гудящую ветрами степную ночь. Плающие степи, плающие города, тревожно-багровое небо над нами — может, все это видно даже жителям других планет? Может, и оттуда видно в сверхмощные телескопы колоссальное опустошение, что охватило нашу родную землю в 41-й год XX столетия?

Сквозь просветы в тучах — звезда далекая, планета красная Марс. Кровавый тот Марс, который видел столько войн, сколько он еще их увидит?

А может, эта — все-таки последняя? Наверное, после каждой войны человечество думает, что она последняя. Но ведь когда-нибудь должно же это кончиться? Может, рождается уже то счастливое поколение, которое не будет гибнуть в войнах, ступит на поверхность иных планет и там утвердит вот это знамя, что сейчас несет Колумб под железным своим плащом.

Идем, идем. Как торпеды, пройдем сквозь эту степь, сквозь вражеские аэродромы, засады, сквозь все опасности, что встретятся на нашем пути. Кажется, стоит только выйти — и уже не будет войны. Кажется, стоит только пробиться, и перед нами, как с высокого перевала, откроются далекие коммунистические века. Кто из нас пробыет? Кто из нас погибнет в этих окруженческих, заревами охваченных степях? Может, всех нас ждет за тем вон бугром смерть? Или не в одних еще будем боях, и будем пропадать без вести, и будем пить воду из болот, и будем гибнуть в концлагерях, оставаясь и там твоими солдатами, Отчизна.

Но даже погибая, будем твердо верить, что после нас станет иначе и все это больше не повторится, и счастливый человек, разряжая в солнечный день победы последнюю бомбу, скажет: это был последний кошмар на земле!

1958—1959.

*Авторизованный перевод с украинского  
М. Алексеева и И. Карабутенко.*



---

Евгений Пермяк

# Шоша шерстобит

РАССКАЗ

Эту маленькую историю я записал со слов Сережи Шерстенникова. Сергей Николаевич Шерстенников, ныне почтенный главный агроном большого целинного совхоза, был в давние годы, как и я, продовольственным работником в тех же степных местах.

Сергей Николаевич не принадлежит к числу торопливых рассказчиков. Он любит начать издалека, вернуться в прошлое и уклониться в сторону, чтобы показать своих действующих лиц со всеми сопутствующими им деталями. Все это хотя и замедляет развитие действия его рассказа, но все же не перегружает его.

После таких оговорок я могу предложить вам сокращенную редакцию рассказа «Шоша шерстобит», который, на мой взгляд, было бы правильнее назвать «Трудные характеры», но дело не в названии.

Итак, предоставим слово Сергею Николаевичу...

Зимовал я тогда у вдовы Мокшаровой. Я любил этот просторный старожильский дом-сундук. В нем все было добротное: и стены, оклеенные обоями, и крашеные полы, и сравнительно большие окна. Нравились мне и синие двери, расписанные невиданными цветами и «райскими птицами».

Эта роспись принадлежала отходникам-владимирцам. Они, как и многие «расейские мастера», покидая зимой родные губернии, отправлялись в Сибирь за большим рублем на жирные мясные харчи.

Появление «расейских мастеров» в доме Мокшаровых, как, впрочем, и во всяком другом сибирском доме, приносило оживление, новости, неслыханные истории, песни и сказки. Мастера-отходники шили шубы, суконную одежду, катали валенки, овчинничали, шапошничали, богомазничали, стекольничали, шорничали, сапожничали... Даже случились мастера, которые высекали новые зубья на старых пилах, «лечили» посуду, паяли, лудили. Эти приходили обычно на день, на два, и с ними не завязывались отношения.

Другое дело шубник. Пять-шесть шуб для семьи — это добрые десять дней работы. Или — пимокаты. Уж если они поселились — раньше двух недель не уйдут. Как не скатать двухгодичной запас пимов-валенок? А тут еще малосемейная родня пристаёт: «Пущай ужо ска-тают заодно и нам. Не звать же к себе из-за трех-то пар».

Вот и живут пимокаты месяц в облюбованном доме, чтобы баню не студить, чтобы заново не прилаживаться. Пимокаты — гости долгие и желанные. Особенно у Мокшаровых, к чему было немало причин. Об этом и рассказ.

Старуха Степанида Кузьминична Мокшарова ждала пимокатов еще по первому снегу, а они пожаловали среди зимы следом за шубниками, когда, как говорится, еще овчинные лоскутки с пола не под-мели. Явились вдвоем.

Один из них был худой испитой старик. Звали его Федор, по фамилии Чугуев. Другой — цветущий застенчивый парень с синими глазами, светловолосый. Лет двадцати. Звали его Шоша. Каким было его настоящее имя, я так и не удосужился спросить.

Пришли они как старые знакомые. Обмели в сенцах голичком снег со своих валенок, поставили в сторонку «струмент», а потом вошли.

— Опять, видно, морозам быть. Выяснивает. Три кольца вокруг месяца, — сказал старик, как будто он был здесь не два года тому назад, а всего лишь отлучался на несколько часов.

— Милости просим, — поздоровалась с ними Мокшариха. — Много ли песен-басен из «Расей» понавезли? Разоболокайтесь! — указала она на деревянные спицы-вешалки, а затем крикнула в большую горницу: — Настя, гоноши самовар. Веселый шерстобит приехал. Совсем уж на мужика смахивать начинает...

Выбежала младшая дочь Мокшарихи. Выбежала и зарделась.

— Шошка! Ишь ты какой! Встреть бы тебя на базаре, так бы и не признала. Здорово живем, шерстобит...

Настя протянула Шоше свою тонкую, не как у старших сестер, руку, потом поздоровалась со стариком.

— Все еще «тошшой»?

— В бане, касатка, работаю. В пару. Пар хоть и костей не ломит, да и мяса не копит. Да и ты, девка, погляжу я, не круглая. Видно, мать худо кормит. Кто только тебя, такую мощу, замуж возьмет?

Эти добродушно и шутливо сказанные слова не очень понравились Степаниде. Настя для Мокшарихи была ее второй юностью, зацветшей куда лучше, чем первая. И эту свою вторую и последнюю в ее жизни юность она оберегала как самое дорогое, что у нее осталось.

— Тоща моя моща, а от сватов отбоя нет, — сказала она как бы между прочим.

На этом и кончился обмен приветствиями. Настя убежала в «белую кухню», прирубленную к дому, а Мокшариха стала готовиться к приему гостей.

«Расейские мастера» обычно гостями не считались. Но Федор Чугуев бывал у Мокшаровых издавна. Знал он Мокшариху и в «ягодную пору» ее жизни. И та будто бы звала по вдовьему положению Федора Чугуева в свой дом. А он не захотел променять горемычную долю хозяина утлой избушки в Калужской губернии на полную чашу не им нажитого мокшаровского дома.

Пока старый Федор приводил в порядок свою серенькую бороденку, пока расчесывал свои редкие сивые волосы, старуха открыла сундук и тут же, как это было принято и в других семьях, стала переодеваться в положенное для приема гостей.

Она скинула расхожую сборчатую ситцевую юбку, оставшись в рыжей суконной домотканой юбке с тремя белыми каймами по подолу,

затем сняла кофту, расправила полурукавье на добротной холщовой рубахе и начала одеваться.

На старухе появилась семиполосная кашемировая юбка цвета темной вишни. Надевая ее, она заметила Федору:

— Держится еще на мне. Не спадывает.

А тот шуткой на шутку:

— На тебе ли, Степанида? А не на пяткѣ ли юбок, что ты понавздевала на себя для басы, для красы, для мягкости?

Степанида Кузьминична ласково огрызнулась — «тьфу тебе» — и стала надевать светло-вишневую блестящую сатиновую кофту. Расправив воланы, она вынула из сундука цветастый полушалок и ушла в другую горницу, явно не желая показаться перед Федором простоволосой.

А я сидел себе, покуривая да будто перебирая бумаги в своей сумке, наблюдал стариков.

Мокшариха вернулась в полушалке. В новых валяных котях. Помолодевшая. Повеселевшая.

— Все еще ношу твою памятку, Федор. Видно, ты в них тайное слово закатал,— кивнула она на коты.— Как заговоренные. Насте нынче скатай такие. Мягко ей в них будет ходить по двоедановскому-то крашеному полу.

— Выходит, значит, Настенька? — спросил Федор.

— Время уж. Двадцатый. И то заневестилась...

— За которого? За «Рыжего боровка» или за «Косую сажень»? — спросил Федор.

— А ты откуда, Федор, двоедановских ребят знаешь?

— Не одни, чай, Мокшаровы в пимах ходят? Катывал я их и Двоедановым.

— И как они тебе?

— Верткая семеечка. Умеет старый Двоеданов ветер нюхать. Колчака, сказывают, встречал с иконами, Красную Армию — со знаменами. Немого батрака усыновил. Чтобы по налоговому списку в середняках удержаться. И не прискребешься. Теперь Настину красоту худорному сыну выглядел. Тоже не прискребешься...

— Будет тебе, чего не надо,— прикрикнула Мокшариха на раскодившегося Федора.— Хвати лучше с дороги-то... Давно она тебя за божницей ждет... Настоянная...— А потом, посмотрев на меня, старуха разъяснила: — Пимокаты, они не одну шерсть валяют... Тенета тоже плетут... И что в том плохого, коли Двоедановы немтыря Тишку усыновили да на принятой в дом племяннице его оженили. Живет он как сын, а она как дочь...

— Живет как дочь, только ее детки не в отца, а в дедку. Точь-в-точь в Кузьму Пантелеевича...

— Тьфу! — еще раз плюнула Мокшариха и побежала, услышав веселый смех Насти, на кухню.— Настька! Ты что зубы скалишь... Брысь от нее, шерстобит. Она же без трех минут мужняя жена...

Пока Мокшариха беззлобно распекала Настеньку, Федор привычно сунул руку за икону и добыл бутылку с полынной настойкой.

— Ото всего лечит! — сказал он, приглашая меня к столу.— Не худо, парень, с морозца-то.

Я не отказался. И пока «гоношили» самовар, пока добывали из печи утренние блины, пока грели мороженые калачи, мы ополовинили штоф. И когда Федор выяснил, что у нас с ним о Двоедановых общие «точки» и что, по его мнению, я оказался со второй же рюмки «парнем с головой», он сказал:

— Добудь только шерсти, я тебе что хочешь скатаю. Копейки не возьму.

Мне тоже понравился старик. Понравился, может быть, тем, что он пусть не очень гладко, зато коротко и ясно умел выражать свои мысли. Двоедановых он ненавидел «на смерть», «по гроб жизни», как «черную чуму», как «белую тлю», как «осиный мед» и, наконец, как «сибирскую язву на теле пролетариев всех стран и трудовых крестьян».

У Федора Семеновича Чугуева не было ясно выраженных политических взглядов. Неграмотный, измученный нуждой и горем вдовец, потерявший двух сыновей на войне, назвавший внуком сироту, старик хотел справедливости на земле и установления сравнительно простых порядков, которые кратко состояли в том, что «правильная жизнь начнется только тогда, когда никто не будет есть незаработанного хлеба».

Двоедановых я тоже знал достаточно, останавливаясь у них на день, на два по делам продовольственного налога.

Мне всегда претило двоедановское гостеприимство. От спанья на двух перинах до приторного угощения: «А не пожелает ли дорогой гостенек отведать икряного пирожка с румяной корочкой»... Мне даже противно было пользоваться исключительным правом курить в их доме.

— Кури, голубь, кури, — предлагал рыжий, розовый, пышущий здоровьем старик Двоеданов. — Нынче все к одной вере клонятся. Вот он теперь, спаситель-то наш, — указывал старик под образа, на ленинский портрет, перерисованный до неузнаваемости карандашом на листке из тетради в клеточку.

Но между тем комиссар всегда наказывал мне останавливаться в двоедановском доме. И в этом был резон, потому что по старику Двоеданову равнялась значительная часть деревни и в том числе кулацкие слои. Двоеданов иногда оказывал нам неоценимые услуги по самообложению. Он умел находить нужные слова и убеждать даже матерых мироедов: «Не подмогчи советской власти нельзя, потому как она одним на утешение, другим за прегрешения послана господом». И это действовало.

Двоедановская семья состояла, если считать детей, человек из двенадцати. Сыновей Кузьма Пантелеевич не отделил. А их было четверо.

— «Кумьмынией»-то способнее жить... — говаривал он. — Больше вспашешь — лучше сожнешь. И товарищам люблю, и нам хорошо.

Зерно Двоедановы никогда не припрятывали. Посевы не скрывали. А сеяли они до четырехсот и более десятин. Зерно вывозилось ими первыми по волости. Мясо поставлялось аккуратно. Крупного рогатого скота у них было до пятидесяти голов, включая сюда молодняк. Столько же овец. Птица не считалась. Это было худой приметой.

— Зимой брюхо скажет, сколько гусей-уток с озера пришло. Весной птицу только дураки да жадные считают. А у меня душа нараспашку... Бери, коли есть...

Так вел себя Двоеданов наверно потому, что это был единственный способ просуществовать «до лучших времен». Понятие «лучшие времена» тоже толковалось по-разному. Мне оно толковалось как те времена, когда люди прикончат войны, когда будет в досталь хлеба и мяса. «Не прискребешься», — как правильно сказал старик Чугуев. И вообще у Двоедановых не к чему было прискрестись... На все находился ответ.

Двое старших рослых, крепких сыновей Двоеданова служили у Колчака. Боевали чуть ли не до Иркутска.

— А что делать? — жаловался Двоеданов. — «Мибиллизация»... Куда деться... Спасибо, что живыми остались...

Старшие сыновья — Егор и Пантелей обычно молчали. Выглядели послушными, беспрекословными. А что у них было на душе — кто знает. Со мной они были обходительны. Зазывали даже на охоту. Тот



и другой либо не стреляли, либо били без промаха. Били с остервенением.

Посмотришь, как целится Егор или Пантелей, и подумаешь: «Из кого же состояла колчаковская армия, успешно продвигавшаяся первое время на запад? Неужели все из «мобилизованных»?»

Жен своих Егор и Пантелей держали в строгости. Особенно после того, как овдовевший старик Двоеданов попробовал пошутить со старшей снохой. С женой Егора. Та не оробела и ударила свекра. А Егор сказал отцу:

— Тятя, я хочу, чтобы ты еще пожил!..

А потом, посоветовавшись с Пантелеем, он запряг лошадь и уехал в Малую Куропатку. Оттуда он привез двоюродную племянницу Дарью. Кому и через кого Дарья доводилась двоюродной племянницей — никто толком не знал. Осиротевшую дородную деваху, батрачившую по новосельским деревням, приставили ходить за стариком. Но вскоре ее пришлось выдать за немого работника Тихона, усыновленного Кузьмой Пантелеевичем.

От Дарьи пошли рыжие дети. Тогда «заговорил» и чернобородый немой: Тихон показал нож третьему сыну Двоеданова — рыжему Яшке. Показав нож, он указал на шею. Яшка, по прозвищу «боровок» — тупой и недогадливый парень, пожаловался отцу.

Рыжий отец был рад ложным подозрениям немтыря и вскоре женил Яшку на писаной красотке Феклуше, вывезенной из кержацкой рыбацкой деревни с озера Чаны. Одаренная и обласканная Двоедановым, Феклуша решила променять одни сети на другие, которые ей, видевшей на своем веку разное, пришлось по душе.

Феклуша в двоедановском доме заменила Дарью по уходу за свекром. К дому прирубили две горницы, в которых поселились Яшка с молодой женой и старик. Теперь как бы отпочковалась новая семья. Яшка-боровок был настолько туп, что даже не придавал значения, когда Феклуша, обожавшая Кузьму Пантелеевича, сидела у него на коленях.

— Отец ведь! — говорил он мне. — Мою Феклу он изо всех снох любит. Опять шаль ей купил...

А может быть, Яшка, по-собачьи преданный отцу, зная обо всем, не только не противился сложившимся отношениям между Феклушей и отцом, а, боготворя его, считал все это правильным. Никто не знал, как была устроена душа этого, вечно улыбающегося, довольного всем «блаженненького» человека.

Говорят, что Феклуша, ошеломляемая неведением мужа, становилась перед ним на колени и шептала:

— Ты божий человек, Яков! На тебя молиться надо...

Я и сам слышал подобные признания Феклуши. А потом тут же, как только Яков уезжал на пашню или отправлялся на заимку за сеном, Феклуша перепархивала в соседнюю горницу, к Кузьме Пантелеевичу, и говорила ему:

— Ты дьявол! Ты сам сатана! Ты котел огненный! Рыжий туман...

Все это было известно и Федору Семеновичу Чугуеву. Слушая его, я будто перечитывал мрачную книгу и удивлялся, как может Степанида, так любя свою последнюю дочь, отдать ее в двоедановскую семью.

— Теперь-то уж что говорить, — сказала Степанида за ужином. — Хоть и не давала я им слова, а от сватовства не отказывалась. Приедут — не выгонишь. Посмотрим. Подумаем. Не они одни сватаются. Есть из кого выбирать.

— Оно, конечно, — соглашался Федор. — Сватовство — не воровство. Смотрины — не обрученье. Только зря это все.

— Зря не зря, а так надо, — настаивала Мокшарова на своем.



Владимир  
МАСС

Портрет В. Луговского

Портрет

## ПИСАТЕЛИ — ХУДОЖНИКИ

Владимир Масс и Виктор Гончаров до сих пор были известны как литераторы, поэты.

Теперь мы знакомим читателей нашего журнала с их живописными и скульптурными работами.

Среди московских писателей немало и других, кто увлекается живописью, скульптурой, графикой. Это — С. Городецкий, Б. Евгеньев, О. Колычев, Ф. Кравченко, В. Левин, И. Рахилло, П. Радимов.

С творчеством этих писателей-художников с большим интересом ознакомились посетители выставки, организованной недавно в Центральном Доме литераторов.





Девушка  
в венецианском  
костюме



Девочка в желтом платье



Создание фрески

Виктор ГОНЧАРОВ

Дух дерева



Индианка



Этюд



Портрет матери



Индус в чалме



Темная сила

— Ну надо, так надо. И говорить больше об этом нечего.

Федор умолк и допил последнюю чарку.

— Сказал бы хоть что-нибудь, старый пьяница, — сделала замечание Степанида. — А то как в кабаке пьешь, без пожелания.

— А что желать? Кому желать? Еще не так пожелаешь — и взащей выгонят. Мы ведь с Шошкой, что пешка с шашкой. Куда задвинут, там сидим.

— Да будет тебе, Федор, бедную вдову обижать. Я тебя как весенний день ждала, а ты сентябрь-сентябрем... Давай закуси лучше творожной шанежкой. Она тебе больше по зубам, нежели мой норов...

Федор не удостоил Степаниду ответом. А Шоша и Настя, не слыша ничего, разговаривали глазами куда выразительнее, чем старики, высккивавшие острые слова друг против друга.

Настя будто купалась в голубых лучах Шошиных глаз и, ни от кого не скрывая, дарила ему свое внимание:

— Ты еще вот эту косточку, Шошенька, огложи. Лучше петь будешь. Да допей молочко-то. Сама томила его. Выпьешь и тоже томиться начнешь...

— Брысь ты, Настя, — оговорила дочь Мокшариха. — Затуманишь мальцу голову, он и поверит...

— А что ему, маманя, верить или не верить. Кудри себе цену знают. Ишь какие они... Из кольца в кольцо. Того гляди баран забодает...

Сказав так, Настя стала гладить Шошины волосы, и старуха, глядя на это, будто вчуже сказала:

— Вот они ноничь какие пошли. Задержи такую в девках — и опомниться не успеешь, как она из его кудрей себе удавку сплетет...

Тут Настя посмотрела на мать и весело сказала:

— Только бы остричься он дался, а «ково-чево» надо из кудрей сплести, сама бы догадалась...

Федор вдруг оживился, весело захохотал и крикнул:

— И-и эх, Настя!.. Где мои семнадцать лет? — А потом запел:

Ой, да где мои семнадцать лет?  
Ой, да где ты, где ты, маков цвет?  
Отгорел, облетел, поосыпался,  
Поразвевался...

Федор пел глухо да сердечно, выводя до последнего завитка узор песни, которую я слышал впервые. Но не впервые, видимо, слышала ее Степанида Кузьминична. Она вдруг тоже расчувствовалась и подхватила сначала дребезжащим, а потом зазвучавшим в полную силу голосом:

Отцвела в лесу черемуха,  
Сгасла алая заря...

Меня растрогала эта песня и поразила каким-то особым отчетливым, как в маршевых строевых песнях, ритмом. Отгадка нашлась к утру.

Утром меня разбудила певучая струна молодого шерстобита Шоши. Туго натянутая жильная струна, рыхля шерсть, хотя и пела на одной ноте, все же она, звуча то громче, то тише, будто силилась выговорить слова какой-то песни, похожей на вчерашнюю. И я понял, что и Федор Чугуев, начиная свой трудовой путь таким же молодым шерстобитом, добыл подобие музыки из такой же струны.

Позднее я узнал от Федора Семеновича, что струна шерстобитного «струмента» натягивалась то туже, то слабее, в зависимости от того, какой была шерсть. Если шерсть слежалась, струна натягивалась

сильнее, звучала выше, от этого менялся и ритм работы, а вместе с ним выговаривалась и другая песня.

Федор Семенович сам придумывал эти песни под свою струну. Теперь это делал его приемный внук Шоша.

Пока еще было темно и Шоша, задув семилинейную керосиновую лампешку, которую возил с собой на случай, «ежели у хозяев нет огня», бил шерсть «на слабой струне», чтобы не будить спавших. Когда же, где-то далеко-далеко, чуть ли не над Алтаем, забрезжил неторопливый рассвет, Шоша перешел на тугую натяжку струны и веселые наговоры:

Ах трпруны, трпруны, трпруны.  
Голос звонкий у струны  
На всю горницу поет,  
Выговаривает,  
Чаю требует...  
Ты, хозяйюшка, вставай,  
Жирну кашу подавай...  
Как без каши петь струне  
На чужой на стороне...

И так минут на десять без передышки насбирывает-наговаривает Шоша все, что ему приходит в голову.

Настя уже встала, затопила печь. Из кухни пахнет блинами. Это распространенное старожильское блюдо подается не только на масляной неделе. Настя успела дважды забежать к Шоше. Один раз с блином, а другой просто так — дернуть его за ухо.

Что будет дальше? Как повернется эта новая встреча Шоши и Насти, я не мог тогда представить себе даже приблизительно. И мне не хотелось уезжать в далекое село Ключи, боясь, что без меня случится непоправимое, хотя мое присутствие в доме Мокшаровых, наверно, ничего бы не изменило.

Пробыл я в отъезде более десяти дней и вернулся накануне рождества.

Рождество в Заозерске едва ли даже отдаленно можно было назвать церковным праздником. И не только потому, что самая ближняя церковь отстояла в сорока километрах и поп здесь бывал раз в году по сухой дороге, в теплые дни.

В моей памяти заозерское рождество сохранилось хмельным зимним праздником живота, праздником еды и гулянок. Здесь даже не славили Христа. Холодно. Да и не знали слов прославления дня рождения своего бога. И откуда их знать? Даже Мокшариха, старая женщина, молилась без канонических молитв, выдумывая их сама, как Шоша выдумывал песни. Она молилась просто: «Господи Иисусе Христе и пресвятая богородица, пошлите свою благодать...» и далее следовало: кому и какая испрашивалась благодать... Себе, Насте, пашне, занедужившей корове или овце.

С богом отношения у заозерцев были простые, деловые, даже, я бы сказал, с языческими пережитками. Зять Мокшарихи — Степан прямо сказал ей, когда подохла стельная корова:

— Так какого же лешего твой Микола смотрит. Мало ты ему масла в лампадке сожгла. На кой ляд его в большой горнице держать. Переверь на «куфню».

...Вернулся я еще засветло. В печке досиживали последние пи-роги.

— Не едим, не пьем, сумерничаем, — сообщила мне Настя, проведя меня в горницу. — Звезду ждем. Садись с нами. Сбочку. Я в середочку, промежду вас. Так-то теплее. Шошка-то уж напробовався и баранины и телятины. Шерстобиты, они без поста живут. Садись, — еще раз пригласила Настя, — да обейми, пока не поздно. Утресь, мо-

жет, Двоедановы приедут. Шошка то уж всласть наревелся. Всю кофту мне слезами просолонил.

Я подсел на сундук вместе с Настей и Шошей у горячо натопленной печи. Подсел и спросил:

— Зачем ты так, Настя! Если не любишь его, так хоть не тирань...

— А кого мне тиранить, если не его, — ответила Настя. — Увезут вот к Двоедановым, тогда уж поздно будет... Сама в тиранство попаду... У меня, может, и остается только два дня жизни.

Шоша громко вздохнул. На это Настя громко расхохоталась.

— Да не вздыхай ты, не вздыхай... Неужто я брошу тебя? С собой возьму. В мешок покладу вместе со струной. Как затоскую, выну тебя из мешка да велю тебе потуже струну натянуть да попеть, поиграть, пожалеть меня, бедную. Так и проживем, промаемся — я за «косой саженью» замужем, а ты — в мешке.

— Глупости это все, Настя, смешки! — тихо сказал Шоша.

— А что поделаешь, коли умностей нет. Я ведь девка. Мне думать не дадено. Ты думай...

— А я как думать могу... Не свезешь же тебя в нашу Калужскую...

А Настя ему:

— Да зачем же так далеко? Овин-то ближе. Сгреб бы в охапку, когда мать спит, да и была такова... А там бы видно было...

— Не хорошо так, Настя, — оговорил ее Шоша. — Зачем такие слова.

— А какие тебе надо слова? Не ворковать же, как ты, когда волки пасть разевают... Ам! И нет меня! — крикнула Настя так, что Шоша вздрогнул, и этим вызвал новый раскатистый смех Насти.

Тут я вмешался опять:

— В самом деле, нескладно, Настенька, как-то это все.

— Да уж какой там склад. Горе чистое. Девка у него на шее висит, нянчится с ним, как с малым дитем, а он, как солома на ветру... Не выкрадать же мне его сонным, да не умыкать за тридевять земель... Еще проснуться может, да чего доброго рев подымет... Недаром у него имя-то даже девичье. Шоша! Так меня маленькую мать звала... То ли дело... Семен! Кузьма! Сидор! Даже моей «косой сажени» настоящее мужичье имя дадено — Трофим!

Я слушал и не понимал, чего ради так разговаривает с Шошей Настя. Откуда в ее речи, всегда такой мягкой, приветливой, даже напевной, появилась развязность видавшей виды солдатки... И почему она так разговаривала только с Шошей? Что это? Желание посмеяться над тихим парнем, самородным песельником, любящим ее возвышенно, нежно и, может быть, давно... Может быть, с той памятной зимы, когда он, рано осиротевший, появился впервые у Мокшаровых совсем мальчиком. Может быть, он поверил тогда Степаниде, которая подвела к нему худенькую девочку Настю и сказала:

— Вот тебе, шерстобит, невеста. Будешь с ней шерсть бить, воду пить, горе мыкать...

Эти слова отлично помнил и пересказывал мне Шоша. Он вспоминал, как дед, не утруждая его работой, давал вволю поиграть в нехитрые игры деревенских детей.

— Маленькая Настя была тогда матерью, — рассказывал мне Шоша, — а я уж большой, годов тринадцати, был ее сыном. Она то и дело уезжала на базар и запирала меня одного под столом. «Сиди, Шоша, жди меня. Кошку молочком напои, двери не открывай. Огня не задувай. Приеду с базара — гостинцев привезу. Леденцов, пряников»... И я ждал ее под столом. Потом она приезжала. Начинала спрашивать. Не приходил ли кто. Не задувал ли я огня. Напоил ли кошку



молоком. А я говорил ей: «Все сделал, мамонька, как ты наказывала». Тогда она принималась меня угощать. Целовать, миловать, спать укладывать: «Баю-баюшки-баю. Шоше песенку спою. Спи, глазок, и спи другой. Спи, мой голубь дорогой». И я клал голову на Настины колени. Тогда я страсть как любил эту игру «в мать и сына». Потому что у меня почти что не было матери. Я не помню ее...

Зная все это, я спрашиваю себя: «А может быть, Настя хочет разбудить в Шоше ту большую любовь, от которой обезумеет не только она — Настя, но и остолбенеет Мокшариха. Ведь недаром же Настя восторгалась, как Степан — муж старшей сестры — ревновал ее до безумия. До разгрома посуды, до битья стекол. А она, без края любя его, подзадоривала: «Лучше удавлюся, да мужику не покорюся. Люби, какая я есть песельница да плясунья». И пойдет, пойдет плясать-наговаривать:

Эх, мил мой, мил,  
Ревновал, любил,  
Все горшки прибил,  
А меня забыл...  
Не бил, не частил,  
На божничку посадил,  
Низко кланялся,  
Горько калялся.  
На божничке я сижусь  
И на милого гляжу:  
Молись на жену  
Свою сужену...  
А не то я соскочу,  
Наповал зацекочу,  
Замилую, зацелую  
Ненаглядного...

«Может быть, младшая сестра,— думал я,— походит чем-то на старшую и хочет вызвать ревность Шоши?»

Нелепо на самом деле было предполагать, будто Трофим-«косая сажень» — кривобокий, тонкий и длинный, как сосновая жердь, урожденный, как говорит молва, из пятна в пятно в старого урядника,— мог нравиться Насте. Неужели она могла быть безразлична к приезду Двоеданных? О чем думала она? На что надеялась эта далеко не легкомысленная девушка. Мне даже временами казалось, ничуть не противодействуя сватовству, она будто ждала его. В первый день рождения Настя по нескольку раз меняла свои наряды и, выбегая к нам, советовалась, в чем лучше показаться гостям.

Наверно, я несколько преувеличиваю... Но право же, в эти годы, в этих местах я не видал более грациозной девушки. Говорят, что Мокшариха была такой же поджарой и тонкокостной «бросовой девкой». И это будто бы мешало ей выйти замуж. Парни заглядывались, а отцы и матери отговаривали: «Куда такая? Калачом убьется, в квашне утонет». Между тем красавец изо всей округи Мокшаров высмотрел Стешу на чьей-то свадьбе и не стал спрашиваться у отца-матери. Спросил только у нее: «Люб ли я тебе?» Та, уносимая им в степь, сказала: «Зачем пустые слова?» Мокшаров нес ее верст пять. До дядиной заимки. А оттуда к попу. Ну, а потом — покричали отец с матерью, отлупили для порядка сына вожжами, а сношку ласково ввели в дом, да еще пожалели, что такая куколка такого дубатола в мужья выбрала. «За это его и вожжами бил», — оправдался свекор и тут же подарил Стеше три с половиной аршина синего сукна и связку им самим битых лис. «Потому как нельзя тебе при такой базе в овчине ходить. Понимать надо».

Шоша не мог не полюбить это повторение Мокшарихи. Он и Настя как бы родились один для другого и дополняли друг друга. Глядя на

них, можно было поверить в невероятное — в судьбу, в рок, в «планиду», как здесь говорили.

Про них вполне можно было сказать, что они, красивые порознь, — вместе были еще краше.

К чему же такое нелепое коверканье счастья, которое так очевидно. Даже противно было думать об этом. Но думай не думай, а события развертывались. И от них нельзя было уйти и мне, квартировавшему в этом доме.

Двоедановы приехали на другой день. Приехали на трех парах, запряженных гусем. Приехали сам-семь. Старик Двоеданов, «Косая сажень», усыновленный немой работник с Дарьей, «рыжий боровок» Яшка с Феклушей да еще двоедановская сестра Лукерья. Она, видимо, в качестве кандидата в посаженные матери со стороны жениха.

Лошадей Двоедановы бросили на усыновленного «немтыря» и направились в дом. На пороге их встретила Мокшариха и ее старший зять.

Шоша забился на полати и решил не появляться в горнице.

— Да ты не блажи, плакальщик, — стаскивала его с полатей Настя. — Не худа же ты мне хочешь... Приглядишься к Трофиму-то. Может, и сам мое счастье за ним увидишь...

Шоша не отвечал. А Двоедановы тем временем шумно раздевались, показывая свою одежду. Старик приехал в черном сарагуловском тулупе с черным воротником с длинным волосом в мелких кудряшках. Яшка-«боровок» щеголял собачьей ягой, Феклуша показывала корсачью шубейку, отороченную серой мерлушкой.

«Косая сажень» вошел лихим щеголем в серой венгерке, выменянной специально для этого приезда за семь пудов пшеницы и баранью ногу, о чем он поведал мне до того, как поздоровался, и спросил:

— Стоит того?

— За такую и двух мешков мало, — поддержал я Трофима.

Гостей провели в горницу. Двоеданов прошел первым и запричитал:

— А пошто в горнице не светло, не тепло, не радостно? Где зоренька ясная, девица красная, маков цвет Настенька?

— Вот она где! — прозвенела малиновым колокольцом Настя, появившись в горнице в розовом атласном платье, в омских обутках на высоких подборах и в Омске же купленных тонких нитяных чулках.

— Детушки, сношеньки, держите меня! — начал представление Двоеданов. — Не дайте умереть в одночасье. Ангел сошел с небес. Да кто тебя догадал, моя доченька, на грешной земле родиться. Ну пойдй ко мне, полуношная звездочка... Слепнуть так уж слепнуть!

Я самым внимательным образом следил за хитрым стариком. И он, заметив это, сообщил мне:

— Власть-то наша как подымать женское сословие начала! На высокие подборы поставила. Совсем другой вид.

Старик не ошибался. Высокие каблуки изменили походку и фигуру Насти. Она теперь не шагала по полу, а плыла по нему.

Поздоровавшись со всеми, Настя оставила Трофима напоследок. А тот, желая произвести наибольшее впечатление, тряхнул мелкозавитым, как шерсть на воротнике отцовского тулупа, чубом, распахнул серый «спинджак», показал канареичный узор вышивок на малиновой рубахе, щегольски поднес на своей огромной ладони колечко с желтым камешком и сказал:

— Для первого случая. Чистый янтарь!

Настя улыбнулась, лукаво посмотрела на меня и, притворно сокрушаясь, сказала:

— Наверно, никак не меньше мешка стоит?

— Это уж как полагается... Лишь бы только на пальчик налезло.

Я уже, кажется, говорил, что у Насти были тонкие, не в пример сестринским, пальцы. И она, опять лукаво посмотрев на меня, стала неторопливо примерять кольцо на каждый палец своей левой руки, начиная с мизинца, будто показывая, как могут быть красивы девичьи руки. И когда она надела кольцо на последний большой палец руки, показав всем, что оно явно велико, сказала:

— Ах ты, жалость-то какая. Не по руке колечко.— И, отдавая его Трофиму обратно, добавила: — Не судьба, значит, мне его носить...

Тут вмешался старик Двоеданов:

— А я что говорил тебе, сын? Это колечко Настеньке вместо пояса можно носить,— явно намекал он на тонкую талию Насти, схваченную белым кушачком.— Ну, да оплошка не велика. Были бы пальчики, найдутся и кольчики...

Не только я один наблюдал за стариком Двоедановым и Настей. За ними зорко следили еще два глаза. Это были зеленые, почти изумрудные глаза Феклуши. Она впервые видела Настю и возненавидела ее с первого взгляда. В ее глазах стояли испуг и зависть.

Феклуша по-своему тоже была очень хороша. Отец и мать не обидели ее, как говорится, ни лицом, ни статностью, ни звонким голосом, ни русым волосом. Но здесь она выглядела второй. Второй. Это понимали все, и, конечно, она. Понимал это и Яшка-«рыжий боровак». По своей простоте и глупости «боровак» отмочил про Настю такое, что даже закашлялся Двоеданов. Он сказал:

— Папаня такую-то сношку, пожалуй, больше моей Феклушки полюбит. Хорошо ей у нас будет.

Старик, прокашлявшись, тем самым выгадав время, сказал:

— Меньшую всегда больше жалуют и лучше балуют...

Сказав так, Двоеданов далее уже не давал никому вымолвить слова, боясь «святой простоты» недалекого сына.

Вскоре вошел усыновленный «немтырь». Он поклонился и промычал нечто похожее на «здравствуйте», затем сел в уголок и принялся разговаривать на пальцах с Дарьей, безразличной ко всему, кроме семечек, которые были первыми поданы на подносе.

Я, на правах живущего в этом доме, предложил Кузьме Пантелеевичу и его сыновьям выпить для разбега по стаканчику изюмной бражки, которую Мокшариха варила куда как хорошо.

Настя то и дело бегала на кухню, будто по хозяйству, хотя в этом и не было никакой нужды, потому что старшая проворная дочь Мокшарихи справлялась со всеми приготовлениями и подачей на стол.

Федор Чугуев сидел за столом рядом со мной. На нем был легкий помятый в дорожном мешке пиджачок, надетый поверх добротной чесучевой рубахи, вышитой по вороту синими цветками руками Мокшарихи и ею же подаренной в канун праздника.

Двоеданов, разглядывая рубаху, спросил:

— Это кто же тебя, Федор, такой дорогой рубахой одарил? Если по узору судить, так чья-то здешняя игла его вышила. Любят, видно, еще бабы-то...

Мокшариха никому не прощала вольностей по своему адресу, и она ответила Двоеданову куда прямее, чем, может быть, ей хотелось.

— Не разглядывай бы ты, Кузьма, мой тоскливый вдовый узор. Я ведь не разглядываю на твоей рубахе жаркую и не по годам молодую вышивку... Чокнись лучше с Федором Семеновичем, он ведь тоже дорогим гостем сидит за моим столом.

Считая на этом разговор законченным, Степанида приветливо потрепала по щеке Феклушу.

Умный Двоеданов постарался не понять намека и в продолжение

всего застолья был очень внимателен к Федору Чугуеву. Но в этот вечер двоедановскому языку суждено было сделать еще один промах. Он, справляясь о Шоше, не желая оскорбил Настю.

— А шерстобит-то где? — спросил Двоеданов. — Бойтся, что ли, он на люди показаться? Сбрэнчал бы нам на струне — глядишь бы и поднесли чарочку. Мы ведь люди не гордые — всех жалуем, кого хочешь за один стол с собой посадим.

Настя, вспыхнув, ответила:

— Взперти я его держу. Боюсь, как бы красоту его не сглазили. Да и рубаху новую я ему еще недовышила.

Кузьма Пантелеевич, видя, что ему шутка не удалась, перевел взгляд на Мокшариху, будто спрашивая: «Как все это понимать?» И Мокшариха, поняв вопрос, разъяснила:

— Это от бабки у нее. Бабка, покойница, ее учила: «Ты, говорит, Настя, о журавле думай, а синицу из рук не выпускай». Вот и держит она Шошу в кухне. К тому же бабка наказывала ей, что не всякая долгоногая птица — журавль и не всякая малая птаха — синица. Другая с виду воробей, а на проверку — соловей.

Тогда Двоеданов спросил прямо:

— К чему на помолвке такие слова?

И Степанида ответила:

— Это на какой же на такой на помолвке? Уж не на моей ли с тобой, Кузьма Пантелеевич? Так я будто замуж не собиралась...

Двоеданов хватил большую кружку «изюмовой» и сказал:

— Не о нас с тобой речь идет. О Трофиме с Настей. Зачем незнайкой-то прикидываться. Все ведь понимают, зачем мы в трех кошовках пожаловали.

Степанида не нашла сразу нужного ответа и занялась обносом рыбным пирогом. А потом сказала:

— Кузьма Пантелеевич, это, конечно, для моей сухопарой Настьки большая честь. Только ей, наверно, подумать надо до того, как с таким конем в один воз впрягаться...

— А что думать-то?.. — удивился Двоеданов. — Я уж все придумал до последней мелочи. И за нее, и за тебя.

— Это как же, — спросила Мокшариха, — как же ты мог в мою голову влезть?

— А вот так и влез, — ответил Двоеданов. — Думаешь, я не знаю, что наша семеюшка не по Настеньке. Знаю. Думаешь, не знаю, что тебе без Насти бобылкой жить тоже на тае... Знаю. Знаю и устраняю все это. Отделяю Трофима. Новый дом для него приглядел. А в этом доме ты ли при них, они ли при тебе... И так и эдак хорошо.

— Спасибо тебе, Кузьма, что ты и обо мне подумал, — поклонилась Степанида. — Только мой-то дом куда?

— А я именно о нем подумал. Знал, что ты про него спросишь. Знал, что тебе горько будет свое гнездо покидать; поэтому и решил купить не у кого-то, а у тебя для тебя да для Настеньки с Трофимом твой дом. И ему будет не совестно въезжать, и тебе не обидно зятя принимать.

Такого поворота Степанида явно не ждала. Такие условия сватовства трудно было предположить от кого-либо.

— Так не молчи хоть! — напирал Кузьма.

— Хмельна я что-то ныне, — отговорила Мокшарова. — То ли от своей бражки, то ли от твоего посула. Очухаюсь ужо, тогда и поговорим, — обнадеживающе закончила Мокшариха.

И Настя, будто довольная поворотом дела, стала зазывать в пляс. И всем стало ясно, что свадьба предрешена.

Двоедановы уехали после полуночи. А на другой день явились зо-

вые гости. Новые сваты. Тычкины. Я знавал их. Очень хорошая и крепкая семья. Они сватались степеннее, соглашаясь ждать ответ по усмотрению Степаниды Кузьмичны.

С этого дня сваты стали приезжать как по расписанию. Что ни день, то новые гости. И так чуть ли не неделю. На Шошу было страшно смотреть. А Настя продолжала окружать его ласками, и Мокшариха была так внимательна к нему, что я отказывался понимать ее. Но как-то она спросила меня:

— Люб тебе, что ли, Шошка?

И я ответил:

— Как брата родного люблю.

Мокшариха усмехнулась.

— Как брата любишь, а сделать ничего не можешь. Молчишь да жалеешь. Разве так жалели в наши годы...

— А как жалели в ваши годы? — спросил я.

— Да так, что и овцы целы бывали и волки довольны. Шошка-то ведь овечка... А я по твоей мере, наверно, в волчихах хожу... Вот ты бы взял да и помирил нас... С тебя и взятки гладки.

— Знал бы, как это сделать, ничего бы не пожалел...

Мокшариха опять ухмыльнулась.

— Хоть и грамотен ты, хоть и на три аршина в землю видишь, а не широко глядишь. Не шире Шошки.

— А при чем тут широта? — спросил я.

— А при том, что не под своими ногами нужно жизнь видеть, а вокруг. Все во внимание принимать, и сватов и меня... Аль не видишь, что сватами я по горло сыта.. Не последние люди моей дочери честь оказали... Никто не может сказать, что она женихами была обойдена...

— Ну, и что из этого? — опять спросил я, не понимая, куда клонится речь.

— А то, что если б я свою Настю выдала теперь даже за тебя, у которого, кроме солдатской сумки, никакого заведения, и то бы меня никто не укорил. Не от нужды выдала, а по выбору. А выбор не малый у меня...

Я начинал кое-что понимать. Во всяком случае для меня было ясно, что шумное сватовство Насти Мокшарихе нужно для обороны ее болезненного, к тому же ложного самолюбия.

— Так почему же, — сказал я, — вам теперь не выбрать Шошу? Теперь-то уж никто не скажет, что Настя вышла за него потому, что никто другой не сватался.

Тут Мокшариха прикрыла дверь и ответила:

— По доброй воле? За шерстобита? За человека с одной струной?.. Да у тебя, видно, сквозняк на чердаке... Другое дело, если бы это все убегом, скажем, самокрутом... Тогда, как говорится, и овцы это самое и волчице деться некуда...

Сказав так, Мокшарова вдруг переменяла ход разговора и сказала мне:

— Надоело мне на твой лысый полушубишко глядеть. Хочу тебе мужнин тулуп отдать. Стоишь ты того.

— Чем же я стою-то?.. И почему это вдруг?..

— Шошку любишь. И я его, сироту, люблю. Сыновей то ведь у меня не было... А он без матери рос... Ну, что уставился? — вдруг прикрикнула на меня Мокшариха, стараясь скрыть навернувшуюся слезу.

От тулупа я отказался, сказав, что потом видно будет... И, больше не возвращаясь к разговору о Шоше, стал обдумывать план представления, которого жаждала Мокшариха.

Продумав все необходимое, я выпросил пару коней и кошовку в заготовительной конторе. Вечером в субботу, когда Мокшариха с Федором ушли на пельмени к соседям, я подкатил к дому.

Настя и Шоша сидели в горнице и читали сто раз читанную книгу русских сказок.

— Одевайтесь! — сказал я.

— Куда? — спросила Настя.

— На свадьбу!

— На чью?

— В дом вхожу. Женюсь... Я ведь не как вы. Не тяну kota за хвост.

— Это как же так, — забеспокоилась Настя. — Хоть бы предупредил... На ком же ты?

— Увидите... Только пошевеливайтесь... Свадьба тайная...

— Тайная? Убегом? Хорошо-то как, — обрадовалась Настя. — Шошка, слышишь, как бравые-то парни дела обделывают. Нам бы так...

— Что ты? — испугался Шоша. — Разве мыслимое дело? Как я глаза тогда подыму...

— Давай, давай, — поторапливал я, — не задерживай невесту... Не срывай свадьбу...

Шоша испуганно и торопливо накинул шубейку, шапку, заматался шарфом...

— Так не могу же я так, — вдруг забеспокоилась Настя. — Я ведь у тебя там вроде матери посаженной буду...

— Там разберемся, кто мать, кто отец... Живо! — прикрикнул я.

Настя все-таки сумела переодеться в белое платье, и уже минут через десять-двадцать деревня осталась далеко. На вопросы Насти: «Куда же мы едем, далеко ли?» — я неизменно отвечал: «Не спрашивай. Примета плохая».

Наконец мы приехали к дому, где жил такой же, как я, работник по продовольственному налогу. Это была переселенческая украинская деревенька. Нас ждали незнакомые гости, если не считать моего товарища.

Стол был уже накрыт. Настю и Шошу провели на главные места и, усадив, стали славить по-украински венчальным обрядом как жениха и невесту.

Шоша побледнел блее полотна, готовясь сбежать из-за стола. Настя молчала. Разрумянившись, она несколько минут сидела опустив голову, будто что-то обдумывая. А потом, обратившись ко мне, сказала:

— Спасибо тебе за свадьбу, — и чинно поклонилась славившим ее как невесту.

От этого Шоша побледнел еще более. Но когда я крикнул: «Горько, горько!» и все поддержали меня, Шоша испуганно поцеловал Настю и заплакал.

Это не вызвало смеха. Наоборот, вслед за ним прослезились даже молодые люди, сидевшие за столом, знавшие всю печальную предысторию этой свадьбы.

Пировали до первых петухов, а затем оставили молодых в отведенной для них комнате, где жил мой друг. Там они и остались на следующий день, а я поехал, чтобы объявить Мокшарихе о случившемся.

Представление разыгралось на славу. В Мокшарихе пропадала если не великая, то выдающаяся актриса. Она выбежала навстречу ко мне с дробовиком. Ружье выстрелило в воздух, когда соседи и Федор отнимали его у Степаниды.

Обезоруженная, она бросилась выцарапывать мне глаза... А потом пала без чувств на снег.

Ее унесли в дом. Опрыскивали с уголька. Растирали, наговаривали... Словом, никому, даже Федору Семеновичу, не приходило в голову того, о чем знали я да она. И то... как она знала. Она знала про себя, не имея в виду сознаться даже при мне, что все это сделано после ее подсказки.

Когда Степанида пришла в чувство, из которого она ни на минуту не выходила, я стал говорить о судьбе, о «планиде», о прочей чепухе и, наконец, о том, что можно меня убить, но ничего нельзя изменить. Шоша и Настя теперь — муж и жена.

Так длилось несколько дней. За эти дни побывал Двоеданов, предлагавший сломать «самокрутную свадьбу» и, несмотря ни на что, отдать Настеньку, ясную зореньку, за Трофима.

Дарья на это сказала:

— Пусть мается за тем, кому на шею повесилась.

Федор Семенович отсиживался на кухне. Наконец подошло время, когда гнев нужно было сменить на милость. Таков уж веками завешенный порядок.

Мокшариха долго советовалась с соседями, а те хором твердили, что это все «по воле божией» (я тут оказался только слугой этой воли), посоветовали вернуть в дом беглянку и ее «богоданного» (обратите внимание на слова) мужа.

Теперь Насте и Шоше нужно было пасть в ноги Мокшарихе и не подыматься до тех пор, пока она их не простит.

Они так и сделали.

На этом как будто можно было и закончить затянувшееся повествование, если бы не Федор...

Когда все, как и хотелось Мокшарихе, обошлось самым приятным образом и все были обведены вокруг пальца, Федор Семенович сказал:

— Пора и восвояси... В Калужскую...

Этих слов, я думаю, очень давно ждала Мокшариха. И ответ на них был готов тоже давно, может быть задолго до того, как она задумала выдать Настеньку замуж за Шошу... Да и... Я не хочу думать о Степаниде Кузьминичне хуже, чем следует... Но зачем о ней думать лучше, чем нужно? Крепкая и не отцветшая еще Мокшариха, не потерявшая пока ни единого зуба, добилась, наконец, своего. Она получила счастливую возможность под прикрытием Шоши ввести в свой дом Федора Чугуева, которого (в этом меня никто не разубедит) она нежно любила и ждала давно в свой тосковавший по хорошему старику вдовый дом.

— Это в какую же Калужскую...— сказала она.— Ты его, сироту, подобрал. Внуком назвал своим, а он что... Иди, дед, на все четыре стороны? Так, что ли, Шошенька?

— Не знаю, маменька, что и ответить,— отозвался Шоша.

— А ты знай. Кто в этом доме теперь хозяин?.. Он, что ли? — указала Мокшариха на меня....— Вот и решай.

— А что решать, когда уже все давно само собой решено,— вмешалась Настя.— Неужели мои дети без деда, с одной бабкой, расти будут? Да чем они хуже других...

— Это так,— согласился Федор,— только зачем же за меня-то решать? Я хоть и беден, да не поклончив.

Ночью Федора Семеновича не стало. Он ушел на станцию, не простившись. Не все получалось так, как задумывалось Мокшарихой. Пришлось ей кое в чем уступить.

Чуть свет Мокшарова и я помчались на станцию. Поезд уже готов

был тронуться. Федора Семеновича мы нашли в теплушке и вытащили оттуда.

И только после того, как Степанида призналась ему во всем, от «сватовской мороки» до свадьбы Шоши и Насти с ее согласия, старик вдруг посветлел и сказал:

— Тогда и толковать не о чем, Степанида...

...А тулуп я все-таки не взял. И не раскаиваюсь. Зато мне были скатаны такие валенки, что я их едва износил за целых три, а может, и четыре года. Рукавички же, вязанные Настенькой, я не износил. Я оставил их на погляд, как и ею же вышитое полотенце... На погляд и на память о дорогих мне людях, у которых родились и выросли теперь хорошие дети... Хорошие и похожие на своих родителей. Только похожие самыми лучшими их чертами.

Вот и весь рассказ, который хочется напоследок еще чем-то подсластить, да не знаю чем и как...





---

Эрнест Хемингуэй

# ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

РОМАН

## Глава двадцать шестая

Они сидели за столиком и любовались тем, как утренний, беспокойный свет золотит воду канала. Теперь, когда вышло солнце, вода была уже не серая, а желто-серая, и волны шли навстречу отливу.

— Мама уверяет, будто не может подолгу жить в Венеции, потому что тут нет деревьев,— сказала девушка.— Она то и дело уезжает за город.

— Все ездят за город, — сказал полковник. — Мы могли бы посадить деревья и здесь, если бы нашли дом с мало-мальски приличным участком.

— Я больше всего люблю ломбардские тополя и платаны, но я в этом плохо разбираюсь.

— Я тоже их люблю, однако мне нравятся и кипарисы, и каштаны. Обыкновенные каштаны и конские. Но настоящих деревьев, дочка, ты не увидишь, пока мы не поедem в Америку. Вот тогда ты согласишься, что такое белая сосна или желтая сосна!

— А мы их увидим, когда поедem путешествовать и будем останавливаться на всех заправочных станциях и общественных станциях или как там они у вас называются?

— Туристские лагеря,— сказал полковник.— Мы будем там останавливаться, только не на ночь.

— Мне ужасно хочется подкатить к общественной станции, шваркнуть об стол деньги и крикнуть: «А ну-ка, Мак, заправь машину и проверь масло!» — как это делают во всех американских романах и фильмах.

— Их называют заправочные станции

— А что же тогда общественная станция?

— Общественные бывают не станции, а уборные. Куда ты заходишь, когда...

— А... а... — сказала девушка и покраснела.— Извини, пожалуйста. Я ужасно хочу научиться правильно говорить по-американски. Но, наверно, еще долго буду путать, как ты по-итальянски.

---

Окончание. Начало — в № 7, 8.

— Язык у нас очень простой. И чем дальше на запад, тем он проще и яснее.

Gran Maestro подал завтрак, и, хотя блюда были покрыты серебряными крышками, они почувствовали аромат жареной грудинки и почек, отдающий темным, приглушенным душком тушеных грибов.

— Выглядит все это просто чудно,— сказала девушка.— Большое спасибо, Gran Maestro. Хочешь, я буду разговаривать по-американски? — спросила она полковника.— А ну-ка, приятель, вали сюда! — произнесла она коротко, ткнув рукой, как рапирой.— Жратва мировая.

Gran Maestro ответил:

— Благодарю вас, сударыня.

— Как правильнее сказать: харчи или жратва? — спросила девушка.

— Одно и то же.

— А на Западе так разговаривали, когда ты был маленький? Что там говорят за завтраком?

— Завтрак подавал сам повар. Он бы сказал: «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Мне это надо выучить и сказать у нас в именье. Как-нибудь, когда к нам приедет в гости английский посол со своей очень скучной женой, я подучу лакея сказать: «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Гость мигом вылетит как пуля,— сказал полковник.— Но опыт будет интересный.

— Научи, что мне сказать по-настоящему, по-американски, этому рябому, если он, конечно, появится. Я тихонько шепну ему на ухо, будто назначаю свиданье, как когда-то делали дамы.

— Это зависит от того, какой у него будет вид. Если очень кислый, ты ему шепни: «Что ж ты, Мак, ты же грозился набить мне рыло!»

— Какая прелесть,— воскликнула она и повторила эту фразу, подражая Иде Люпино<sup>1</sup>.— А можно мне это сказать Gran Maestro?

— Почему же нет? Gran Maestro!

Gran Maestro подошел и заботливо к ним наклонился.

— Эй, Мак! Ты ж грозился набить мне рыло! — резко выкрикнула девушка.

— Не отрицаю,— ответил Gran Maestro.— Благодарю, что вы мне так недвусмысленно об этом напомнили.

— Если тот тип придет и ты захочешь поговорить с ним, когда он позавтракает, шепни ему на ухо: «Утри бороду, Джек, она в яичнице, оправься и катись отсюда».

— Я запомню и поупражняюсь дома.

— А что мы будем делать после завтрака?

— Давай поднимемся наверх и поглядим на портрет при дневном свете, а вдруг он ничего не стоит, я хочу сказать — никуда не годится.

— Идем,— сказал полковник.

## Глава двадцать седьмая

Полковник боялся застать наверху обычный для гостиницы утренний ералаш, но номер уже прибрали.

— Стань с ним рядом,— сказал он. А потом спохватился и прибавил: — Пожалуйста!

<sup>1</sup> Ида Люпино — американская киноактриса.

Она встала рядом с портретом, и он поглядел на них оттуда, откуда смотрел ночью.

— Никакого сравнения,— сказал он.— Я говорю не о сходстве. Сходство схвачено отлично.

— А разве ты хотел нас сравнивать? — спросила девушка, закинув голову; на ней был тот же черный свитер, что на портрете.

— Конечно, нет. Но прошлой ночью и на рассвете я разговаривал с портретом, словно это была ты.

— Вот это мило. Значит, от портрета была какая-то польза.

Они лежали на кровати, и девушка спросила:

— Ты никогда не закрываешь окон?

— Нет. А ты?

— Только когда идет дождь. По-твоему, мы похожи друг на друга?

— Не знаю. Нам с тобой так и не удалось это проверить.

— Нам с тобой вообще не очень-то везет. Но мне все же повезло, раз я тебя знаю.

— Ну, а что это тебе дало? — спросил полковник.

— Понятия не имею. Наверно, что-то дало, и мне лучше, чем другим.

— Верно! Этого и будем добиваться. Я, правда, не люблю ограничиваться малым, но иногда приходится с этим мириться.

— Что тебя огорчает больше всего на свете?

— Когда мне приказывают,— сказал он.— А тебя?

— Ты.

— Я не хочу тебя огорчать. Я не раз бывал последним сукиным сыном. Но еще никогда никому не причинял горя.

— Кроме меня, горе ты мое.

— Ладно,— сказал он.— Допустим.

— Спасибо, что ты это допускаешь. Ты сегодня добрый. Мне стыдно, что у нас так получается... Прижми меня, пожалуйста, покрепче и давай не будем говорить или думать о том, что все могло быть совсем иначе.

— А знаешь, дочка, это как раз одна из тех немногих вещей, которые я умею.

— Ты умеешь очень, очень много разных вещей. Не смей так о себе говорить.

— Ну да,— сказал полковник,— я умею наступать, я умею отступать, а еще?

— Ты все понимаешь в картинах, в книгах и в жизни.

— Ну, это наука нехитрая! Смотри на картины непредвзято, читай книги честно и живи, как живется.

— Не снимай, пожалуйста, тужурки.

— Ладно.

— Ты всегда меня слушаешься, если я говорю «пожалуйста».

— Бывало, я слушался и без этого.

— Не очень часто.

— Не очень,— признался полковник.— Пожалуйста — очень приятное слово.

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

— Per piacere — это значит сделай милость. Жаль, что мы не можем всегда говорить по-итальянски.

— Можем, но только в темноте. Хотя есть такие вещи, которые лучше звучат по-английски. «Я люблю тебя, моя последняя, настоящая и единственная любовь», — процитировала она. — «Когда сирень в последний раз цвела у нас в саду»<sup>1</sup>. «Из колыбели, вечно баюкавшей»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Строчка из одноименного стихотворения Уолта Уитмена.

<sup>2</sup> То же.

«А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку». Тебе это больше нравится на другом языке, Ричард?

— Нет.

— Поцелуй меня еще раз, пожалуйста.

— В этом случае «пожалуйста» лишнее.

— Я, того и гляди, сама стану лишняя. Если ты умрешь,— ты по крайней мере не сможешь меня бросить.

— Ну, знаешь, это уже грубо,— сказал полковник.— Последика за своим язычком.

— Я становлюсь грубой, когда ты грубишь,— сказала она.— Ты ведь сам хочешь, чтобы я была хоть немножко на тебя похожа.

— Я не хочу, чтобы ты хоть в чем-нибудь была не такая, какая ты есть. Я люблю тебя всей душой, окончательно и бесповоротно.

— Иногда ты умеешь говорить приятные вещи. А что, если не секрет, вышло у тебя с женой?

— Она была женщина честолюбивая, а я слишком часто бывал в отъезде.

— Ты хочешь сказать, что она ушла от тебя из честолюбия, а тебя никогда не было дома из-за твоего ремесла?

— Вот именно,— сказал полковник, вспоминая прошлое почти без горечи.— Честолюбия у нее было больше, чем у Наполеона, а таланта, как у первого зубрили в школе.

— Что бы это ни значило,— сказала девушка.— Но не будем о ней говорить. Жаль, что я тебя о ней спросила. Ей, должно быть, очень обидно, что она с тобой не живет.

— Ничуть. С таким сомнением не обижаются, а замуж она вышла, чтобы примазаться к военной верхушке и приобрести связи, полезные для ее профессии или, может, искусства. Она была журналисткой.

— Но это ужасные люди! — воскликнула девушка.

— Верно.

— Как ты мог жениться на журналистке и позволить ей этим заниматься?

— Я ж говорил, что у меня в жизни бывали ошибки,— сказал полковник.

— Давай поговорим о чем-нибудь приятном

— Давай.

— Нет, это ужасно! Как ты на это решился?

— Не знаю. Я бы мог тебе рассказать подробно, но лучше обойдем этот вопрос.

— Давай обойдем. Все-таки я не думала, что это так ужасно. А ты больше такой глупости не сделаешь?

— Клянусь тебе, нет!

— И ты с ней не переписываешься?

— Конечно, нет.

— Ты не расскажешь ей о нас с тобой, она не сможет об этом написать в газетах?

— Нет. Я этой стерве кое-что рассказал, и она об этом написала. Правда, дело было совсем в другой стране. И к тому же она умерла.

— В самом деле умерла?

— Окончательно и бесповоротно. Как Феб Финикийский. Но она сама еще об этом не знает.

— А что, если бы мы с тобой гуляли по Пьяце и ты бы ее встретил?

— Я бы посмотрел на нее в упор и не заметил. Пусть знает, что умерла.

— Большое спасибо,— сказала девушка.— Ты ведь понимаешь,

как трудно неопытной девушке справиться с другой женщиной или с памятью о другой женщине.

— У меня нет другой женщины,— сказал полковник, и глаза у него от невеселых воспоминаний стали злые.— И нет памяти о другой женщине.

— Большое спасибо,— повторила девушка.— Сейчас я тебе верю. Но, пожалуйста, никогда не смотри на меня так и никогда обо мне так не думай!

— Давай поймаем ее и вздернем на высоком дереве! — запальчиво сказал полковник.

— Нет. Давай о ней лучше забудем.

— Я и так ее забыл,— сказал полковник.

И, как ни странно, это была правда. Странно потому, что на миг она появилась в комнате и чуть было не нагнала на него панику, что уж совсем странно, подумал полковник. Он-то знал, как люди приходят в панику.

Но теперь она ушла, ушла безвозвратно; она выжжена, изгнана, разжалована по рапорту в одиннадцать экземплярах, к которому приложено официальное, заверенное у нотариуса свидетельство о разводе.

— Я ее забыл,— сказал полковник.

Это была чистая правда.

— Я очень рада,— сказала девушка.— Не понимаю, как ее вообще пустили сюда, в гостиницу.

— Да, мы с тобой здорово похожи,— сказал полковник.— Нельзя этим так чертовски злоупотреблять!

— Ладно, можешь ее повесить, ведь это из-за нее нам нельзя пожениться<sup>1</sup>.

— Я ее забыл,— сказал полковник.— Пусть получше разглядит себя в зеркале и повесится сама.

— Теперь, когда ее здесь больше нет, не будем желать ей всяких бед. Но как настоящая венецианка я бы хотела, чтобы она умерла.

— И я тоже,— сказал полковник.— Но раз она не умерла, давай ее навсегда забудем.

— Навсегда и на веки вечные,— сказала девушка.— Правильно я выговариваю? По-испански это будет *para sempre*.

— *Para sempre* и все такое прочее,— добавил полковник.

## Глава двадцать восьмая

Они молча лежали рядом, и полковник чувствовал, как бьется ее сердце. Приятно чувствовать, как бьется сердце под черным свитером, который связала ей тетка, и ощущать тяжесть длинных темных волос на здоровой руке. Но разве это тяжесть, думал полковник, они же легче легкого. Она лежала тихая и ласковая, и все, что им обоим было дано пережить, неразрывно связывало их друг с другом. Он нежно и требовательно поцеловал ее рот, и все вдруг замерло, осталось только ощущение нерасторжимой связи.

— Ричард,— сказала она.— Как обидно, что у нас так получается...

— А ты никогда ни о чем не жалеешь,— сказал полковник.— Никогда не считай потерь, дочка.

— Повтори.

— Дочка...

<sup>1</sup> Согласно правилам католической церкви развод недопустим.

— Расскажи мне что-нибудь хорошее, чтобы я могла думать об этом всю будущую неделю, и еще про войну.

— Давай не будем говорить о войне.

— Нет. Я должна о ней больше знать.

— Я тоже должен, — сказал полковник. — Но не о военных хитростях. Один наш офицер в должности генерала как-то словчил и раздобыл план передвижения войск противника. Он заранее знал о каждом их шаге и провел такую блестящую операцию, что его повысили в чине и отдали ему под начало людей куда более стоящих. Вот почему нас одно время били. Да еще потому, что отдых в субботу и воскресенье у нас такая святыня.

— Сегодня у нас суббота.

— Я знаю, — сказал полковник. — Считать до семи я еще не научился.

— Но почему ты на всех сердисься?

— Неправда. Мне пошел шестой десяток и я знаю, что к чему.

— Расскажи мне еще что-нибудь о Париже, я люблю всю неделю думать о тебе и о Париже.

— Дочка, почему ты все время пристаешь ко мне с Парижем?

— Но я же была в Париже и непременно поеду туда опять. Это самый чудесный город на свете, не считая нашего, и мне хочется побольше о нем узнать.

— Мы поедем вместе, и я тебе там все расскажу.

— Спасибо. Но ты Расскажи мне хоть немножко сейчас, чтобы хватило на будущую неделю.

— Я тебе, кажется, объяснял, что Леклерк был хлюст из благородных. Человек очень смелый, очень заносчивый и на редкость честолюбивый. Я уже тебе сказал — он умер.

— Да, это ты мне сказал.

— О мертвых не принято дурно говорить. Но, по-моему, именно о мертвых нужно говорить правду. Я никогда не говорю о мертвых того, чего не сказал бы им при жизни. Напрямик, в лицо, — добавил он.

— Давай не будем о нем говорить. В душе я его уже разжаловала.

— Но что же тебе рассказать? Что-нибудь романтическое?

— Да, пожалуйста. У меня очень дурной вкус, я ведь читаю иллюстрированные журналы. Но когда ты уедешь, я всю неделю буду читать Данте. И каждое утро ходить к мессе. Это, наверно, поможет.

— А перед обедом заходи к «Гарри».

— Хорошо, — сказала она. — Расскажи мне что-нибудь романтическое.

— А не лучше ли нам просто заснуть?

— Разве можно сейчас спать, ведь у нас осталось так мало времени? Хочешь, положим вот так, — сказала она и уткнулась головой ему в шею, под подбородок, заставив его откинуться назад.

— Ладно, сейчас расскажу.

— Сначала дай мне твою руку. Я буду чувствовать ее в своей, когда стану читать Данте и делать все остальное.

— Данте был отвратный тип. Еще заносчивее Леклерка.

— Говорят. Но писал он совсем не отвратно.

— Да. А Леклерк умел здорово воевать.

— Ну, Расскажи!

Теперь ее голова лежала у него на груди. Полковник сказал:

— Почему ты не хотела, чтобы я снял тужурку?

— Мне приятно чувствовать твои пуговицы. Это нехорошо?

— Почему? Я был бы последним сукиным сыном, если б это подумал. В вашем роду многие воевали?

— Все,— сказала она.— Всегда. Были у нас и купцы, и дожи, ты ведь знаешь.

— И все воевали?

— Все,— сказала она.— По-моему, все.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда я тебе расскажу.

— Что-нибудь романтическое. Такое, о чем пишут в иллюстрированных журналах, или даже хуже.

— В «Domenica del Corriere» или «Tribuna Illustrata»?

— Еще хуже.

— Сначала ты меня поцелуй.

Она поцеловала его нежно, крепко, с отчаянием, и полковнику стало трудно думать о боях. Он думал только о ней, о том, что она сейчас чувствует, и о том, как близко граничит жизнь со смертью в минуту высокого блаженства. Но что же такое, черт побери, это блаженство, каково его звание и к какой оно приписано части? И не раздражает ли ей кожу черный свитер? И откуда взялись вся эта мягкость, и прелесть, и удивительное достоинство, и жертвенность, и ребячья мудрость? Да, ты мог узнать блаженство, но вместо этого вытянул пиковую даму.

Но смерть — дерьмо,— думал он.— Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не видно, где она вошла. Иногда она ужасна. Она может прийти с некипяченой водой, с плохо подтянутым противомоскитным сапогом или с грохотом добела раскаленного железа, который никогда не смолкал. Она приходит с негромким потрескиванием, предвещающим очередь из автомата. Она приходит с дымящейся параболой гранаты и с резким ударом мины.

Я видел, как она падает, оторвавшись от бомбодержателя, и описывает в воздухе причудливую дугу. Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге.

Но я знаю, что ко многим она приходит в постели, как обратная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим,— в этом было мое ремесло. Но что же мне рассказать этой девушке в это холодное ветреное утро, здесь, в гостинице «Гритти-Палас»?

— О чем бы тебе рассказать, дочка? — спросил он ее.

— Обо всем.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда слушай.

## Глава двадцать девятая

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, на приятной, жестковатой, только что постеленной кровати; она положила ему голову на грудь, и волосы ее рассыпались по его старой, жилистой шее. Он начал рассказывать:

— Мы высадились, но не встретили серьезного сопротивления. Настоящую встречу нам готовили в другом месте. Затем мы соединились с воздушным десантом, заняли и закрепили за собой несколько городов и, наконец, захватили Шербур. Это было нелегко, операцию пришлось провести очень быстро; командовал ею генерал по прозвищу Молниеносный Джо, о котором ты, верно, никогда и не слышала. Хороший генерал.

— Пожалуйста, дальше. Про Молниеносного Джо ты мне уже говорил.

— После Шербура у нас всего было вдоволь. Себе я не взял ничего, кроме адмиральского компаса,— у меня тогда была моторка на Чизапикском заливе. Нам достался весь коньяк германского интендантства, а кое-кто из офицеров прикарманил миллионы по шести французских франков, которые печатали фрицы. Их принимали до прошлого года; за доллар давали пятьдесят франков, и те, кто ухитрились переслать франки домой — через любовниц или адъютантов,— неплохо на этом нажились.

Я-то ничего не украл, кроме компаса,— мне казалось, что зря красть на войне не стоит: это приносит несчастье. Но коньяк я пил, и в свободные минуты учился читать этот сложный компас. Компас был моим единственным другом, а телефон поглощал всю жизнь. Проводов у нас было больше, чем б..... в Техасе.

— Пожалуйста, рассказывай, но, если можешь, говори поменьше грубых слов. Этого слова я не понимаю и не желаю его понимать.

— Техас — большой штат,— сказал полковник.— Вот почему я привел в пример его женское население. Я же не мог привести в пример Вайоминг,— народу там не больше тридцати, ну от силы пятидесяти тысяч, а проводов была уйма, их то и дело приходилось тянуть, свертывать, а потом тянуть снова.

— Дальше.

— Перейдем сразу к прорыву,— сказал полковник.— Но, скажи, тебе не скучно?

— Нет.

— Так вот, об этом сволочном прорыве,— сказал полковник, повернув к ней голову. Теперь он уже не рассказывал, а скорее, исповедовался.— В первый же день появилась авиация противника и сбросила такие игрушки, которые сбивают с толку радар, и наше наступление отменили. Мы были готовы, но его отменили. Начальству, конечно, виднее. Ох, до чего ж я люблю начальство, прямо как горькую редьку!

— Рассказывай и не злись.

— Условия, видите ли, не благоприятствовали,— сказал полковник.— Ну, на другой день мы все-таки бросили вызов врагу, как говорят наши двоюродные братья англичане, которые не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце; вот тут над нами и стали парить наши короли воздуха. Когда мы увидели первые самолеты, остальные еще только поднимались с насиженных мест на поросшем зеленой травкой авианосце, который зовется Англией. Они так и сияли, светлые, красивые,— к тому времени защитную окраску первых дней вторжения уже соскоблили, а может, ее и раньше не было. Точно не помню.

Так или иначе, дочка, вереница самолетов тянулась на восток, насколько хватало глаз. Похоже было на бесконечно длинный поезд. Они летели высоко в небо, красота, да и только! Я еще сказал своему начальнику разведки, что этот поезд можно окрестить «Валгалла»<sup>1</sup>. Тебе не надоело слушать?

— Нет. Я так и вижу этот экспресс «Валгалла». У нас тут никогда не бывало столько самолетов. Но вообще самолеты мы видели. Даже часто.

— Мы находились в двух тысячах ярдов от исходного рубежа. А ты знаешь, дочка, что такое две тысячи ярдов перед атакой?

— Нет. Откуда мне знать.

— Тут головная часть экспресса «Валгалла» сбросила дымовые бомбы, развернулась и пошла домой. Бомбы были сброшены точно,

<sup>1</sup> Согласно германской мифологии, к которой часто обращались и гитлеровцы, Валгалла — обиталище бога Одина и душ павших в бою воинов.



они ясно указали цель — позиции фрицев. Хорошие у них были позиции, ничего не скажешь: пожалуй, мы бы их оттуда не выбили, если бы не весь тот пышный аттракцион, который мы тогда наблюдали. Ну, а потом, чего только не сбросил экспресс «Валгалла» на фрицев — туда, где они засели и где пытались нас задержать! Позднее там все выглядело, как после землетрясения, а пленные, которых мы брали, дрожали словно в лихорадке. Это были храбрые парни из Шестой парашютной дивизии, но их трясло, и они никак не могли взять себя в руки.

Сама видишь, бомбежка была что надо. Как раз то, о чем можно мечтать, если хочешь повергнуть противника в страх и трепет.

Короче говоря, дочка, ветер подул с востока и дым стало сносить назад, прямо на нас. Тяжелые бомбардировщики бомбили линию дымовой завесы, а она висела теперь над нами. Вот авиация и принялась нас бомбить так же усердно, как раньше фрицев. Сперва это были тяжелые бомбардировщики, и тому, кто там побывал, уже нечего бояться ада. Потом, чтобы подготовить прорыв лучше и оставить как можно меньше людей с обеих сторон, налетели средние бомбардировщики и принялись за тех, кто был еще жив. Ну, а потом, как только экспресс «Валгалла» повернул домой, растянувшись во всей своей красе и величии, от французского побережья через всю Англию, мы пошли на прорыв.

Если у человека есть совесть, сказал себе полковник, ему иногда не мешает подумать, что такое военная авиация.

— Дай-ка мне бокал вальполичеллы,— попросил полковник, и чуть не забыл добавить «пожалуйста». — Извини,— сказал он.— Пожалуйста, ляг поудобней, киса. Ты ведь сама просила, чтобы я тебе рассказал.

— Я не киса. Ты меня, наверно, с кем-нибудь спутал.

— Правильно. Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь. Так? Но ты сама просила меня рассказывать.

— Пожалуйста, рассказывай,— сказала девушка.— Я бы хотела быть твоей кисой, но не знаю, что для этого нужно. Я ведь всего-навсего девушка из Венеции и люблю тебя.

— Так и запишем,— сказал полковник.— И я тебя люблю. А это словечко я, кажется, подцепил на Филиппинах.

— Может быть. Но мне бы хотелось быть просто твоей девушкой.

— Ты и есть моя девушка,— сказал полковник.— Вся целиком, со всеми потрохами.

— Пожалуйста, не говори грубостей,— сказала она.— Пожалуйста, люби меня и рассказывай все, как было, но только не расстраивайся.

— Я расскажу тебе все, как было,— сказал он.— Во всяком случае, постараюсь, и будь что будет. Если уж ты интересуешься, лучше тебе все узнать от меня, чем прочесть в какой-нибудь дерьмовой книжке.

— Пожалуйста, не надо быть грубым. Ты просто расскажи мне все, как было, и обними крепче, но рассказывай по порядку, чтобы у тебя на душе стало легче. Если тебе это удастся.

— Мне не от чего облегчать душу,— сказал он.— Разве что от воспоминания о том, как тяжелые бомбардировщики действуют в тактических целях. Я ничего против них не имею, если они действуют правильно,— пусть тебе грозит смерть. Но для поддержки наземных сил мне подавай кого-нибудь вроде Кесады<sup>1</sup>. Вот кто влепит им пинка в задницу.

---

<sup>1</sup> Кесада Элвуд — генерал-лейтенант, командующий тактической авиацией США.

— Пожалуйста, не надо...

— Если ты захочешь бросить такую старую клячу, как я, этот парень всегда окажет тебе поддержку.

— Ты вовсе не старая кляча, что бы это ни значило, и я тебя люблю.

— Пожалуйста, дай мне две таблетки вон из той бутылочки и налей бокал вальполичеллы, который ты так и не налила, а я расскажу тебе еще кое-что.

— Не надо. Не надо рассказывать, я теперь знаю, что тебе это вредно. Особенно — про тот день, когда появился экспресс «Валгалла». Я не инквизитор, или как там называют инквизиторов женского рода. Давай полежим тихо и поглядим в окно, что творится у нас на Большом Канале.

— Пожалуй, это в самом деле лучше. Да и кому какое дело до этой проклятой войны!

— Разве что нам с тобой, — сказала она и погладила его по голове. — Вот тебе две таблетки из квадратной бутылочки. Вот бокал вина. Надо мне в самом деле прислать тебе вина из нашего имения. Давай немножко поспим. Только будь хорошим и давай просто полежим. Положи, пожалуйста, сюда свою руку.

— Здоровую или раненую?

— Раненую, — сказала девушка. — Ту, которую я люблю и не могу забыть всю неделю. Я же не могу взять ее на память, как ты взял камни.

— Они лежат в сейфе, — сказал полковник. — Положены на твое имя, — добавил он.

— Давай просто поспим и не будем больше говорить ни о камнях, ни о грустном.

— К черту грусть, — сказал полковник, лежа с закрытыми глазами и положив голову на черный свитер, который был ему дорожке родины.

Надо же иметь настоящую родину, — подумал он. — Моя — вот она.

— Жаль, что ты не президент, — сказала девушка. — Ты был бы замечательным президентом.

— Президентом? Когда мне было шестнадцать, я записался в национальную гвардию штата Монтана. Но я никогда в жизни не носил галстука бабочкой и никогда не был прогоревшим галантерейщиком<sup>1</sup>. Нет у меня данных, чтобы стать президентом. Я даже оппозиции не мог бы возглавить, ведь мне не приходится подкладывать под зад телефонные справочники, когда меня фотографируют. И я не из тех генералов, которые пороха не нюхали. Какого черта, меня даже к Верховному союзному командованию не прикомандировали! И убежденным седидами сенатором мне тоже не быть. Для этого я недостаточно стар. Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение не проветрено, и на разбитом рояле бренчит тапер-любител.

— Я не все поняла, ведь я так плохо понимаю по-американски. Но это звучит ужасно. А ты все равно не сердись. Лучше я буду сердиться.

— Ты знаешь, что такое прогоревший галантерейщик?

— Нет.

— Само по себе это еще не позор. У нас в Америке их видимо-невидимо. По крайней мере по одному на каждый город. Но я-то, дочка, всего лишь старый солдат, самый последний человек на свете.

---

<sup>1</sup> Намеки на президента Трумэна.

Кандидат в Арлингтон<sup>1</sup>, если тело будет возвращено семье. Выбор кладбища остается за семьей.

— Арлингтон красивое место?

— Не знаю, — сказал полковник. — Меня там пока не хоронили.

— А где бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?

— Высоко в горах, — сказал он, мгновенно приняв решение. — На любой высоте, где мы били противника.

— Тогда тебя надо похоронить на Граппе.

— В каком-нибудь уголке, на любом изрытом снарядами склоне, лишь бы летом надо мной пасли скот.

— А там пасут скот?

— Конечно. Скот пасут летом повсюду, где трава густая. А девушки из горных поселков, крепко сбитые девушки из крепко сбитых домов, которым не страшны снежные вьюги, загнав осенью скот, ставят капканы на лис.

— И тебе не нравится Арлингтон, или Пер-Лашез, или то, что здесь у нас?

— Эта ваша гнусная свалка?

— Да, хуже, чем это кладбище, у нас в городе нет ничего. Но я стараюсь, чтобы ты лежал там, где тебе нравится, а, если хочешь, сама лягу рядом.

— Нет. Это делают всегда в одиночку. Ведь не ходят же вдвоем в сортир!

— Не говори грубых слов, пожалуйста.

— Я хотел сказать, что мне было бы хорошо рядом с тобой. Но смерть — дело сугубо личное и довольно противное. — Он остановился, подумал и неожиданно сказал: — Нет. Выходи замуж, роди пятерых сыновей и всех назови Ричардами.

— Львиное сердце, — без запинки сказала девушка, вступив в игру и положив карты на стол.

— Паршивое сердце, — сказал полковник. — Сердце несправедливого, желчного придиры, который хулит все на свете.

— Пожалуйста, не смей так себя называть, — сказала девушка. — Ты ведь хуже всего говоришь о себе самом. Обними меня крепче и давай ни о чем не думать.

Он обнял ее крепко, как только мог, и попытался ни о чем не думать.

## Глава прищипая

Полковник и девушка лежали молча, и полковник старался ни о чем не думать, как это часто с ним бывало в разное время и в разных местах. Но сейчас у него ничего не выходило. Не выходило потому, что времени осталось так мало.

Слава богу, они не Отелло и Дездемона, хотя дело происходит в том же городе и девушка куда красивее, чем та, у Шекспира, а полковник повоевал ничуть не меньше, а то и больше, чем болтливый мавр.

Они отличные солдаты, — подумал он, — эти проклятые мавры. Но сколько же мы их истребили на моем веку! Кажется, больше целого поколения, если считать последнюю марокканскую кампанию против Абд-эль-Керима<sup>2</sup>. А ведь каждого из них приходилось убивать от-

<sup>1</sup> Военное кладбище в Вашингтоне.

<sup>2</sup> Предводитель восставших в 1921 году марокканских племен, разбивший испанские войска и возглавивший независимое государство Риф. Победен соединенными силами Франции и Испании в 1926 году.

дельно. Никто никогда не истреблял их скопом, как мы истребляли фрицев, пока они не нашли свое Einheit<sup>1</sup>.

— Дочка,— спросил он,— ты в самом деле хочешь, чтобы я все тебе рассказал, лишь бы не рассказывал слишком грубо?

— Хочу больше всего на свете. Тогда мы сможем делиться хоть воспоминаниями.

— Стоит ли ими делиться,— сказал полковник.— Бери себе все, дочка. Но это будут только самые яркие эпизоды. Тебе не понять военных тонкостей кампании, да и мало кто их понимал. Может быть, Роммель. Правда, во Франции он не вылезал из котлов, да к тому же мы уничтожили его коммуникации. Это сделали военно-воздушные силы — наши и английские. Но с ним я бы не прочь кое-что обсудить. С ним и с Эрнстом Удетом.

— Рассказывай все, что хочешь, и выпей бокал вальполичеллы; но, если тебе будет тяжело, замолчи. Или вообще ничего не рассказывай.

— Вначале я был полковником резерва. Их держат, чтобы затыкать дыры: командиры дивизий заменяют ими тех, кого убили или разжаловали,— добросовестно принялся объяснять полковник.— Убивают редко, а разжалуют многих. Хорошие получают повышение. И довольно быстро, когда все кругом горит.

— Говори, говори. А тебе не пора принять лекарство?

— А будь оно проклято, это лекарство! И Верховное командование союзными экспедиционными силами.

— Это ты мне уже объяснял,— сказала девушка.

— Жаль, черт возьми, что ты не солдат,— ты так здорово соображаешь, и память у тебя прекрасная.

— Я бы хотела быть солдатом, если бы ты был моим командиром.

— Только не вздумай воевать под моим началом,— сказал полковник.— Я свое дело знаю. Но мне не везет. Наполеон подбирал командиров, которым везло, и он был прав.

— Но нам ведь с тобой везло.

— Да,— сказал полковник.— Как когда.

— Все равно, это было везенье.

— Ну да,— сказал полковник.— Но на войне теперь одного везенья мало. Хотя и без него не обойдешься. Те, кто выезжал на одном везенье, пали на поле брани, как наполеоновская кавалерия.

— Отчего ты так ненавидишь кавалерию? Почти все мои знакомые молодые люди из хороших семей служили в трех хороших кавалерийских полках или во флоте.

— Никого я не ненавижу, дочка,— сказал полковник и отпил глоток легкого сухого красного вина, душевного, как дом брата, если вы с братом живете душа в душу.— Просто у меня своя точка зрения, я долго размышлял и понял, на что она годится, эта кавалерия.

— И она действительно так уж плоха?

— Никуда не годится,— сказал полковник. Потом, вспомнив о своем намерении быть добрым, добавил: — В наше время.

— Каждый день теряешь какую-нибудь иллюзию.

— Нет. Каждый день — это новая, прекрасная иллюзия. Но все, что в ней есть фальшивого, надо отрезать, как бритвой.

— Пожалуйста, только не отрезай меня.

— Тебя не возьмет никакая бритва.

— Поцелуй меня и обними покрепче, и давай смотреть на Большой Канал — он сейчас так красиво освещен — и рассказывай дальше.

---

<sup>1</sup> Единство (нем.).

Они посмотрели на Большой Канал, который и в самом деле был красиво освещен, и полковник продолжал:

— Я получил полк потому, что командующий сместил одного паренька, которого я знал еще тогда, когда ему было восемнадцать. Понятно, пареньком он уже не был. Полк оказался ему не по плечу, но для меня этот полк был пределом мечтаний, пока я его не потерял.— Он добавил: — Разумеется, по приказу начальства.

— А как люди теряют полк?

— Ты бьешься, чтобы занять выгодные позиции, и вот тебе остается только послать парламентаря, чтобы противник обдумал свое положение и, если ты прав, сдался. Профессиональные военные — люди разумные, а эти фрицы были профессионалы, а не фанатики. Но тут трещит телефон, говорит кто-нибудь из штаба корпуса и передает приказ из штаба армии или, может, армейской группы, а то и приказ самого Верховного командования; дело в том, что там вычитали в какой-то газетной заметке, скажем, из Спа, название этого города и отдали приказ — взять город штурмом. Город, видите ли, очень важный, не зря ведь он попал в газету. И ты должен штурмовать.

Вот и кладешь целый батальон на мосту. Один батальон теряешь целиком, да и от трех других мало что остается. Танки выходят из строя, едва успев двинуться с места, а двигаются они быстро и вперед, и назад.

Подбит первый танк, за ним второй, третий, четвертый, пятый.

Из пяти человек, сидящих в танке, обычно вылезает трое; они пускаются наутек, как участники кросса, отстаивающие честь Миннесоты в соревновании с городом Бенуа, штат Висконсин. Я тебе еще не надоел?

— Нет. Я не поняла, что ты сказал про эти американские города. Но ты мне потом объяснишь, когда захочешь. Пожалуйста, продолжай.

— Ты врываешься в город, и тут какой-то штабной ферт бросает на тебя авиацию. Может быть, налет был назначен заранее и его просто забыли отменить. Не будем никого судить слишком строго. Я рассказываю в общих чертах. Уточнять ни к чему, да и штатский все равно не поймет. Даже ты. От этого воздушного налета не бог весть какая польза, дочка. В городе, пожалуй, тебе все равно не удержаться — слишком мало у тебя осталось людей, а теперь еще надо кого-то выкапывать из-под развалин. Или, наоборот, там и бросить — на этот счет существуют две разных теории. А тебе приказывают штурмовать. Приказывают снова.

Приказ категорически подтвердил некий политик в мундире, который за всю свою жизнь ни разу не был ранен и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге. Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом. Или кем угодно. Но все-таки вообрази — и его, и весь его штат, вообрази себе эту огромную контору, расположенную так далеко в тылу, что с нею было бы проще всего сношаться голубиной почтой. Только вот при тех мерах предосторожности, которые они соблюдали для защиты своей персоны, зенитки наверняка сбили бы голубей. Если бы смогли в них попасть.

Вот ты и пошел опять на штурм. Теперь я расскажу тебе, на что это похоже.

Полковник вглядывался в игру света на потолке. Там отражалась поверхность канала. Что-то причудливо дрожало и переливалось, как ручей, где ловят форель, двигалось вместе с солнцем, и все лилось куда-то, но никуда не уходило.

Потом он посмотрел на девушку, на ее прекрасное, смуглое лицо взрослого ребенка, от которого у него сжималось сердце,— ему надо

с ней расстаться в тринадцать тридцать пять, и тут уж ничего не поделаешь, и сказал:

— Давай не будем больше говорить о войне, дочка.

— Нет,— сказала она.— Поговорим еще. Тогда мне хватит на всю неделю.

— Неделя — короткий срок. Если речь идет о тюремном заключении.

— Ты не знаешь, какая неделя длинная, когда тебе девятнадцать.

— Мне не раз приходилось чувствовать, каким длинным бывает час,— сказал полковник.— Я бы мог тебе рассказать, как бесконечно тянутся две с половиной минуты.

— Пожалуйста, расскажи.

— Я проводил двухдневный отпуск в Париже после боев у Шне-Эйфель и по знакомству удостоился чести попасть на совещание, куда были допущены только избранные и где генерал Уолтер Беделл Смит объяснял нам, какой легкой будет операция, получившая позднее название «операции Хертгенского леса». Название, собственно, неточное. Хертгенский лес был только небольшим участком фронта. Вся местность называлась Штаттсвальд; там немецкое верховное командование и решило дать нам сражение после того, как мы взяли Ахен и проложили себе дорогу в Германию. Я тебе еще не надоел?

— Ты не можешь мне надоест. И о войне ничего не может мне надоест, кроме лжи.

— Странная ты девушка.

— Да,— сказала она.— Это я и сама давно знаю.

— Ты действительно хотела бы пойти на войну?

— Не знаю, смогла бы я или нет. Но я бы попробовала, если бы ты меня научил.

— Ни за что не буду тебя учить. Я только рассказываю тебе забавные истории.

— «Грустные истории о гибели королей»<sup>1</sup>.

— Нет. У нас их называли Джи-Ай<sup>2</sup>. Господи, как я ненавижу эту кличку и как ее затрепали. Особенно любители комиксов. Те, кого так звали, пришли из самых разных мест. Большинство поневоле. Не все. Но все читали газету «Старс энд страйпс»<sup>3</sup>, и непременно нужно было, чтобы там упомянули часть, которой ты командуешь, иначе тебя считали неудачником. Обычно я и был неудачником. Я пытался дружить с корреспондентами, и на том совещании, о котором я говорю, было несколько очень хороших. Не стану называть их фамилий, не то еще пропущу кого-нибудь, а это было бы несправедливо. Всех хороших корреспондентов я не запомнил. Но были среди них и такие, которые увиливали от военной службы; были жулики, которые вопили, что ранены, когда их задевал рикошетом осколок железа, и носили нашивки за ранение, если попадали в автомобильную аварию; были пролазы, трусы, вруны, мародеры и карьеристы. На совещании не присутствовали только убитые. Среди них тоже были свои убитые. Немалый процент. Но убитые, как я уже сказал, не пришли. Зато там были женщины в потрясающих мундирах.

— Как же ты все-таки женился на одной из них?

— Я ведь объяснял — по ошибке.

— Рассказывай дальше.

---

<sup>1</sup> Шекспир, «Ричард II», акт III, сцена 2.

<sup>2</sup> Джи-Ай — начальные буквы слов «Сделано Правительством», которые печатались на всех предметах солдатского обихода в США; в годы второй мировой войны — солдатская кличка.

<sup>3</sup> Армейская газета в США.

— В комнате висело больше карт, чем сам господь бог мог бы изучить за рабочий день, даже если бы он был в ударе, — продолжал полковник. — Большие карты, средние карты и гигантские карты. Все эти люди прикидывались, будто запросто в них разбираются, как, впрочем, и штабисты с указками в руках; указка — это нечто вроде бильярдного кия с куцым задом.

— Не говори грубых слов. Я не знаю, что такое куцый зад.

— Обрубленный или укороченный на скорую руку, — объяснил полковник. — Никчемный инструмент или никчемная личность. Это старинное выражение. Его, наверно, можно найти даже в санскрите.

— Ладно, рассказывай.

— А зачем? Разве позор заклеямишь словами?

— Если хочешь, я все запишу. Я умею точно записывать все, что слышу и о чем думаю. Конечно, иногда я делаю ошибки.

— Ну, ты просто счастливица, если умеешь точно записывать все, что слышишь или о чем думаешь. Но не смей ничего записывать из того, что я рассказываю.

Он продолжал:

— Комната набита корреспондентами, одетыми как бог на душу положит. Одни скалят зубы, другие полны рвения. Чтобы пасти это стадо, тут же толпится, размахивая указками, кучка pistolетных фертиков. Так мы зовем тыловых крыс, выраженных в мундир, как на маскараде; pistolетный фертик возбуждается всякий раз, когда кобура бьет его по ляжкам. Между прочим, дочка, наш pistolет в отличие от доброго старого револьвера дает промах в бою чаще всякого другого оружия. Не бери в подарок pistolета, разве что захочешь стукнуть им кого-нибудь по голове у «Гарри».

— Мне никогда никого не хотелось стукнуть, кроме, пожалуй, Андреа.

— Если вздумаеть когда-нибудь стукнуть Андреа, бей его дулом, а не рукояткой. Рукояткой бить неудобно и легко промазать, а если попадешь, у тебя все руки в крови, когда прячешь pistolет. А вообще бить Андреа не надо — он мой друг. И не думаю, что ударить его будет так просто.

— Да, я тоже не думаю. Пожалуйста, рассказывай дальше об этом совещании. Мне кажется, я бы теперь могла узнать pistolетного фертика сразу. Но, конечно, лучше сначала потренироваться.

— Так вот, pistolетные фертики, гордые собой и своими pistolетами, ожидали появления великого полководца, который должен был объяснить предстоящую операцию. Корреспонденты ворчали, хихикали, а те, кто был поумнее, либо сидели насупившись, либо на все плевали. У каждого был складной стульчик, как летом в университете в Чаутокве. Прости, что я употребляю американские словечки, но без этого у нас, американцев, не обойдешься. И вот вошел генерал. Это тебе не pistolетный фертик, он крупный делец, знает толк в политике, привык ворочать большими делами. А сейчас армия — самое большое предприятие в мире. Он берет в руки указку с куцым задом и уверенно, не чуя беды, объясняет, как пойдет наступление, зачем мы его затеяли и как все это легко. Проще простого.

— Дальше, — сказала девушка. — Дай я долью тебе вина и, пожалуйста, посмотри, как играет свет на потолке.

— Долей, а я посмотрю на свет и буду рассказывать дальше.

Затем этот ловкий делюга — я говорю без всякой насмешки, отдавая должное его талантам, — сообщил, что у нас будет все необходимое. Всего будет вдоволь. Организация, которую именовали Верховным командованием союзными экспедиционными силами, размещалась тогда в городе Версале, возле Парижа. Нам предстояло наступ-

пать к востоку от Ахена, примерно в трехстах восьмидесяти километрах от этой резиденции. Как бы армия ни была велика, штабу все же можно подтянуться поближе к фронту. В конце концов они перебрались в Реймс, который находился всего в 240 километрах от передовой. Но только много месяцев спустя. Я понимаю, что директору крупной фирмы лучше не общаться со своими рабочими. Я понимаю, что армия большая и это создает свои трудности. Я даже кое-что понимаю в организации передвижения войск, что вовсе не так сложно. Но во всей мировой истории ни один командующий не сидел так далеко в тылу.

— Расскажи, как вы взяли город.

— Хорошо, — сказал полковник. — Но я бы не хотел тебя огорчать.

— Ты меня никогда не огорчаешь. У нас старинный город, и наши люди всегда воевали. Мы уважаем военных больше других людей и, по-моему, немножко их понимаем. Мы знаем, что характер у них не легкий. Женщины они надоедают быстро.

— А я тебе надоел?

— А как ты думаешь? — спросила девушка.

— Я даже себе надоел, дочка.

— Вряд ли, Ричард; вряд ли ты бы занимался чем-нибудь всю жизнь, если бы тебе это надоело. Пожалуйста, милый, не лги, ведь у нас осталось так мало времени.

— Хорошо, не буду.

— Видишь, ты должен мне все рассказать, чтобы избавиться от горечи.

— Я тебе все расскажу.

— Понимаешь, я хочу, чтобы ты умер с легким сердцем. Ах, я совсем не то говорю! Не давай мне говорить чепуху!

— Не дам, дочка.

— Пожалуйста, рассказывай дальше и говори все, что у тебя на душе.

## Глава придецапъ первая

— Слушай, дочка, — сказал полковник. — Хватит говорить о великих мира сего, о больших шишках, которых у нас в одном Канзасе больше, чем на всех ваших кипарисах. В пищу они не годятся — это чисто канзасский продукт. Но мы на фронте их получали большими порциями. Каждый божий день. Они входили в паек. А пайки у нас были разные, одни лучше, другие хуже.

Так мы и воевали. Скучная это материя, хоть и поучительная. Вот как бывает на войне, — не знаю только, кому это интересно.

Вот как это бывает. В тринадцать ноль ноль Красные передают, что двинутся вслед за Белыми. В тринадцать ноль пять (запомни, если можешь, дочка, — это пять минут второго) Синие запрашивают (надеюсь, ты знаешь, кто такие Синие!): «Сообщите, когда выступаете». Красные сообщают, что двинутся вслед за Белыми.

Видишь, как просто. Каждый может поупражняться в этом перед завтраком.

— Но не могут же все служить в пехоте, — вполголоса сказала девушка. — Пехотинцев я уважаю больше всего на свете, кроме, разве что хороших, честных летчиков. Пожалуйста, рассказывай, а я тебя обниму.

— Хорошие летчики — молодцы, их надо уважать, — сказал полковник.



Он поднял глаза, посмотрел, как мерцает свет на потолке, и с отчаянием вспомнил о потерянных батальонах и загубленных людях. Никогда больше не будет у него такого полка, никогда! Правда, не он его сколачивал. Он получил его в наследство. Но какое-то время полк доставлял ему огромную радость. Теперь половина его убита, а остальные покалечены. Кто был ранен в живот, кто в голову, в руки или в ноги, в шею, в спину, кому повезло — в ягодицы, кому нет — в грудь. В лесу людей ранило в такие места, куда ни за что не попало бы в открытом поле. И раненные становились инвалидами на всю жизнь.

— Это был хороший полк,— сказал он.— Можно даже сказать, прекрасный полк, пока я не уничтожил его по приказу начальства.

— Но зачем слушаться чужих приказов, если ты знаешь, что они неправильные?

— В нашей армии ты должен слушаться, как собака,— пояснил полковник.— Одна надежда, что тебе попадетсЯ хороший хозяин.

— А какие тебе попадались на самом деле?

— Хорошие мне попадались только два раза. После того как я сам стал командовать, мне часто попадались славные люди, но хорошие хозяева — только два раза.

— И поэтому ты сейчас не генерал? Мне бы так хотелось, чтобы ты был генералом.

— Мне тоже,— сказал полковник.— Хотя, может быть, и не так, как тебе.

— А ты не попробуешь заснуть? Засни, я тебя прошу.

— Хорошо,— сказал полковник.

— Я подумала, что если ты заснешь, ты хотя бы во сне избавишься от дурных воспоминаний.

— Хорошо,— сказал полковник.— Большое тебе спасибо.

Что поделаешь, господа! Повиноваться — удел мужчины.

## Глава двадцать вторая

— Ты хорошо поспал,— нежно и ласково сказала ему девушка.— Тебе ничего не нужно?

— Ничего,— сказал полковник.— Спасибо.

Тут он вдруг ощетинился и добавил:

— Дочка, я бы мог заснуть, сидя на электрическом стуле с разрезанными штанинами и остриженной головой. Я сплю, когда нужно и сколько нужно.

— Я так не могу,— ответила сонным голосом девушка.— Я сплю только, когда меня клонит ко сну.

— Ты — мое чудо,— сказал полковник.— Ты и спишь лучше всех.

— Вот уж нечем хвастать,— сквозь сон сказала девушка.— Мне просто хорошо спится.

— Вот и поспи, пожалуйста.

— Нет. Рассказывай мне тихо-тихо и положи свою больную руку в мою.

— А ну ее к черту, мою руку! — сказал полковник.— И с каких это пор она такая больная?

— Она больная,— сказала девушка.— Больнее, чем ты даже можешь себе представить. Ну, рассказывай, пожалуйста, о войне, но не будь таким кровожадным.

— Что ж, это не трудно,— сказал полковник.— Не будем уточнять время. Погода облачная, а место действия — отметка 986342. Обстановка? Выкуриваем противника огнем артиллерии и минометов. На-

чальник оперотдела передает приказ начальника штаба — привести Красных в боевую готовность к семнадцати ноль ноль. Начальник штаба приказывает тебе привести себя в боевую готовность и пустить в ход побольше артиллерии. Белые сообщают, что дела идут недурно. Начальник штаба передает, что рота «А» перебрасывается на усиление роты «Б».

Рота «Б» остановлена огнем противника и, не выполнив задания, застряла. Начальник штаба недоволен оборотом дела. Но это совершенно секретно. Он приказывает усилить артподготовку, а в резерве артиллерии не осталось...

И на что тебе сдалась эта война, дочка? Не понимаю. А может, и понимаю. Кому нужна правда о войне? Ну да ладно, вот тебе настоящая война, война по телефону, а потом, если хочешь, я опишу звуки, запахи и распишу, кто, когда и где был убит.

— Я хочу, чтобы ты рассказывал только то, что сам хочешь.

— Я расскажу тебе все, как было, — сказал полковник. — А генерал Уолтер Беделл Смит и по сей день этого не знает. Хотя, может, я и ошибаюсь, как ошибался не раз.

— Как хорошо, что нам не нужно встречаться ни с ним, ни с тем салонным шаркуном, — сказала девушка.

— На этом свете нам они не встретятся, — сказал полковник. — А к воротам ада я приставлю караул, чтобы туда таких типов не впускали.

— Ты говоришь, как Данте, — сказала она спросонок.

— Я и есть мистер Данте, — сказал он. — В данный момент.

Так оно теперь и было, и он описал все круги ада. Он был так же пристрастен, как когда-то Данте, но он их все-таки описал.

## Глава двадцать третья

— Я опущу подробности, тебе ведь хочется спать, и в этом нет ничего удивительного, — сказал полковник.

Он снова стал наблюдать за причудливой игрой света на потолке. Потом посмотрел на девушку, которая была красивее всех девушек на свете.

Он видел, как красота приходит и уходит, а уж когда уходит, то летит быстрее, чем на крыльях. Красавицы быстро превращаются в старую рухлядь! Но эта, пожалуй, долго не сойдет с круга. Темноволосые женщины сохраняются лучше, подумал он, и посмотрел, какое у нее тонкое лицо. У нее хорошая порода, она может держаться вечно. В Америке большинство знаменитых красавиц вышли из-за прилавка, торговали газированной водой и не помнят фамилии деда, разве что он был из немцев и звался Шульц. Или Шлиц.

Ну, это уж нехорошо, — сказал он себе, — не смей говорить такие вещи этой девушке, они ей не понравятся, а она крепко спит, свернувшись калачиком, как кошка.

— Спи спокойно, дорогая любовь моя, а я так и быть расскажу тебе, как было дальше.

Девушка спала, она все еще держала его искалеченную руку, которая ему так опротивела, и он чувствовал ее дыхание, — так дышат только в молодости, когда заснуть легко.

Полковник рассказывал ей, не произнося ни слова.

Итак, после того, как я имел честь услышать от генерала Уолтера Беделла Смита, как легко будет наступать, мы перешли в наступле-

ние. Тут была и знаменитая Красная дивизия, она свято верила во всю ту шумиху, которую сама вокруг себя подняла. И Девятая — та была лучше, чем наша. Наконец, были мы — когда нам говорили «вперед», мы поднимались и шли.

На чтение комиксов времени у нас не хватало, да впрочем, и ни на что другое: еще не рассвело, а мы уже на марше. Это не так-то легко, тут уж не до Великого Плана, думаешь о своей дивизии, и только.

Мы носили четырехлистник клевера — это ничего не означало, но нам нравилось. И стоит мне теперь увидеть такую нашивку, как внутри у меня все переворачивается. Люди принимали это за плющ. Но ничего подобного, это был клевер с четырьмя листиками, делавший вид, будто он плющ.

Согласно приказу мы должны были наступать вместе со знаменитой Красной дивизией — Первой пехотной дивизией американской армии, а эта дивизия и ее офицер по связи с печатью, вечно напевавший модную песенку, не давали нам забыть, с кем мы имеем дело. Сам он был славный малый, но такая уж у него была должность.

Втирать очки — дерьмовое дело, и оно легко может осточертеть, если только вы не любите запаха или вкуса дерьма. Я никогда не любил ни того, ни другого. Правда, когда я был мальчишкой, я любил ходить босиком по коровьему навозу. Но теперь я не люблю дерьма и различаю его вонь за добрую тысячу ярдов.

Итак, мы двинулись в наступление, растянувшись всеми тремя дивизиями в одну линию, как раз там, где этого хотели немцы. Не будем помянуть лихом генерала Уолтера Беделла Смита. Он не злодей. Он только наобещал с три короба и расписал, как пойдет дело. В нашем демократическом обществе злодеев как будто быть не должно. Генерал Уолтер Беделл Смит всего-навсего дьявольски просчитался. Точка, — добавил про себя полковник.

Вплоть до второго эшелона у всех снимали нашивки, — фрицы не должны были знать, что наступаем именно мы, хорошо знакомые им три дивизии. А мы наступали, растянувшись в линию, без всяких резервов. Не берусь тебе объяснять, дочка, что это значит. Во всяком случае, ничего хорошего. Месту, где мы должны были дать бой, — а я к нему как следует присмотрелся, — суждено было стать новым Пашендейлем<sup>1</sup>. Только это был лес, и снаряды обладали двойной убойной силой. Может, я перехватил. Но так уж я думаю.

Злосчастная Двадцать восьмая дивизия, наш сосед справа, торчала здесь уже довольно давно, так что мы знали точно, каково воевать в этих лесах. Думаю, что обстановку, мягко говоря, можно было назвать неблагоприятной.

Нам приказали ввести в бой один полк еще до начала общего наступления. Значит, противник может захватить по крайней мере одного пленного, и снимать дивизионные нашивки теперь уже глупо. Все равно они нас будут ждать. Будут ждать наших ребят с листиками клевера, и те, как ослы, отправятся прямо в ад, где пробудут ровно сто пять дней. Не будем приводить цифры — штатским они все равно ничего не скажут. Да и типам из штаба Верховного командования тоже, — никого из них мы, правда, в тех лесах и не видели. По чистой случайности — а наверху такие происшествия всегда зовут случайностью — весь полк был уничтожен. Никто ни сном, ни духом не был в этом виноват, и меньше всего тот, кто этим полком командовал. Это был человек, с которым я бы охотно делил свой досуг в аду, и, кто его знает, может, мне это еще удастся.

<sup>1</sup> Местечко в Бельгии, район ожесточенных боев в первую мировую войну.

Вот смешно, если вместо того, чтобы отправиться в ад, как мы рассчитывали, мы попадем в одно из этих заведений для фрицев, вроде Валгаллы, и не сумеем ужиться с местными жителями. Но, даст бог, меня посадят за один столик с Роммелем и Удетом, — тогда это будет точь-в-точь как в горном пансионе для лыжников. Нет, скорее всего мы все-таки попадем в ад, но я вот даже в ад не верю.

Так или иначе, полк получил свежее пополнение, как и всякий американский полк. Не буду объяснять, как это происходит, — ты всегда сможешь прочесть книгу, написанную кем-нибудь из пополнения. В конечном счете дело сводится к тому, что ты остаешься на передовой, пока тебя не убьют, не ранят, или пока ты не спишишь и не получишь увольнение вчистую. В общем, система не хуже всякой другой, и ей нельзя отказать в логике, учитывая трудности войсковых перевозок. Но при этом остается несколько недобитых субъектов, которые ведут счет потерям и не больно-то хотят оставаться в этом лесу.

Их настроение можно довольно точно передать словами: «А подите вы все к разэтакой матери».

И поскольку я сам вот уже двадцать восемь лет недобитый субъект, я их отлично понимал. Но они были солдаты, деваться им было некуда, и большинство из них полегло в этих лесах, когда мы брали три городка, которые выглядели так безобидно, а на деле оказались настоящими крепостями. Они были просто ловушкой, а мы об этом и не подозревали. Выражаясь на глупом языке моего ремесла, — не исключено, что тут не сработала разведка.

— Мне ужасно жалко тот полк, — произнесла девушка.

Она сказала это со сна.

— Да, — ответил полковник. — Мне тоже. Давай-ка, выпьем за него. А потом, поспи, пожалуйста, еще, дочка. Война кончилась и уже позабыта.

Только, пожалуйста, не думай, что я такого высокого о себе мнения, дочка, — сказал он, но не произнес этого вслух. Его последняя любовь заснула опять. Спала она совсем не так, как журналистка. Он не любил вспоминать, как та спит, но помнил. И хотел позабыть. Та спала не очень-то красиво, — думал он. — Не то, что эта девушка, которая будто и не спит, а только веки опустила, хотя и спит. Спи спокойно, — подумал он.

А кто ты, черт возьми, такой, чтобы ругать ремесло журналисток? Ведь и сам ты выбрал неважное ремесло, да и в нем не очень-то преуспел.

Я хотел дослужиться до генеральской должности в американской армии, и своего достиг. Но карьеры так и не сделал и теперь ругаю всех, кто добился успеха...

Его покаянное настроение длилось недолго, и он про себя добавил: помолчим о подхалимах, взяточниках и пролазах, которые, хоть и командовали, но никогда не дрались.

Правда, под Геттисбергом<sup>1</sup> было убито несколько воспитанников военной академии. Но то было знаменитое побоище, и обе стороны дрались не за страх, а за совесть.

Не злись. В тот день, когда налетел экспресс «Валгалла», по ошибке убили генерала Макнейра. Так что же ты злишься? Значит, убивают и воспитанников военной академии, статистика это подтверждает. А как же я могу вспоминать, если не буду злиться?

Ладно, злись, если иначе не можешь. И расскажи обо всем этой девушке — но только молча, чтобы ее не огорчать, — посмотри, как хорошо она спит.

<sup>1</sup> Сражение под Геттисбергом было в гражданскую войну между Севером и Югом (1—3 июля 1863 года).

## Глава тридцать четвертая

Спи спокойно, любовь моя, а когда проснешься, все уже будет сказано, я шуткой отвлеку тебя от расспросов о моем *triste métier*<sup>1</sup>, и мы отправимся покупать маленького негра или мавра из черного дерева с точеным лицом и тюрбаном, усыпанным алмазами. Ты его приколешь к платью, мы пойдем выпить к «Гарри» и повидаемся с друзьями, которые окажутся там в этот час.

Мы пообедаем у «Гарри» или вернемся обедать сюда, а вещи мои в это время будут уже уложены. Мы с тобой попросимся, и я спущусь с Джексоном в *motocraft*<sup>2</sup>, переброшусь веселой шуткой с Гран Маэстро, помашу рукой всем прочим кавалерам Ордена и, судя по тому, как я себя чувствую, ставлю один против десяти или два против тридцати, что больше мы с тобой никогда не увидимся.

К дьяволу! — сказал он, ни к кому не обращаясь и уж во всяком случае не произнося этого вслух, — сколько раз я чувствовал себя так перед боем, и почти каждую осень, и всегда, когда покидал Париж. Самочувствие, верно, ничего еще не значит.

Да и кому до этого дело, кроме меня самого, Гран Маэстро и этой девушки? Уж во всяком случае, не начальству!

Мне и самому на это в высшей степени наплевать. Хотя пора бы мне научиться или привыкнуть не плевать на то, что и плевать не стоит. Это так же ясно, как то, что шлюха — всего только шлюха, то есть женщина, которая...

Но давай не будем об этом думать, мой лейтенант, капитан, майор, полковник или господин генерал. Брось, и будь ты проклята, уродливая старуха, которую когда-то так здорово написал Иероним Босх<sup>3</sup>. Вложи свою косу в ножны, старушка, если у тебя есть для нее ножны. Или, — подумал он, вспомнив о Хертгенском лесе, — возьми косу и подавься!

Да, это был Пашендейл, настоящий Пашендейл с взлетавшими в воздух стволами деревьев, — рассказывал он одним только ответам на потолок. Он посмотрел, крепко ли спит девушка, боясь огорчить ее даже своими мыслями.

Потом он взглянул на портрет и подумал: вот она передо мной сразу в двух положениях; одна лежит, чуть-чуть повернувшись на бок, а другая глядит мне прямо в лицо. Ну и повезло же тебе, старый хрыч, чего же ты ноешь!

## Глава тридцать пятая

В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили тут же, через двадцать минут, двух других чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальонов не растут на елке, даже на рождественской елке, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров рот. Но я мог бы установить и это.

Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хо-

<sup>1</sup> Скверное ремесло (франц.).

<sup>2</sup> Моторная лодка (итал.).

<sup>3</sup> Голландский художник (1450—1516).

ронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули.

Все время сыпал снег или какая-то крупа, похожая на снег, был дождь, туман; дороги были заминированы, кое-где лежало чуть не по четырнадцать мин в ряд, машины вязли в грязи, буксовали, мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали.

Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию.

Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смиренно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день.

Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспомню еще только два случая, чтобы от них отвязаться. Один произошел на голом пригорке, по дороге в Гроссгау.

Как раз перед тем, как выбраться на открытое место, — а оно просматривалось противником и простреливалось полевыми пушками, — вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только губичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок.

И все-таки это было довольно безопасное место; ей богу, не вру, да тут и не соврешь. Попробуй-ка, обмани тех, кто побывал в Хертгенском лесу; соври, и тебя уличат, не успеешь и рта открыть, будь ты хоть трижды полковник.

Вот тут мы и встретили грузовик, лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал: — Господин полковник, там впереди, посреди дороги, лежит убитый солдатик, всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать, и это, наверно, производит на людей скверное впечатление.

— Мы его уберем.

И мы его убрали с дороги.

Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило и как странно видеть сплющенного человека.

И еще. Мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре?

Сколько можно рассказать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не помешаешь. Люди возражат — мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня, и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане.

В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые они были румяными от мороза. Очень это было странно. Легом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные.

— Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы, — сказал он, обращаясь к портрету. — Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая полегла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?

— Они мертвы, — сказал он. — Лопни мои глаза.

Так с кем же мне чокнуться бокалом вальполичеллы? Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру. И я буду шутить и занимать тебя веселым разговором.

А что на свете есть веселого, портрет? Тебе ведь и карты в руки. Ты умнее меня, хотя я и больше твоего пошатался по свету.

Ладно, нарисованная девушка,— сказал полковник, не произнося вслух ни слова,— на этом мы кончим рассказ, а ровно через одиннадцать минут я разбудю живую девушку, мы выйдем с ней в город, будем веселиться, а тебя оставим здесь, и тебя запакуют.

Я не хотел тебя обидеть. Это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать,— ведь отныне мы будем жить с тобою вместе. Надеюсь, что будем жить,— добавил он и выпил бокал вина.

## Глава двадцать шестая

День был ветреный, холодный и ясный; они стояли у витрины ювелира и рассматривали фигурки негрят из черного дерева, украшенные драгоценными камнями. Какой из них лучше? — думал полковник.

— Какой тебе больше нравится, дочка?

— Пожалуй, правый. У него лицо симпатичнее, верно?

— Они оба симпатичные. Но живи мы с тобой в прежние времена, я бы все же предпочел, чтобы тебе прислуживал тот.

— Хорошо. Тогда купим его. Давай войдем в магазин и посмотрим на них поближе. А я спрошу, сколько они стоят.

— Я один схожу.

— Нет, лучше спрошу я. С меня возьмут меньше. Ты же все-таки богатый американец.

— Et toi<sup>1</sup>, Рембо?

— Верлен из тебя вышел бы очень смешной,— сказала девушка.— Давай будем какими-нибудь другими знаменитостями, ладно?

— Входите, ваше величество, и поскорее купим эту проклятую побрякушку!

— Настоящий Людовик XVI из тебя тоже не получится.

— Но зато я поеду вместе с тобой на казнь и плюну с эшафота.

— Давай забудем о казнях и обо всех горестях, купим игрушку, а потом пойдем к Чиприани и будем играть в каких-нибудь знаменитостей.

Они вошли в магазин и попросили показать им негрят, девушка узнала, сколько они стоят, завязался оживленный разговор, после чего цену порядком снизили. Все же денег потребовалось больше, чем было у полковника.

— Я схожу к Чиприани и возьму у него взаймы.

— Не надо,— сказала девушка. Она попросила продавца: — Положите это в футляр и отправьте к Чиприани. Скажите, что полковник просит заплатить и спрятать до его прихода.

— Пожалуйста,— сказал продавец.— Все будет сделано.

Они снова вышли на улицу, на солнце, под беспощадные удары ветра.

— Имей в виду, твои камни я оставил в сейфе «Гритти» на твое имя,— сказал полковник.

— Не мои, а твои.

— Нет,— сказал он ей мягко, но так, чтобы она хорошенько по-

<sup>1</sup> И ты? (франц.).

няла. — Есть вещи, которых делать нельзя. Ты это знаешь. Ты вот не выходишь за меня замуж, и я это понимаю, хотя и не могу с этим согласиться.

— Ну что ж, — сказала девушка. — Понятно. Но возьми хоть один камень на счастье.

— Нет. Не могу. Он слишком дорого стоит.

— И портрет стоит денег!

— Это другое дело.

— Да, — признала она. — Верно. Кажется, я начинаю понимать.

— Я бы взял у тебя в подарок лошадь, если бы я был беден, молод и хорошо ездил верхом. Но не мог бы принять автомобиль.

— Да, теперь я, наконец, поняла. Куда бы нам пойти, сейчас, сию минуту, чтобы ты мог меня поцеловать?

— В этот переулок, если ты тут никого не знаешь.

— А мне все равно, кто здесь живет. Я хочу, чтобы ты меня покрепче обнял и поцеловал.

Они свернули в переулок и дошли до тупика, которым он кончался.

— Ох, Ричард, — сказала она. — Дорогой...

— Я тебя люблю.

— Пожалуйста, люби меня.

— Я тебя люблю.

Ветер поднимал ее волосы и закидывал ему за шею, и он поцеловал ее снова, чувствуя, как ветер треплет по его щекам шелковистые пряди.

Потом она вдруг резко вырвалась, посмотрела на него и сказала:

— Пойдем-ка лучше к «Гарри».

— Пошли. Давай играть в великих людей.

— Да, — сказала она. — Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я.

— Давай, — сказал полковник.

## Глава двадцать седьмая

У «Гарри» никого не было, кроме редких утренних посетителей, которых полковник не знал, и двоих людей, занимавшихся своим делом за стойкой.

В баре бывали часы, когда он наполнялся знакомыми с такой же неумолимой быстротой, с какой растет прилив у Мон-Сен-Мишеля. Вся разница в том, думал полковник, что часы прилива меняются каждый день, а часы наплыва у «Гарри» неизменны, как Гринвичский меридиан, метр-эталон в Париже или самомнение французского командования.

— Ты знаешь кого-нибудь из этих любителей выпить с утра? — спросил он девушку.

— Нет. Сама с утра не пью и никогда их не встречала.

— Их отсюда смоеет, когда начнется наплыв.

— Нет. Как только народу прибавится, они уйдут сами.

— Тебе не обидно, что мы пришли сюда не вовремя?

— Ты думаешь, что я сноб, если наш род такой старый? Как раз мы-то снобами и не бываем. Снобы — это те, кого ты зовешь хлюстами, и богатые выскочки. Ты когда-нибудь видел столько новых богачей?

— Да, — сказал полковник. — В Канзас-Сити, в загородном клубе. Я туда ездил из Форт-Райли играть в поло.

— И это было так же противно?

— Наоборот, очень мило. Мне там нравилось, эта часть Канзас-Сити очень красивая.



— Правда? Мне хочется туда с тобой поехать. А у них там тоже есть туристские лагеря? Такие, где мы сможем с тобой остановиться?

— Конечно. Но мы остановимся в гостинице «Мюльбах» — там самые огромные в мире кровати — и сделаем вид, будто мы нефтяные магнаты.

— А где мы поставим наш кадиллак?

— Ага, теперь это кадиллак!

— Да. Если не хочешь брать большой бьюик с гидравлическим управлением. Я объехала на нем всю Европу. Он снят в том номере «Вог»<sup>1</sup>, который ты мне послал.

— Придется, пожалуй, выбрать что-нибудь одно, — сказал полковник. — В общем ту машину, на которой мы решим поехать, поставим в гараж возле «Мюльбаха».

— А «Мюльбах» очень роскошный отель?

— Необычайно. Тебе понравится. Когда выедем из города, двинем на север до Сент-Джо, чего-нибудь выпьем в баре Рубиду, может, закажем и по второй, переедем через реку и свернем на запад. Сначала будешь править ты, а потом мы сможем меняться.

— То есть как меняться?

— Будем править по очереди.

— Сейчас правлю я.

— Давай поскорее проедем через эти скучные места и доберемся до Чимни-Рока и дальше до Скотсблаффа и Торрингтона. Вот когда ты увидишь настоящую природу!

— У меня есть все дорожные карты и книжка с советами, где надо обедать, и путеводитель по туристским лагерям и гостиницам.

— И ты все это изучаешь?

— Да, я это изучаю по вечерам, вместе с книжками, которые ты мне послал. А где мы получим права?

— В Миссури. Машину мы купим в Канзас-Сити. А туда мы летим, разве ты забыла? Можно, конечно, сесть и на хороший поезд.

— Я думала, мы полетим до Альбукерке.

— Это в другой раз.

— Мы будем останавливаться как только стемнеет в самых лучших гостиницах, по путеводителю. Я приготовлю тебе твой любимый напиток, ты в это время будешь читать газеты: «Лайф», «Тайм», или «Ньюс уик», а я — свеженький «Вог» и «Харперс базар».

— Да. Но мы непременно вернемся в Венецию.

— Конечно. И машину привезем. Мы поедем на итальянском пароходе, выберем самый лучший. А из Генуи на машине прямо сюда.

— Ты не хочешь где-нибудь переночевать по дороге?

— Зачем? Нам надо поскорей попасть домой.

— А где будет наш дом?

— Ну, это мы еще решим. В Венеции всегда сколько угодно домов. А тебе не хочется жить иногда за городом?

— Хочется, — сказал полковник. — Конечно, хочется.

— Тогда, проснувшись, мы будем видеть деревья. А какие деревья мы увидим во время путешествия?

— Главным образом сосну и тополь вдоль ручьев и еще осину. Подожди, ты увидишь, как осенью желтеет осина.

— Ладно, подожду. А где мы остановимся в Вайоминге?

— Сначала заедем в Шеридан, а там будет видно.

— Шеридан — красивое место?

— Замечательное. Мы поедем на машине туда, где шел бой с ин-

---

<sup>1</sup> Французский журнал мод.

дейцами,— я тебе о нем расскажу. Потом мы отправимся дальше, в сторону Биллинса, где погиб этот дурень Джордж Армстронг Кэстер, ты увидишь мемориальные доски на том месте, где их всех перебили, а я объясню тебе, как шло сражение.

— Ах, как здорово! А на что Шеридан больше похож: на Мантую, на Верону или на Виченцу?

— Ни на одну из них. Город стоит высоко в горах, почти как Скио.

— Значит, он похож на Кортину?

— Ничуть. Кортина — это высокое плато, окруженное горами. Шеридан прилепился прямо к склону. Возле Бигхорн нет холмов. Горы поднимаются прямо из долины. Оттуда виден Облачный Пик.

— А наши машины туда взберутся?

— Еще как взберутся. Но только я бы предпочел машину без гидравлического управления.

— Да и я могу без него обойтись,— сказала девушка. Потом она выпрямилась, чтобы не заплакать.— Как и без всего остального.

— Что ты будешь пить? — спросил полковник.— Мы еще ничего не заказали.

— Я, пожалуй, ничего не буду пить.

— Два очень сухих мартини и стакан холодной воды,— сказал полковник бармену.

Он сунул руку в карман, отвинтил крышку у бутылочки с лекарством и вытряхнул две больших таблетки на ладонь левой руки. Держа их, он снова завинтил крышку. Это было не так уж трудно для человека, который нередко обходился без помощи правой руки.

— Я ведь сказала, что ничего не буду пить.

— Ладно, дочка. По-моему, тебе не мешает выпить. Пусть пока постоит. А не то я сам выпью. Пожалуйста, не сердись. Я нечаянно заговорил так резко.

— Мы еще не взяли нашего маленького негритенка, который будет за мной ухаживать.

— Да. Я не хотел его брать, пока не придет Чиприани и я не расплачусь.

— Какие у тебя на все строгие правила!

— Да, строгие,— сказал полковник.— Ты уж меня, дочка, прости.

— Скажи три раза «дочка».

— *Nija, figlia*<sup>1</sup>, дочка.

— Не знаю, что и делать,— сказала она.— Давай лучше отсюда уйдем. Я люблю, когда на нас с тобой смотрят, но сегодня мне никого не хочется видеть.

— Футляр с негритенком лежит на кассе, сверху.

— Знаю. Я давно его заметила.

К ним подошел бармен и принес напитки, холодные, как лед, судя по запотевшему стеклу бокалов; он подал и стакан воды.

— Принесите тот пакетик, который прислали на мое имя, он лежит сверху на кассе,— сказал полковник.— Скажите Чиприани, что я пришло ему чек.

Он изменил свое решение.

— Хочешь выпить, дочка?

— Да. Если ты не рассердишься, что я тоже передумала.

Они чокнулись и выпили. Чокнулись они так легко, что бокалы едва коснулись друг друга.

— Ты был прав,— сказала она, чувствуя, как внутри разливается тепло и мгновенно пропадает грусть.

<sup>1</sup> Дочка (исп., итал.).

— Ты тоже была права,— сказал он, сжимая в ладони две таблетки.

Он решил, что принять их сейчас с водой неприлично. Поэтому, когда девушка отвернулась, провожая взглядом одного из утренних посетителей, он запил их martini.

— Ну как, пойдём, дочка?

— Да. Конечно.

— Бармен! — позвал полковник. — Сколько с меня? Не забудьте сказать Чиприани, что за эту ерунду я пришлю ему чек.

## Глава двадцать восьмая

Они пообедали в «Гритти», и, развернув негритенка из черного дерева, девушка приколола его у левого плеча. Фигурка была длиной около трех дюймов и довольно красива, если любишь такие вещи. А не любят их только дураки, думал полковник.

Не смей говорить грубости даже про себя,— сказал он мысленно. — Постарайся получше себя вести, пока вы с ней не распрощались. Что это за слово «прощай»,— думал он. — Так и просится в альбомные стишки.

Прощай и *bonne chance*<sup>1</sup> и *hasta la vista*<sup>2</sup>, а мы говорили просто *merde*<sup>3</sup>. И все тут! Счастливым путь — вот это хорошие слова! Прямо из песни,— думал он. — Счастливым путь, счастливый путь, вот и ступай в дорогу, унося с собой эти слова. И точка,— думал он.

— Дочка,— сказал он,— давно я не говорил, что тебя люблю?

— С тех пор, как мы сели за столик.

— Ну вот, а теперь говорю.

Когда они пришли в гостиницу, она сходила в дамскую комнату и терпеливо расчесала волосы. Вообще она не любила дамских комнат.

Она подкрасила губы, чтобы сделать рот таким, какой любит он, и сказала себе, старательно размазывая помаду: только ни о чем не думай. Только не думай. И не смей быть грустной, ведь он уезжает.

— Какая ты красивая.

— Спасибо. Мне хочется для тебя быть красивой, если у меня это выйдет, и если я вообще могу быть красивой.

— Какой звучный язык итальянский.

— Да. Мистер Данте тоже так думал.

— *Gran Maestro*,— позвал полковник. — Чем нас покормят в вашем *Wirtschaft*<sup>4</sup>?

*Gran Maestro* искоса наблюдал за ними — ласково и без всякой зависти.

— Вы хотите мясо или рыбу?

— Сегодня не пятница,— сказал полковник. — Рыбу есть не обязательно. Поэтому я буду есть рыбу.

— Значит, камбала,— сказал *Gran Maestro*. — А вы, сударыня?

— Все, что вы мне дадите. Вы больше меня понимаете в еде, а я люблю все.

— Решай сама, дочка.

— Нет. Пусть решает тот, кто больше меня понимает. Я после пансиона все никак досыта не наемся.

— Я вам приготовлю сюрприз,— сказал *Gran Maestro*.

<sup>1</sup> Всего хорошего (франц.).

<sup>2</sup> До свидания (исп.).

<sup>3</sup> Дерьмо (франц.).

<sup>4</sup> Трактир (нем.).

У него было длинное, доброе лицо, седые брови над чуть дряблыми веками и всегда веселая улыбка старого солдата, который радуется тому, что еще жив.

— Что новенького у нас в Ордене? — спросил полковник.

— Я слышал, что у нашего патрона неприятности. Конфисковали все имущество. Или по крайней мере наложили арест.

— Надеюсь, ему не грозит ничего серьезного?

— За патрона можно не беспокоиться. Он пережил бури пострашнее.

— За здоровье нашего патрона! — сказал полковник.

Он поднял бокал, наполненный только что откупоренной настоящей вальполичеллой.

— Выпей за него, дочка.

— Не буду я пить за такую свинью, — сказала девушка. — И к тому же я не принадлежу к вашему Ордену.

— Нет, вы уже в него приняты, — сказал Gran Maestro. — *Per merito di guerra*<sup>1</sup>.

— Тогда, видно, придется за него выпить, — сказала она. — Но я в самом деле принята в Орден?

— Да, — ответил Gran Maestro. — Правда, диплома вы еще не получили, но я назначаю вас Верховным секретарем. Полковник откроет вам тайны Ордена. Откройте ей все, прошу вас, полковник.

— Сию минуту, — сказал полковник. — А рябых поблизости нет?

— Нет. Он ушел со своей возлюбленной. С мисс Бедекер.

— Тогда другое дело, — сказал полковник. — Сейчас открою. Есть только одна великая тайна, которую тебе надо постичь. Поправьте меня, Gran Maestro, если я допущу ошибку.

— Приступайте, — сказал Gran Maestro.

— Приступаю, — сказал полковник. — Слушай внимательно, дочка. Это Высочайшая тайна. Слушай! «Любовь есть любовь, а радость есть радость. Но все замирает, когда золотая рыбка умирает».

— Ты приобщилась к тайне, — возгласил Gran Maestro.

— Я счастлива и очень горжусь, что вступила в Орден, — сказала девушка. — Но, честно говоря, какой-то он грубый, ваш Орден.

— Что верно, то верно, — сказал полковник. — А теперь, Gran Maestro, долой таинственность и скажите, что мы будем есть?

— На первое: жюльен из крабов по-венециански, но холодный. В кастрюльке. Потом камбала для вас, а для вас, сударыня, — поджарка. Какие прикажете овощи?

— Все, какие есть, — сказал полковник.

Gran Maestro ушел, и полковник сперва посмотрел на девушку, а потом на Большой Канал за окном, на волшебные переливы света, которые были видны даже отсюда, из самого дальнего конца бара, ловко переоборудованного в ресторан, и сказал:

— Дочка, я тебе говорил, что я тебя люблю?

— Ты мне давно этого не говорил. Но я тебя люблю.

— А что бывает с людьми, которые любят друг друга?

— У них, наверно, что-то есть — что бы оно ни было, — и они счастливее других людей. А потом одному из них навек суждена пустота.

— Не хочу быть грубым, — сказал полковник. — А то я мог бы тебе ответить. Но, пожалуйста, чтобы не было у тебя никакой пустоты!

— Постараюсь, — сказала девушка. — Я сегодня стараюсь с самого утра, с тех пор, как проснулась. Я стараюсь с тех пор, как мы узнали друг друга.

— Вот и старайся, дочка.

<sup>1</sup> За военные заслуги (исп.).

Потом полковник сказал Gran Maestro, который отдал распоряжения и вернулся:

— Бутылку этого *vin secco*<sup>1</sup> со склонов Везувия к камбале. Ко всему остальному у нас есть вальполичелла.

— А мне нельзя запивать поджарку вином с Везувия? — спросила девушка.

— Рената, дочка, конечно, можно. Тебе все можно.

— Если уж пить вино, я хочу пить такое, как ты.

— Хорошее белое вино в твоём возрасте идет и к поджарке, — сказал полковник.

— Жалко, что у нас такая разница в возрасте.

— А мне это как раз нравится, — возразил полковник. — Не считая того... — прибавил он и вдруг осекся, а потом сказал: — Давай будем *fraîche et rose, comme au jour de bataille*<sup>2</sup>.

— Кто это сказал?

— Понятия не имею. Я это слышал, когда учился в *Collège des mâtreaux*<sup>3</sup>. Довольно претенциозное название, правда? Коллеж я все-таки кончил. Но лучше всего я знаю то, чему выучился у фрицев, воюя с ними. Самые лучшие солдаты — это они. Вот только силы свои рассчитывать никогда не умеют.

— Давай будем такими, как ты сказал, и, пожалуйста, повтори, что ты меня любишь.

— Я тебя люблю, — сказал он. — Можешь не сомневаться. Уж ты мне поверь.

— Сегодня суббота, — сказала она. — А когда будет следующая суббота?

— Следующая суббота — праздник ненадежный, дочка. Покажи мне человека, который что-нибудь может сказать про следующую субботу.

— Ты бы сам сказал, если бы захотел.

— Спрошу Gran Maestro, может, он знает. Gran Maestro, когда будет следующая суббота?

— А *Râques ou à la Trinité*<sup>4</sup>, — сказал Gran Maestro.

— Но почему из кухни не доносится никаких ароматов для поднятия нашего духа?

— Потому, что ветер дует не в ту сторону.

Да, — думал полковник. — Ветер дует не в ту сторону, а как бы я мог быть счастлив, если бы у меня была эта девушка, а не та женщина, которой я плачу алименты, хотя она не смогла даже родить мне ребенка! А ведь грозились, что родит. Но разве поймешь, кто тут виноват?

Ладно, держись, — сказал он себе. — И люби свою девушку.

Она тут, рядом, и хочет, чтобы ее любили, если у тебя осталась хоть капля любви, которую ты можешь ей дать.

На него хлынула горячая волна, как бывало всегда, когда он видел Ренату, и полковник спросил:

— Ну, как ты, как твои волосы, словно вороново крыло, и лицо, от которого сжимается сердце?

— Хорошо.

— Gran Maestro, — сказал полковник, — сделайте так, чтобы до нас дошли запахи из вашей закулисной кухни, хотя ветер и дует не в нашу сторону.

<sup>1</sup> Сухое вино (итал.).

<sup>2</sup> Свежие и румяные, как в день битвы (франц.).

<sup>3</sup> Маршалский коллеж (франц.).

<sup>4</sup> На пасху или на троицу (фр.), поговорка, соответствующая русской «После дождичка в четверг».

## Глава придецапъ деветая

Портъе распорядился, швейцар позвонил по телефону, и им подали ту же лодку, в которой они ехали сюда.

Джексон сел в лодку рядом с чемоданами и портретом, который заботливо упаковали. Ветер дул все так же яростно.

Полковник расплатился по счету и роздал положенные чаевые. Служащие гостиницы уложили чемоданы и портрет в лодку и устроили в ней Джексона поудобнее. Потом они ушли.

— Ну вот, дочка, — сказал полковник.

— А мне нельзя доехать с тобой до гаража?

— В гараже будет ничуть не лучше.

— Пожалуйста, разреши мне доехать до гаража.

— Ладно, — сказал полковник. — Дело твое. Садись.

Они не разговаривали; ветер дул в корму, поэтому при той скорости, которую можно было выжать из жалких останков мотора, казалось, будто ветра нет вовсе.

На пристани Джексон отдал чемоданы носильщику, а портрет понес сам. Полковник спросил:

— Хочешь, простимся здесь?

— А разве иначе нельзя?

— Можно.

— Давай я провожу тебя до бара и подожду, пока подадут машину.

— Так будет еще хуже.

— Пусть.

— Отправьте вещи в гараж и попросите присмотреть за ними, пока не выведете машину, — сказал полковник Джексону. — Проверьте, в порядке ли ружья, и уложите вещи так, чтобы на заднем сиденье было как можно свободнее.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон.

— Значит, я еду? — спросила девушка.

— Нет, — сказал ей полковник.

— Почему мне нельзя с вами поехать?

— Сама знаешь. Тебя никто не приглашал.

— Отчего ты такой злой?

— Господи, дочка, если бы ты знала, как я стараюсь быть добрым! Но человеку легче на душе, когда он злой. Давай-ка расплатимся с нашим приятелем-лодочником и посидим вон там на скамейке под деревьями.

Он заплатил хозяину лодки и сказал, что не забудет насчет мотора с виллиса. Он, правда, посоветовал особенно на это не рассчитывать, хоть дело могло и выгореть.

— Мотор будет подержанный. Но все равно лучше того кофейника, который стоит у вас сейчас.

Они поднялись по истертым каменным ступеням, прошли по дорожке, усыпанной гравием, и сели на скамейку под деревьями.

Черные деревья раскачивались от ветра, и ветви на них были голые. Листья в этом году опали рано, их давно вымели.

К ним подошел человек и предложил купить почтовые открытки. Но полковник ему сказал:

— Ступай отсюда, сынок. Тебе тут делать нечего.

Девушка, наконец, расплакалась, несмотря на решение никогда не плакать.

— Слушай, дочка, — сказал полковник. — Ну что я могу тебе сказать? На машине, на которой мы с тобой едем, к сожалению, нет амортизаторов.

- Я больше не плачу,— сказала она.— Я не истеричка.
- Нет, этого я про тебя сказать не могу. Я могу сказать, что ты самая красивая и самая милая девушка на свете. Во все времена. На всей земле. Во всем мире.
- Но какой в этом толк, даже если бы это была правда?
- Вот это верно,— сказал полковник.— Но это правда.
- Ну и что же теперь будет?
- Теперь мы с тобой поцелуемся и скажем друг другу «прощай».
- А что такое «прощай»?
- Не знаю,— сказал полковник.— Но думаю, что это одно из тех слов, которые каждый толкует по-своему.
- Попробую и я.
- Ты не очень расстраивайся, дочка, слышишь?
- Хорошо,— сказала девушка.— Хотя в нашей машине и нет амортизаторов.
- Тележка, в которой возили на эшафот, самая подходящая для тебя машина. Особенно с того дня, как ты меня узнала.
- Неужели ты не можешь быть добрее, хоть сейчас?
- Видно, нет. Но я все время старался.
- Постарайся еще. Это все, что нам остается.
- Конечно, постараюсь.
- И они тесно прижались друг к другу и поцеловались, а потом полковник повел девушку по дорожке, усыпанной гравием, и вниз по каменным ступеням.
- Возьми лодку получше. Зачем тебе эта рухлядь с испорченным мотором?
- Я поеду на этой рухляди, если ты не рассердишься.
- Рассержусь? — спросил полковник.— Нет, я не сержусь. Я только отдаю приказы и выполняю приказы. Но не сержусь. Прощай, дорогая, прощай, чудо мое.
- Прощай,— сказала она.

## Глава сороковая

Он сидел в дубовой бочке, врытой в дно лагуны,— в Венето из таких бочек стреляют охотники. Это укрытие, где стрелок прячется от тех, кого хочет застрелить, в данном случае — от уток.

Ехали они сюда весело: сначала встретились в гараже, а потом приятно провели вечер и вкусно поели,— ужин готовили на открытом очаге в старинной кухне. На заднем сидении уместилось еще три охотника. Даже те, кто не любил врать, не могли удержаться от преувеличений, а уж вруны превзошли самих себя.

Самозабвенный враль,— думал полковник,— прекрасен, как цветущая яблоня или вишня. Зачем их обескураживать,— думал он,— разве что они переврут координаты.

Полковник всю жизнь коллекционировал врунов, как другие коллекционируют почтовые марки. Правда, он их не раскладывал по сериям и особенно не берег. Он просто радовался, слушая, как они врут, если только, конечно, это не мешало делу. Вчера вечером, после того как все угостились граппой, вранья было хоть отбавляй, но оно было безвредное, и полковник слушал с удовольствием.

В комнате было дымно от древесного угля. Нет, в очаге, кажется, жгли поленья, подумал он. Во всяком случае, враль врет лучше всего, когда в комнате пахнет дымком или после захода солнца.

Он сам два раза чуть было не соврал, но сдержался и только

слегка преувеличил. Будем верить, что только преувеличил, — подумал он.

А вот теперь кругом расстилается замерзшая лагуна, и охота, кажется, пойдет прахом. Но он зря отчаивался.

Вдруг, неизвестно откуда, появились две шилохвости, одна ринулась наискось вниз, так быстро, как не сумел бы спикировать ни один самолет, и полковник, услышав шум крыльев, вскинул ружье и убил селезня. Тот ударился о лед с такой силой, с какой может удариться только птица, но прежде, чем он упал, полковник убил его самку, которая быстро уходила вверх, вытянув длинную шею.

Утка упала рядом с селезнем.

Это же убийство, — думал полковник. — А что в наши дни не убийство? Да, малый, ты еще мастер стрелять! Хорош малый! Ах ты, старый калека! Но гляди, вон они летят.

Это были связи; сначала они казались прозрачным облачком, которое затвердело, вытянулось и словно растворилось. Потом облачко затвердело снова, и сидевшая на льду утка-предательница стала его подманывать.

Дай им повернуть еще разок, — сказал себе полковник. — Пригни пониже голову и даже бровью не смей шевельнуть. Они сейчас прилетят.

И они прилетели — на голос предательства.

Они разом сложили крылья для посадки, как опускают закрылки у самолета. Но увидели под ногами лед и взмыли ввысь.

Охотник — уже не полковник, а кто-то другой, — поднялся в одной из бочек и подстрелил двух связей. Они шлепнулись на лед почти так же грузно, как большие утки.

Хватит нам и двоих из одного выводка, — сказал полковник. — А может, у них не выводок, а племя?

Полковник услышал выстрел за спиной, где, как он знал, не было ни одной бочки; повернув голову, он поглядел через замерзшую лагуну на дальний, поросший осокой берег.

Вот и конец охоте, — подумал он.

Низко летевшая стайка взвилась в небо; казалось, утки стоят на хвостах, — так круто они поднимались.

Полковник увидел, как одна утка упала, и тут же услышал еще выстрел.

Это сердитый лодочник стрелял по уткам, которые должны были достаться полковнику.

Да как же он смеет? — подумал полковник.

Ему дано охотничье ружье, чтобы добывать подстреленных уток, если собака не может их достать и они пытаются уйти. Стрелять по уткам, летящим на бочку, по законам охоты — преступление.

Лодочник был слишком далеко, чтобы его можно было окликнуть. Поэтому полковник дал по нему два выстрела.

Дробь до него не долетит, — думал полковник, — а он по крайней мере поймет, что я все знаю. Но какого дьявола ему нужно? Да еще на такой первоклассной охоте? Никогда не видел, чтобы охота на уток шла так гладко и была так превосходно устроена; никогда не стрелял с таким удовольствием, как сегодня. Какая муха укусила этого сукина сына?

Он знал, как ему вредно злиться. Поэтому он принял две таблетки и запил их глотком джина из фляжки — воды у него не было.

Он знал, что и джин ему вреден, и подумал: мне вредно все, кроме покоя и самой легкой гимнастики. Вот именно, брат, покоя и самой легкой гимнастики. По-твоему, это легкая гимнастика?



Ах ты, чудо мое, — сказал он. — Как бы я хотел, чтобы ты была здесь, мы сидели бы с тобой рядом в бочке на двоих и могли бы касаться друг друга спиной или плечом. Я бы поглядел на тебя и, пуская пыль в глаза, метко подстрелил высоко летящую утку так, чтобы она упала прямо в бочку, конечно, не задев тебя. А ну-ка, попытаюсь попасть хотя бы в одну, — сказал он себе, услышав шелест крыльев. Полковник встал, повернулся, заметил одиноко летевшего селезня — красивого, с длинной шеей; быстрые взмахи крыльев уносили его прямо в море. Он вырисовывался в небе четко и ясно на фоне дальних гор. Полковник высоко вскинул мушку, прицелился и выстрелил.

Селезень упал как раз за бочкой и, ударившись, пробил корку льда. Это был тот лед, который они ломали, расставляя чучела, но воду чуть-чуть затянуло снова. Подсадная утка поглядела на лежащего селезня, переминаясь с ноги на ногу.

— Ты никогда его раньше не видела, — сказал ей полковник. — По-моему, ты даже не видела, как он прилетел. А если и видела, ничего ему не сказала.

Селезень ударился головой, и теперь голова была в воде. Полковник видел красивое зимнее оперение на его грудке и крыльях.

Я хотел бы подарить ей наряд из птичьих перьев вроде тех, какими в древней Мексике украшали своих богов, — думал он, — но всех этих уток, наверно, отошлют на рынок, да и кто же здесь сумеет содрать с птицы шкуру и выдубить ее? А как бы это было красиво — перья дикого селезня пошли бы на спину, серой утки — на грудь, с двумя полосами из перьев чирка: сверху вниз. Вот был бы наряд! Ей бы, верно, понравилось.

Эх, хоть бы они полетели, — думал полковник. — Несколько глухих уток могло бы залететь и сюда. На всякий случай я должен быть наготове. — Но утки не появлялись, и он был наедине со своими мыслями. Из других бочек тоже не было слышно выстрелов, время от времени доносились выстрелы с моря.

При таком ярком свете птицы видят лед и больше сюда не летят; они уходят в открытое море, собираются там стаями и садятся на воду. Стало быть, охоты больше не будет, — думал он. Такова уж судьба, хотя ему и хотелось понять, что же все-таки произошло. Он знал, что не заслуживает такого отношения, но вынужден был мириться, как мирился всю жизнь, хоть и пытался всегда найти первопричину.

...У девушки все началось после драки с матросами. Как-то ночью они гуляли, два матроса свистнули ей, и сначала полковник не придал этому значения.

Но что-то явно было не так. Полковник это сразу почувствовал. А потом он в этом уверился, нарочно остановившись под фонарем, чтобы те увидели знаки различия у него на погонах и перешли на другую сторону улицы.

На каждом погоне у него было по маленькому орлу с распростертыми крыльями. Они были вышиты на его тужурке серебром. Орлы не очень заметные, и ношу я их давно, но все же они видны, — думал полковник.

Матросы засвистали снова.

— Встань к стенке, если тебе хочется поглядеть, — сказал полковник девушке. — А если нет, отвернись.

— Смотри, какие они высокие и молодые.

— Сейчас станут пониже, — пообещал ей полковник.

Он подошел к свистунам.

— Где ваш береговой патруль? — спросил он.

— Почему я знаю? — сказал высокий матрос. — Мне ведь что надо? Полюбуюсь на дамочку, и все.

— Как ваши фамилии? У вас есть личные номера?

— Почему я знаю? — ответил тот.

Другой сказал:

— Если бы и были, стану я тебе говорить, тыловая крыса!

Старый служака, — подумал полковник, прежде, чем его ударить. — Дошлый морячок! Все свои права знает.

Но он все-таки ударил его левой рукой — то ли снизу, то ли сбоку, — ударил еще и еще раз, и матрос стал падать.

Другой, тот, что свистнул первый, яростно с ним сцепился, хотя и был пьян; полковник двинул ему локтем в зубы, а потом при свете фонаря изо всех сил ударил правой рукой. Затем оглянулся на второго свистуна и понял, что о нем беспокоиться нечего.

Тогда он ударил левой сбоку. А когда матрос попытался выпрямиться, ударил правой. Потом еще раз ударил сбоку левой, повернулся и пошел к девушке; ему не хотелось слышать, как голова стукнется о тротуар.

На ходу он взглянул, как себя чувствует тот, что свалился первый, увидел, что он мирно спит, уткнувшись в землю подбородком, а изо рта у него течет кровь. Кровь такого цвета, как надо, отметил полковник.

— Плакала моя карьера, — сказал он девушке. — Какова бы она ни была. Но эти типы носят ужасно нелепые штаны!

— Как ты себя чувствуешь? — спросила девушка.

— Прекрасно. Ты все видела?

— Да.

— Утром у меня будут болеть руки, — сказал он рассеянно. — Теперь, по-моему, мы можем спокойно уйти. Давай только пойдем по-медленнее.

— Да, пожалуйста, иди медленно.

— Да нет, я не то хотел сказать. У нас должен быть такой вид, будто мы не торопимся.

— Мы пойдем как можно медленнее.

И они пошли.

— Хочешь сделать опыт?

— Какой?

— Пойдем так, чтобы на нас жутко было смотреть даже со спины.

— Постараюсь. Но думаю, что у меня ничего не выйдет.

— Ну, тогда пойдем просто так.

— Неужели они тебя ни разу не ударили?

— Один раз, и как следует. Второй матрос, когда он на меня кинулся.

— Это и есть настоящая драка?

— Да, если тебе везет.

— А если не везет?

— Тогда и у тебя ноги подкашиваются. И ты падаешь либо вперед, либо назад.

— А ты меня еще любишь, после того, как ты подрался?

— Я люблю тебя еще больше, чем раньше, если это возможно.

— А почему невозможно? Вот хорошо! Я тебя теперь люблю больше. Я не слишком быстро иду?

— Ты идешь, как лань по лесу, а иногда ты ходишь, как волчица, или как большой старый койот, когда он куда-то торопится.

— Мне не очень хочется быть большим старым койотом.

— Ты же их никогда не видела, — сказал полковник. — погоди, еще захочешь. Ты ходишь, как все крупные хищники, когда они не спешат. Только ты совсем не хищник.

— В этом можешь не сомневаться.

— Пройди немножко вперед, а я на тебя погляжу.

Она пошла вперед, и полковник сказал:

— Ты ходишь, как чемпион, пока он еще не стал чемпионом. Будь ты лошастью, я бы тебя купил, даже если бы пришлось занимать деньги у ростовщика из двадцати процентов в месяц.

— Тебе не надо меня покупать.

— Знаю. Речь-то идет не об этом. Речь идет о твоей походке.

— Скажи,— сказала она,— что теперь будет с этими людьми? Я мало понимаю в драках. Может, мне надо было остаться и о них позаботиться?

— Ни в коем случае,— сказал полковник.— Запомни: ни в коем случае. Надеюсь, они схлопотали хоть одно сотрясение мозга на двоих. Пусть подышают. Сами виноваты. И никакой уголовной ответственности я не несу. Да и к тому же все мы застрахованы. Могу сказать тебе насчет драки только одно...

— Ну, говори!

— Если ты полез в драку, ты должен победить. Вот что важно. Все остальное — не стоит и выеденного яйца, как говорил мой старый друг, доктор Роммель.

— Неужели тебе, правда, нравился Роммель?

— Очень.

— Но ведь он был твой враг.

— Я люблю своих врагов иногда больше, чем друзей. А моряки всегда выигрывают во всех сражениях. Это я усвоил в доме, который зовется Пентагоном, когда мне еще разрешали входить туда через парадные двери. Хочешь, прогуляемся или даже сбегаем назад и спросим тех двоих, верно ли это?

— Сказать по правде, Ричард, с меня хватит на сегодня и одной драки!

— Говоря откровенно, и с меня тоже,— признался полковник. Но сказал он это по-итальянски, начав фразу с «Anch'io». — Давай зайдем к «Гарри», а потом я провожу тебя домой.

— Ты не ушиб раненую руку?

— Нет! Ею я только раз стукнул одного по голове,— объяснил он.— А больше бил по туловищу.

— Можно мне ее потрогать?

— Да, только потихоньку.

— Но она ужасно распухла!

— Перелома нет, а опухоль всегда быстро спадает.

— Ты меня любишь?

— Да. Я люблю тебя двумя довольно вспухшими руками и всем сердцем.

## Глава сорок первая

Вот как это было, и в тот день, а может, в какой-нибудь другой, произошло чудо. А ты о нем и не подозревал,— думал полковник.— Случилось величайшее чудо, но ты ничего для этого не сделал. Правда, ты, сукин сын, никак этому и не препятствовал.

Стало еще холоднее, чистая вода снова покрылась коркой льда, а подсадная утка даже перестала смотреть на небо. Она теперь забыла о предательстве, тревожась только о своей судьбе.

Ну и сука,— думал полковник.— Хотя я знаю, что это несправедливо. Ведь измена — ее ремесло. Но почему самка приманивает лучше, чем селезень? Кому же это знать, как не тебе,— думал он.—

Хотя и это неправда. А что же правда? Самцы все-таки приманивают лучше.

Только не думай о ней! Не думай о Ренате, пользы от этого не будет. Тебе это даже вредно. И ты ведь с ней уже распрощался. Господи, что это было за прощание! Не обошлось даже без эшафота. А она ведь полезла бы за тобой и на этот чертов эшафот. Если бы эшафот был настоящий. Распроклятое ремесло, — думал он. — Любить и расставаться. Людям от этого бывает больно.

Кто тебе дал право связываться с такой девушкой?

Никто, — ответил он. — Меня познакомил с ней Андреа.

Но как она могла полюбить такого несчастного сукина сына?

Не знаю, — ответил он искренне. — Искренне говорю, что не знаю.

Он и не подозревал, что девушка его любит за то, что он никогда не чувствует себя несчастным, есть у него сердечный приступ или нет. Горе он испытывал, и страдание тоже. Но несчастным он себя не чувствовал ни разу в жизни. Особенно по утрам.

Таких людей на свете почти не бывает, и девушка, хоть и очень молодая, сразу это поняла.

Сейчас она дома и спит, — думал полковник. — Там ей и место, а не в какой-то чертовой бочке для охоты на уток, да еще когда все чучела как назло вмерзли в лед.

И все же, если бы эта бочка была на двоих, как бы я хотел, чтобы она была здесь: она могла бы смотреть на запад, не появится ли оттуда вереница уток. Но она бы тут замерзла. Может, мне удастся выменять у кого-нибудь настоящую куртку на пуху, — продать ее никто не продаст. Такие куртки как-то по ошибке выдали летному составу.

Я бы мог узнать, как их стегают, и заказать ей такую куртку на утином пуху, — думал он. — Я бы нашел хорошего портного, он бы ее скроил двубортной, без кармана справа, и нашил кусок замши, чтобы не цеплялся приклад.

Так и сделаю, — сказал он себе. — Так и сделаю или достану такую куртку у какого-нибудь франта, а потом дам перешить ей по росту. Надо бы достать ей хорошее ружье — Парди-12, только не слишком легкое, или пару Боссов. У нее должны быть ружья, не хуже, чем она сама. Да, пожалуй, лучше всего два ружья Парди, — думал он.

В этот миг он услышал легкий шорох крыльев, быстро машущих в небе, и взглянул вверх. Но птицы летели слишком высоко. Полковник только поднял на них глаза. Птицы летели так высоко, что им была видна бочка, и он в бочке, и вмерзшие в лед чучела с невеселой подсадной уткой, которая их тоже видела и громко закрикала, как раблепный Иуда. Утки — это были шилохвостки — спокойно продолжали свой лет к морю.

Я никогда ей ничего не дарю — это она мне правильно сказала. Не считая негритенка. Но разве это подарок? Она сама его выбрала, а я только купил. Так подарков не дарят.

Эх, как бы я хотел подарить ей уверенность в завтрашнем дне, но ее больше не существует. Я бы хотел подарить ей мою любовь, но она ничего не стоит; мой богатства, но их в сущности нет, если не считать двух хороших охотничьих ружей, солдатского обмундирования, орденов, медалей и книг. Да еще полковничьей пенсии.

Всеми моими земными благами одарю я тебя, — думал он.

А она подарила мне свою любовь, камни, которые я ей вернул, и портрет. Что ж, и портрет я всегда могу отдать обратно. Я бы мог отдать ей мое кольцо, — думал он, — но куда, черт возьми, я его дел?

Разве она возьмет мой Крест за боевые заслуги с дубовыми листьями, или две Серебряные звезды, или весь остальной мусор — даже ордена ее родины? Или Франции? Или Бельгии? Да и не надо. Больно уж это напоминает похороны.

Лучше я отдам ей свою любовь. Но как ее, проклятую, пошлешь? И как ее сохранить, чтобы она не увяла? Не положишь ведь ее на лед?

А может, теперь кладут? Надо спросить. А как мне достать этот чертов мотор для старика?

Найди. Находить выход из положения было твоим ремеслом. Находить выход из положения, когда в тебя стреляют, — поправил он.

Жаль, что у того стервеца, который портит мне охоту на уток, нет настоящего ружья; правда, его нет сейчас и у меня. Мы бы с ним быстро выяснили, кто умеет находить выход из положения. Даже в этой вонючей бочке, посреди болота, где нельзя маневрировать. А ему бы пришлось подойти совсем близко, чтобы меня достать.

Брось, — сказал он себе, — и подумай лучше о девушке. Ты больше не хочешь убивать никого и никогда.

Кому ты морочишь голову? — сказал он себе. — Ты что, в святые записался? Что ж, попробуй, как это у тебя выйдет. Ей ты тогда больше понравишься. Ты уверен? Нет, не уверен, — признался он откровенно. — Видит бог, не уверен.

А вдруг я стану святым перед самой смертью? Да, — сказал он, — может быть. Ну, кто хочет на это поставить?

— Ты на это поставишь? — спросил он подсадную утку.

Но она смотрела в небо за его спиной и потихоньку вела свой мирный, кудахтающий разговор.

Утки пролетели слишком высоко, не сворачивая. Они только взглянули вниз и полетели дальше, к морю.

Видно, они и в самом деле садятся там на воду, — думал полковник. — А где-нибудь в лодке их поджидает охотник. Они подлетят с подветренной стороны, совсем близко, и кто-нибудь непременно их подстрелит. Ну что ж, когда этот охотник начнет стрелять, несколько уток могут кинуться назад, в мою сторону. Но ведь все замерзает, мне давно бы пора уехать, зачем я сижу тут как болван?

Я настрелял достаточно дичи и охотился не хуже, а даже лучше, чем всегда. Конечно, лучше, — думал он. — Никто не стреляет здесь лучше тебя, разве что Альварито, он еще совсем мальчишка и потому стреляет быстрее. Но ты убиваешь меньше уток, чем многие плохие и средние стрелки.

Да, знаю. И знаю почему: мы ведь за количеством больше не гонимся, мы ведь теперь живем не по уставу, разве ты не помнишь?

Он вспомнил, как однажды, по прихоти войны, он встретился ненадолго со своим лучшим другом; это было во время битвы в Арденнах, и они гнали противника.

Стояла ранняя осень, вокруг была гористая местность с песчаными дорогами и тропками, поросшая низкорослыми дубками и соснами. На влажном песке отчетливо отпечатались следы вражеских танков и полугусеничных машин.

Накануне шел дождь, но теперь прояснилось, видимость была хорошая, можно было разглядеть даже дальние холмы, и они с другом внимательно рассматривали все кругом в бинокль, словно охотились за дичью.

Полковник, который в ту пору был генералом и заместителем командира дивизии, знал следы каждой вражеской машины. Он знал, когда у противника кончатся мины и сколько примерно патронов у них еще осталось. Он рассчитал, где немцам придется принять бой, прежде чем они достигнут линии Зигфрида. Он был уверен, что

они не станут драться ни в одном из тех двух мест, где ожидали боев, и поспешно отойдут дальше.

— Мы довольно далеко забрались для людей нашего высокого звания, Джордж, — сказал он своему лучшему другу.

— Смотрите, не зарвитесь, генерал.

— Ничего, все в порядке, — сказал полковник. — Хватит нам жить по уставу, теперь мы просто вышвырнем их вон.

— С превеликой радостью, генерал. Тем более, что устав писал я сам, — сказал его лучший друг. — Ну, а если они там оставили за-слон?

Он показал на то место, где, по логике вещей, противник должен был перейти к обороне.

— Ничего они там не оставили, — заявил полковник. — У них нет снаряжения даже для пожарной команды.

— Человек всегда прав, пока не ошибется, — сказал его лучший друг и добавил: — господин генерал.

— Я прав, — сказал полковник.

Он и в самом деле был прав, хотя для того, чтобы получить нужные сведения, ему пришлось слегка нарушить принципы Женевской конвенции.

— Ну что ж, в погоню так в погоню! — сказал его лучший друг.

— Мешкать нам нечего, я ручаюсь, что они не задержатся в этих двух пунктах. И открыл мне это не какой-нибудь фриц. А собственная смекалка.

Он еще раз оглядел местность, услышал, как в ветвях шумит ветер, как пахнет вереск под ногами, и еще раз посмотрел на отпечатки гусениц на мокром песке, — этим дело и кончилось...

Интересно, понравилась бы ей такая история? — подумал он. — Нет, мне рассказывать ее нельзя. Уж больно я в ней хорош. Вот если бы кто-нибудь другой ей рассказал да еще и расписал бы меня получше... Джордж рассказать не может. Он единственный, кто бы мог это сделать, но, увы, не может. Да уж, черта лысого он теперь сможет!

Я бывал прав в девяноста пяти случаях из ста, а это чертовски высокий процент даже в таком простом деле, как война. Но и те пять процентов, когда ты неправ, тоже не шутка.

Нет, я не расскажу тебе эту историю, дочка. Это только неясный шум у меня в сердце. В моем проклятом, никчемном сердце. Да, это поганое сердце не может за мной угнаться.

А вдруг оно еще сможет, — подумал он, проглотил две таблетки, запив их глотком джина, и поглядел на серую пелену льда.

Сейчас крикну этому хмурому парню, снимусь с места и поеду на ферму или, как там ее — охотничий домик, что ли. Охоте все равно конец.

## Глава сорок вторая

Полковник выпрямился, дал два выстрела в пустое небо и замахал рукой лодочнику, подзывая его к себе.

Лодка шла медленно, всю дорогу приходилось раскалывать лед; лодочник собрал деревянные чучела, поймал посадную утку, сунул ее в мешок и с помощью собаки, у которой на льду разъезжались лапы, подобрал убитых уток. Гнев у лодочника явно прошел, и вид у него был довольный.

— Немного же вы настроляли, — сказал он полковнику.

— С вашей помощью.

Больше они ничего не сказали друг другу, и лодочник аккуратно разложил уток на носу, грудками кверху, а полковник подал ему ружья и складной стул с ящиком для патронов.

Полковник влез в лодку, а лодочник проверил, не забыто ли что-нибудь в бочке, и снял с крючка нечто вроде передника с кармашками для патронов, который там висел. Потом он тоже сел в лодку, и они медленно, с трудом поплыли по замерзшей лагуне туда, где виднелась бурая вода канала. Полковник с силой отталкивался кормовым веслом, как и по дороге сюда. Но теперь, при ярком свете солнца, видя снежные вершины гор на севере и полоску осоки, обозначающую вход в канал, они работали дружно.

Вот они вошли в канал, с треском соскользнув с кромки льда; лодка двинулась легко, и, отдав весло лодочнику, полковник сел. С него лился пот.

Собака, дрожавшая у его ног, перелезла через борт лодки и поплыла к берегу. Страхивая воду со своей белой свалывшейся шерсти, она скрылась в зарослях коричневой осоки и кустарника; по кольчанику кустов полковник мог проследить ее путь домой. Колбасы она так и не получила.

Полковник чувствовал, что он весь потный и, хотя теплая куртка защищала его от ветра, все же принял две таблетки из бутылочки и отхлебнул глоток джина из фляжки.

Фляжка была плоская, серебряная, в кожаном футляре. Под футляром, уже засаленным и потертым, было выгравировано: «Ричарду от Ренаты с любовью». Никто не видел этой надписи, кроме девушки, полковника и гравера, который ее делал. Надпись выгравировали не там, где купили фляжку. Это было в самом начале, — думал полковник. — Кто бы теперь стал прятаться?

На завинченном колпачке было выгравировано: Р. К. от Р.

Полковник протянул фляжку лодочнику, тот посмотрел сначала на него, потом на фляжку и спросил:

— Что это?

— Английская граппа.

— Попробуем...

Он отхлебнул большой глоток, как делают все крестьяне, когда пьют из фляжки.

— Спасибо.

— А вы хорошо поохотились?

— Убил четырех уток. Собака подобрала еще трех подранков, подбитых другим.

— Зачем вы стреляли?

— Да я теперь и сам жалею, что стрелял. Со зла, наверно.

А я разве так не поступал? — подумал полковник и не спросил, из-за чего тот злился.

— Жаль, что лёт такой плохой.

— Бывает, — сказал полковник.

Полковник следил за тем, как в камышах и высокой траве движется собака. Вдруг она сделала стойку и замерла. Потом прыгнула. Прыгнула высоко и, распластавшись, нырнула вниз.

— Нашла подранка, — сказал он лодочнику.

— Бобби, — крикнул тот. — Апорт! Апорт!

Осока заколыхалась, из нее появилась собака, неся в пасти дикого селезня. Серовато-белая шея и зеленая голова покачивались, как головка змеи. В этом движении была обреченность.

Лодочник поставил лодку носом к берегу.

— Я возьму, — сказал полковник. — Бобби!

Он вынул селезня из пасти собаки, державшей его очень осто-

рожно; птица была цела и приятна на ощупь. Сердце у нее билось, а в глазах стояло отчаяние и ужас перед неволей.

Полковник внимательно ее осмотрел, поглаживая ласково, как гладят лошадь.

— Ему только задела крыло,— сказал он.— Давайте его оставим живым манком, либо выпустим весною на волю. Возьмите-ка его и посадите в мешок.

Лодочник бережно взял селезня и посадил его в холщовый мешок, который лежал на носу. Полковник услышал, как подсадная утка сразу же закрикала. Может, она оправдывается,— подумал он. Трудно понять утиный разговор через холстину мешка.

— Выпейте еще глоток,— сказал он лодочнику.— Сегодня чертовски холодно.

Лодочник взял флягу и снова отхлебнул как следует.

— Спасибо,— сказал он.— Да, хороша ваша граппа.

## Глава сорок претвья

На причале, перед длинным, низким каменным зданием на самом берегу канала, были разложены утки.

Они были разложены неравными кучками. Тут всего несколько взводов, ни одной роты, а у меня едва ли наберется отделение,— подумал полковник.

Старший егерь в высоких сапогах, короткой куртке и сдвинутой на затылок старой фетровой шляпе ждал их на берегу, и когда они подошли, скептически посмотрел на уток, лежавших в лодке.

— Возле нашей бочки вода совсем замерзла,— сказал полковник.

— Так я и думал,— сказал старший егерь.— Обидно. А ведь ваше место считается лучшим.

— Кто убил больше всех?

— Барон настрелял сорок две. Там течение, и воду затянуло не сразу. Вы, наверно, не слышали выстрелов, потому что ветер дул в другую сторону.

— А где же остальные?

— Все разъехались, кроме барона,— он вас ждет. Ваш шофер спит в доме.

— Как и следовало ожидать,— сказал полковник.

— Разложи уток, как положено,— сказал старший егерь лодочнику, который был и егерем тоже.— Мне надо записать их в охотничью книгу.

— В мешке у нас еще селезень, у него подбито крыло.

— Хорошо. Я за ним присмотрю.

— Я пойду повидаюсь с бароном. С вами я еще не прощаюсь.

— Вам надо хорошенько согреться, полковник,— сказал старший егерь.— Сегодня настоящий мороз.

Полковник направился в дом.

— Мы еще увидимся,— сказал он лодочнику.

— Да, полковник,— ответил тот.

Барон Альварито стоял посреди комнаты, у камина. Он улыбнулся своей засенчивой улыбкой и сказал, как всегда, негромко:

— Обидно, что вам сегодня не удалось пострелять как следует.

— Нас совсем затянуло льдом. Но я все равно получил большое удовольствие.

— Вы очень замерзли?



- Не очень.
- Давайте что-нибудь поедим.
- Спасибо. Я не голоден. А вы ели?
- Да. Остальные поехали по домам, и я отдал им свою машину. Вы довезете меня до Латизаны или куда-нибудь поблизости? Оттуда я уже доберусь.
- Конечно.
- Вот беда, что вода замерзла. Виды на охоту были прекрасные.
- За лагуной, наверно, тьма уток.
- Да. Но они там не останутся, раз у них вся пища подо льдом. Ночью двинутся на юг.
- Неужели все улетят?
- Все, кроме наших местных уток, которые тут вывелись. Те побудут здесь, пока вся вода не замерзнет.
- Обидно, что с охотой так получилось.
- Обидно, что вам пришлось столько ехать из-за нескольких уток.
- Я люблю всякую охоту,— сказал полковник.— И я люблю Венецию.
- Барон Альварито отвел глаза и протянул руки к огню.
- Да,— сказал он.— Все мы любим Венецию. А вы, может, больше всех.
- Полковнику не хотелось вести светскую беседу на эту тему, он только сказал:
- Вы-то знаете, как я ее люблю.
- Знаю,— ответил барон. Взгляд у него был рассеянный. Помолчав, он сказал: — Пора будить вашего шофера.
- А он поел?
- Поел и поспал, а потом опять поел и поспал. И немножко почитал книжку с картинками, которую привез с собой.
- Комиксы,— сказал полковник.
- Надо бы мне научиться их читать,— сказал барон. Он улыбнулся застенчивой, затаенной улыбкой.— Вы бы не могли их мне достать в Триесте?
- Сколько хотите,— сказал полковник.— И похождения сверхчеловека, и уж совсем фантастические. Почитайте их вместо меня. Послушайте, Альварито, что с егерем, который был на моей лодке? Поначалу он просто видеть меня не мог.
- Это из-за вашей тужурки. Военная форма союзников всегда на него так действует. Видите ли, его чересчур ретиво освобождали.
- То есть как?
- Когда пришли марокканцы, они изнасиловали его жену и дочь.
- Мне, пожалуй, надо чего-нибудь выпить,— сказал полковник.
- Там на столе есть граппа.

## Глава сорок четвертая

Они довезли барона до огромных ворот и аллеи, посыпанной гравием,— вилла, к счастью, стояла больше чем в шести милях от ближайшего военного объекта и не пострадала от бомбежки.

Полковник распрощался с Альварито, тот пригласил его приезжать на охоту хоть каждое воскресенье.

- Может, вы все-таки к нам зайдете?
- Нет. Мне надо назад, в Триест. Передайте привет Ренате.
- Непременно. Это ее портрет лежит у вас на заднем сиденье?

- Да.
- Я скажу ей, что вы хорошо поохотились и что портрет в полной сохранности.
- И не забудьте передать ей привет.
- Не забуду.
- Сiao, Альварито, большое спасибо.
- Сiao, полковник. Если можно говорить сiao полковнику.
- А вы забудьте, что я полковник.
- Это очень трудно. До свиданья, полковник.
- В случае непредвиденных обстоятельств, попросите ее зайти в «Гритти» и взять портрет.
- Хорошо, полковник.
- Ну, кажется все.
- Прощайте, полковник.

## Глава сорок пятая

Они выехали на дорогу, и ранняя тьма стала сгущаться вокруг.

— Сверните налево, — сказал полковник.

— Но ведь та дорога не на Триест, господин полковник, — сказал Джексон.

— Ну и шут с ней, с дорогой на Триест. Я приказал вам свернуть налево. Вы думаете, на свете только одна дорога на Триест?

— Нет, господин полковник. Я только хотел обратить внимание господина полковника...

— А вас, черт возьми, никто не просит обращать мое внимание на что бы то ни было! И пока я сам не заговорю, извольте молчать.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Извините, Джексон. Я знаю, куда ехать, и мне хочется спокойно подумать.

— Так точно, господин полковник.

Они ехали по старой дороге, которую он так хорошо помнил, и полковник думал: ну вот, я послал четыре обещанных утки в «Гритти». Охота была не очень удачная, немного достанется жене того парня. Да, от перьев ей проку не будет. Но утки крупные, жирные — просто объедение. Эх, забыл дать Бобби колбасы.

Написать Ренате записку не было времени. Но что бы я мог написать в записке кроме того, что мы уже сказали друг другу?

Он сунул руку в карман и достал карандаш и блокнот. Включив лампочку для чтения карты, он раненой рукой написал заглавными печатными буквами короткий приказ.

— Спрячьте в карман, Джексон, и, если придется, действуйте соответственно. Если произойдет то, что здесь указано, выполняйте.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон и, взяв свободной рукой сложенный листок, сунул его в верхний левый карман мундира.

Ну, а теперь отдыхай, сказал себе полковник. У тебя осталась одна забота — о себе, а это уже роскошь.

Армии Соединенных Штатов ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять.

С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой.

Тут дело обстоит совсем просто.

Стрелял ты хорошо, и Альварито все понимает. Ну что ж.

Так какого черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов,

которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь? Думаю, что ты не такой.

И тут его схватило — он этого ждал с тех пор, как они собрали чучела.

Еще два раза, и конец, — думал он, — хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын.

Тут его опять схватило, и очень сильно.

— Джексон, — сказал он, — знаете, что однажды сказал генерал Томас Д. Джексон? <sup>1</sup> В тот раз, когда его постигла безвременная кончина. Я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь. Но так, во всяком случае, передают. «А. П. Хиллу <sup>2</sup> приготовиться к атаке», — сказал он. Потом начал бредить. А потом сказал: «Нет, нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев».

— Очень интересно, господин полковник, — сказал Джексон. — Верно, это был Джексон-Каменная Стена, господин полковник?

Полковник хотел ответить, но осекся, потому что его схватило в третий раз и стиснуло так, что он понял: вот и конец.

— Джексон, — сказал полковник, — поставьте машину на обочину и погасите фары. Вы знаете, как ехать отсюда в Триест?

— Да, господин полковник. У меня есть карта.

— Хорошо. Я сейчас перейду на заднее сиденье этой дерьмовой, сверхроскошной машины.

Это были последние слова, которые полковник произнес в своей жизни. Но до заднего сиденья он добрался и даже закрыл за собой дверь. Он закрыл ее тщательно и плотно.

Через некоторое время Джексон повел машину с зажженными фарами по дороге, вдоль канавы, обсаженной ветлами, и стал искать, где бы ему повернуть. Наконец, он осторожно развернулся. На правой стороне дороги, став лицом к югу — к развилке, от которого шло знакомое шоссе на Триест, — Джексон зажег свет в кабине, вынул листок с приказом и прочел:

*В случае моей смерти упакованную картину и два охотничьих ружья из этой машины вернуть в гостиницу «Гритти», Венеция, где их получит законный владелец.*

*Подпись: Ричард Кантуэлл, полковник пехотных войск США.*

Не беспокойся, вернут законным порядком, — подумал Джексон и включил первую скорость.

*Перевод с английского  
Е. Голышевой и Б. Изакова.*



---

<sup>1</sup> Джексон Томас Джонатан, по прозвищу Каменная Стена (1824—1863) — генерал в армии южан во время гражданской войны в США.

<sup>2</sup> Хилл Амброс Пауэлл (1825—1865) — генерал в армии южан.

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ

ВЕСНА НА ЕНИСЕЕ

ПОЭМА

**О** пять воспоминания лесные  
забились,  
как кедровки по кустам...

Перебирая книжки записные,  
я вновь, Сибирь,  
брожу по тем местам,  
где в небе  
кружат коршуны державно,  
где водопады падают весной  
в грозе и в грохоте...

Где так недавно  
я восхищался каждою сосной  
в тайге,  
и каждою сеялкой на севе,  
и каждою гусыней над водой,  
и каждою скалой на Енисее,  
заиндевелой, треснувшей, седой.

Весна!  
И я дивился: вдруг не юг ли  
в Сибирь явился  
и принес ей в дар  
жарков неостывающие угли,  
багульников озябчивый пожар?..

Багульники...  
Они в те дни сквозь ели  
светились  
и светлели стороной,  
и пели,  
и на солнышке кипели,  
свергаясь с гор зыбучею волной.

И та волна  
в ночах меня встречала,  
качала, будто омут за кормой,  
и по тайге носила без причала...

А впрочем,  
может, нынче все сначала  
начать?..

А начинается зимой,  
когда между домов  
и над домами,  
запятав под снегами  
красный яр,  
дымит  
индустриальными дымами  
индустриальный город  
Красноярск.

Дымит,  
как будто хочет сжить со света  
снега,—  
и, по-весеннему урча,  
дать птицам сказку северного лета,  
и синь воды, и стройность кедрача...  
Мне было вновь слушать скрип  
морозов,  
валить пихтовник да сосну срезать,  
штудировать науку леспромхозов  
на месте  
и в натуре, так сказать.  
Я благодарен записям рабочим,  
схватившим  
те места и тот словарь...  
В моих лесных заметках,  
между прочим,  
есть и такие строки:

Календарь  
Январь.  
Клесты.  
Метель.  
Глухарь.

Кусты.  
Апрель.

Такая запись:

Словно: «Всадник... Стремя...»

Или:

«Аптека... Улица... Кровать...»

Поди, пойми...

Но наступило время,  
и надобно ее расшифровать,  
и надобно ее продумать снова  
так, чтобы до последнего штриха  
вся скупость  
в сталь закованного слова  
вдруг обернулась  
щедростью стиха.

Итак,

я н в а р ь медвежьими путями  
бредет, в снегах отыскивая брод.  
Ревет взбесившийся мороз,  
когтями  
на Енисее раздирая лед,  
Ревет мороз, по-своему лаская  
сосновые помосты и мосты,  
столбами пар из глотки выпуская...

А в это время в ельниках  
к л е с т ы,  
забравшись  
в густоту ветвей повыше,  
туда,  
где в полночь светится звезда,  
встречая празднество  
поспевших шишек,  
клетчат выводят в бархате гнезда.

И пусть  
м е т е л ь бурлит и буря воет,  
мешая и влюбляться, и дружить, —  
живое в жизни — есть всегда  
живое,

живое всюду продолжает жить.

И вот в тайгу пришел

а п р е л ь глубинный.

Капель.

И, чуть ее заслышав речь,  
заиндевелые к у с т ы рябины  
уже снега посбрасывали с плеч.

И вот уже

г л у х а р ь, седой и колкий,  
там, где скипелись снег и бурелом,  
вычерчивает вензели под елкой  
упруго оттопыренным крылом.

Пройдет неделя, две...

И в новом туре

он где-то в стороне от сонных рек

взлетит на сосенку,  
глаза зажмурит  
и застучит тревожное «тэк-тэк».

Почудится: звук тлеет еле-еле.

Потом смелее:

«— Чья ты?!— А ничья!..»

И вдруг —

то грустным топотком капли,  
то бульканьем кипучего ручья —  
глухарь пройдетя,  
разделив на части  
мелодию страданий и утех,  
И снова: «Тэк... тэк... тэк...»  
И столько страсти  
вдохнет он в это самое «тэк-тэк».  
Глухарь.

Его призыв: «Не измени ты!» —

его самозабвенную любовь  
я постигал у тех у знаменитых  
у красноярских вздыбленных

Столбов.

Стояла ночь  
вся светлая без света.

И он

над черной пропастью куста  
медлительно повертывался,  
с веток  
сметая звезды веером хвоста.

Ему кричала полночь:

«Ну куда ты?!» —

Но не внимал ей  
чувства государь —  
тяжелый,  
неуклюжий,  
бородатый,  
оглохший от любви своей  
глухарь...

Однако, зная заданную тему,

Я нынче, откровенно говоря,

С азартом размахнулся на поэму,  
конечно же, не ради глухаря.

Оглядывая сторону лесную —  
мир мне еще неведомых чудес, —  
на Енисее повстречал весну я  
медовую, бедовую...

И здесь

не только  
брачных птиц столпотворенье.

Когда от крыльев

не видать ни зги, —

меня пленило новых дней горенье:

и этих вышек буровых паренёк  
над густотою девственной тайги;  
и этих скреперов литая сила,  
скрепляющая берегов навес;  
и эта удаль бездорожных «зиллов»  
на панораме Красноярской ГЭС,  
где, возводя вторую перемышку,  
бульдозеры стараются, урча;  
где стрелы экскаваторов  
впритычку  
со стрелами сосны да кедрача;  
где техника  
в таком большом почете...

Но что машины  
в наш машинный век,  
когда строительство,  
в конечном счете,  
вершит и завершает человек!

И потому,  
рывком вторгаясь в строки,  
в сюжет привносит страстность  
и размах  
великий князь  
таежной новостройки —  
взъерошенный Владимир Мономах.

(Случается ж такое в нашем мире.  
И в Дивногорске — хоть кого  
спроси! —

есть Мономах,  
опять же звать — Владимир! —  
Ну чем не князь  
из Киевской Руси?!)

Невдалеке от будущего мола,  
там, где сейчас  
Шумихинский причал,  
его я в комитете комсомола  
нечаянно однажды повстречал.

Под низким сводом деревянных  
арок  
сидел он,  
как сидит в ружье заряд.  
И шапка островерхая (подарок,  
наверное, кого-то из бурят)  
над иссиня-серебряной сорочкой,  
над крепкою посадкой головы  
сверкала соболиной оторочкой  
и бархатом сапфирной синевы.  
Скуластый,  
коренастый,  
лопоухий  
сидел над стенгазетой паренек,  
который почему-то был не в духе.  
И тем мое внимание привлек.

Он сомневался:  
«Может, это враки?..»  
Остерегался. Морщился. Робел.  
И уши, как ошпаренные раки,  
краснели, словно сами по себе.

Так почему же  
Парень смотрит хмуро?  
Ему б идти по жизни налегке!..  
И вдруг я увидел карикатуру  
в той стенгазете свежей,  
в уголке.

Казалось: экскаваторы урчали  
и тягачи..  
И, словно день померк,  
отчаянно бетонщицы в печали  
молчали, задирая лица вверх.

А наверху,  
как капитанша в рубке,  
от собственного гонорка пьяна,  
в щеголеватой выкрашенной будке  
сидела крановщица у окна.  
Под сонной,  
под развесистой сосною  
сидела скучно.  
И, назло судьбе,  
огромною помадиной губною  
водила по надтреснутой губе.

Рисунок.  
И под ним стишок нелестный:  
«Хотя  
здесь не квартира  
и не клуб,—  
стрелу  
подъемный кран  
не сдвинет с места,  
покуда Веста  
не накрасит губ!»

Взглянув на парня бережно  
и... сухо,  
собрав весь опыт свой  
и все чутье,  
я тут же порешил,  
что лопоухий  
влюблен, конечно...  
И — в нее, в нее!..

Как часто говорим о красоте мы,  
как будто в чувствах  
понимаем толк...  
И у меня зашевелилась тема  
с названием таким:  
Любовь и Долг.

Любовь и Долг!..  
Проблема так сердечна  
и бесконечна,  
как «добро и зло».  
Противоречие, которое извечно  
людей не только к подвигам  
вело —  
к страде дерзаний,  
столь необходимых,  
но и к чреде ошибок иногда —  
необратимых и неотвратимых,  
уже непоправимых никогда.

...Я помню юность:  
буровых  
спирали  
над грозненской весною замирали,  
и в выходной мы без ненужных  
слов  
фиалки целым курсом собирали  
по косогорам Старых промыслов.

Слетала пыль с песчаного бархана,  
по-летнему густа и горяча.  
А Нинка Пось, как бабочка,  
порхала  
в кисейном платье  
с сестрина плеча.

Про все на свете  
невпопад судила,  
лишь только бы  
познавьями блеснуть,—  
и все меня куда-то уводила,  
чуть-чуть назад  
и в сторону чуть-чуть.  
Потом, в весенней замети-  
метели,  
как звонкие чеченские божки,  
под яблоней сидели мы и ели  
с картофелем да с луком  
пирожки...

В те карточные годы  
(будь им пусто!)  
в студенческой столовке  
каждый раз  
солянкою из квашеной капусты  
зимой и летом потчевали нас.  
А тут,  
где плещутся карась да щука,  
где в речке  
словно тают острова,—  
от одного поджаренного лука  
как бы ходила кругом голова.

И Нинка  
солнечная, как свиданье,

над мгlistым,  
над лесистым бережком  
меня  
с таким застенчивым вниманьем  
четвертым угощала пирожком.  
Четвертым угощала — не томила,  
кормила от достатка своего...  
Бывало, только мать моя  
так мило  
родителя кормила моего...

Друзья!  
Я только позже понял остро,  
что, созидавая счастье и уют,  
любовь и материнство  
очень просто,  
как сестры,  
в сердце женщины живут...

Ах, Нина, Нина!  
Не дивись, как чуду,  
закоренелости моей мечты!..  
Я, верно, скоро дедушкою буду,  
как, вероятно, бабушкою ты,—  
а все еще  
в тоске противоречий,  
как молодости вечную броню,  
воспоминание о давней встрече  
в первоначальной свежести  
храню...

Пою ль Октябрь,  
Слагаю ль гимны Маю,  
всю жизнь я принимаю до основ.  
Теперь-то я, конечно, понимаю,  
что на просторах Старых  
промыслов,  
еще неопытная, молодая,  
простосердечная,  
у взгорий на виду,  
ты сердце распахнула, ожидая,  
что я, как в дом,  
войду в него, войду!..

А я и не заметил заварухи,  
фиалки рассыпая по пути,—  
и так же, как вот этот лопухий,  
не догадался вовремя войти.

И более того: по эстафете  
пуская вскачь ухмылистый  
смешок,  
наутро в скороспешной стенгазете  
такой с налету рубанул стишок:

«А Нинка Пось  
впадает в ужас:

мне кажется,  
что ищет мужа-с.»  
И — все!  
Любовь положена на плаху,  
как Нинкины  
с искринкою глаза...  
— Вот так! —  
хотел сказать я Мономаху,  
но, поразмыслив,  
взял да не сказал.  
Зачем  
другую волновать натуру,  
предсказывая беды наперед?  
И я  
молчком прикрыл карикатуру  
стихами под названьем

#### Ледоход

Беспокойный,  
как в горячке, Енисей,  
просыпается от спячки  
Енисей.  
Струй рассыпав серебро,  
ставит льдины на ребро  
Енисей.

Владимир прочитал стихи.  
И тут же  
вскочил со стула,  
чуть шагнул вперед,  
зачем-то затанул ремень потуже  
И, как ножом, отрезал:  
— Не пойдет!  
Где, спрашиваю,  
«Молний» переключка,  
когда здесь от села и до села,  
подмышку спасая перемычку,  
вся стройка  
восемь суток не спала?..

И, наконец,  
могу спросить Москву я:  
где человек в стихах у вас  
гостит,  
который веселится и тоскует,  
влюбляется, и строит,  
и грустит?

Тут я вмешался в речь его:  
— Начальник!  
Сейчас стихи такие есть как  
раз! —  
И положил пред грозными очами  
элегию

#### Тоскующий хакасс

Один  
у костра в одичавшей ночи,

полынь под себя подминая,  
хакасс на чатхане бренчит  
и бренчит,  
невесту свою проклиная.

С надрывом  
печальный кричит человек  
в сосущей тоске чернобыла:  
«Пускай не узнаешь ты  
счастья вовек  
за то, что меня позабыла!»

— Неплохо! —  
Мономах сказал: — Тем боле,  
вот прочитал — и, кажется, озяб.  
Что, это вы про Баинова, что ли?  
Про Соломона, что ли?..

— А хотя б!

— Ну, что ж!

В стихах — и боль, и умиление.  
До сущей правды тут —  
подать рукой!

И все же — нетипичное явление:  
из всех хакассов —  
он один такой.

Зато на стройке  
парень дельный очень.

Хотя б взглянули,  
как кирпич кладет...

А что хандрит —  
так это ж только к ночи.

Все знают:  
с осени невесту ждет!..

И Мономах, речь заключая,  
прямо  
сказал мне,  
что стихи покуда — сор...

В Москве таких редакторов  
упрямых  
берут поэты часто «на измор».  
Есть и такой приемчик, дорогие!  
И тут, хоть разорвись ты,  
рыжий черт!  
Зажмешь стихи, а мы тебе другие!  
Опять прижмешь, а мы тебе еще!..

Элегию сменяя громкой одой,  
вопрос решая, «быть или не  
быть», —

я понимал, что этою методой  
редактора нельзя не прошибить.  
И потому до тошноты, до боли  
я Мономаха грозного неволил,  
покуда он совсем не одурел.  
И вот уже, теряя силу воли,  
он как-то и обмяк, и подобрел.



В конце концов  
он взял свою дюжей  
рукой прямолинейной, как багор,  
и на свободную колонку тут же  
наклеил мой неброский

### Дивногорск

То ли плотники на юру,  
то ли сосны гудят в бору,  
то ли под перелет гусей  
сильный плещется Енисей.  
То ли песнь,  
то ли бьется кровь,  
то ли здесь  
расстиляет вновь,  
как мираж,  
трав росистый ворс  
дивный город наш —  
Дивногорск.

\* \* \*

Как бы от солнца майского кося,  
над мутною волною Енисея,  
там, где шоссе уходит под уклон, —  
в цветастые наряды разодела,  
смеялась, задыхаясь,  
стенгазета  
на деревянном стенде под стеклом.

Еще никем покуда не воспета,  
смеялась, хохотала стенгазета,  
неся агитки в пламенной груди.  
В своем  
весеннем буйстве знаменитом  
она притягивала, как магнитом,  
всех тех,  
кто только мимо проходил.

Я видел, как Афонька  
Шароглазый —  
лихач с полуобшарпанного  
«маза», —  
изображая трепетную грусть,  
приплясывал:  
— Ай, Веста! Ай, невеста!  
Поди,  
на стройке не находит места...  
Поеду-ка бедняжке улыбнусь,  
авось, она и позабудет горе...

И в перерыв обеденный  
у взгорья  
уже толпился ярмарочный гул.  
Я слышал, как степенная дивчина  
хвалила Мономаха:  
— Молодчина!

— Не поглядел, что цаца!  
— Рубанул!..

А гул  
все ширился, тайгу листая...  
И вот уже в бригадах,  
нарастая,  
он поднимался грозен и суров.

Я знал уже от Вальки Эрустёнка,  
что Веста Паас стройная эстонка,  
островитянка с дальних островов.  
Русалка, фантазерка и...  
чудачка,  
дочь рыбака да и сама рыбачка,  
что в Таллине в недавние года  
она  
в эстрадной обучалась школе.  
Там с шефом, что ли,  
иль с доцентом, что ли,  
не спелась — и приехала сюда.  
— И вот — беда, беда!..

И я устало  
раскинув плащ  
на прутьях краснотала,  
присел у кедра, около дупла,  
считая,  
что она — во всей натуре! —  
к роскошной на нее карикатуре  
прийти должна же!..  
И она пришла.

Она пришла —  
и осветила даль мне,  
в которой сразу зацвели сады.  
Она пришла,  
как песенная Сальме —  
возлюбленная Северной Звезды.  
Она пришла —  
и закачались тросы,  
и на утесы  
хлынул стройки звон...

А по плечам рассыпанные косы  
и даже голубой комбинезон,  
и стана  
удивительная стройность,  
и синева весенних синих глаз —  
подчеркивали тонко и достойно  
ее красу простую без прикрас.

— Русалка!  
Это, может, только снится:  
синь зелени и синие ресницы,  
и серьги бирюзовые в ушах,  
и тонкий профиль,  
тонкие запястья...

Вот гляньте:

словно у мечты во власти,  
она идет и разливает счастье.  
И легкостью отмечен каждый шаг.  
Как бы впитав в себя  
всю силу солнца,  
в ней жилка каждая  
живет и бьется  
и радуется молодости лет...

Она спешит, торопится, несется  
и, как лоза над Енисеем, гнется  
дыханью ветра майского вослед.

И вся она сверкает, и смеется,  
и светится, прозрачная, как свет.

Летит  
по дерну, по тропе медвежьей,  
вся — страстность,  
вся — кипучесть,  
вся — порыв!

И вот — она у стенгазеты свежей,  
глаза прищурив,  
губы приоткрыв,  
уже читает вслух  
стишок известный:  
«Хотя  
здесь не квартира  
и не клуб,—  
стрелу  
подъемный кран  
не сдвинет с места,  
покуда Веста  
не покрасит губ!»

Читает.

И заплакать, видно, хочет.  
И хочет, видно,  
с глаз долой — бегом!..

А перед нею Енисей клокочет  
водоворотами  
растопленных снегов.  
А перед ней Шумиха завывает,  
неся потоки пены из яруг...

Зачем-то Веста сумку открывает  
И что-то ищет в ней...

И как-то вдруг,  
другую обернувшись стороною,  
слезам и горю объявив войну,  
два тюбика с помадою губною  
бросает в набежавшую волну.

\* \* \*

А между тем,  
путей к любви не сгладив,  
Володька Мономах уже с утра  
рубил стропила  
в плотницкой бригаде,  
из рук не выпуская топора.

В те дни,  
когда он жил, как бы зимую,  
почувствовав в его душе аврал,  
одну безделку прочитал ему я,  
один набросок свой:

### Кричит марал

На ранней зорьке,  
разрывая мглу,  
взобравшись  
на прибрежную скалу,  
кричит марал...  
А что кричит...

Он повторил: «А что кричит?»  
и рядом  
со мною сел,  
взглянув на белый свет  
уже почти отсутствующим  
взглядом.

И, не сказав ни слова  
мне в ответ,  
пошел  
(к реке разбуженной, на луг ли,  
на перекресток ли больших дорог),  
давя жарков негаснущие угли  
подошвами нечищенных сапог...  
И вновь  
на стройке тяжело и хмуро,  
Негаданно, нежданно,  
как-то вдруг,  
топориком во время перекура  
калечил что ни попадя вокруг.  
Так на заре  
бессмысленно срубил он,  
свалил  
оттуда, где орлят орлы,  
зеленую, курчавую рябину,  
проросшую из лысины скалы.

А та скала  
среди песков да глины  
стояла, подпирая облака.  
Она  
над створом будущей плотины  
вздыхалась и легка, и высока.

А та рябина вечера встречала,  
туманы заclubив из-под ноги...

Она бы грозди спелые качала,  
она бы зданье станции венчала  
нерукотворным празднеством  
тайги.

Она бы над скалой,  
смеясь и плача,  
стояла, замыкая стройки круг.  
А он — мой друг —  
в минуту незадачи  
взял да и снес ее.  
Бездушный друг!..

Свалил!  
И я, не выдержав мученья,  
Отстаивая здешние места,  
горячечную горечь возмущенья  
излил в стихотворенье

### Красота

Не нравится мне это,  
что с рябины  
в разгаре лета  
голову срубили.

Кричу: «Постой-ка, —  
плотнику Володе, —  
она ж на стройке  
не мешала вроде?..  
Зачем же, дорогой мой,  
все, что лечит,  
растаптывать ногой  
да топором калечить?»

Владимир угадал себя. Любезно  
сказал: — Ну что же!  
В собственных домах  
оно и самокритика полезна! —  
И тут же  
начертал рукой железной:  
«В ближайший номер.  
Срочно!!  
Мономах».

А я заметил, как теперь он скучен  
в кольце страданий —  
в сомкнутом кольце...  
И столько  
проступило вдруг веснушек  
на истомившемся его лице.  
Таким он  
стал и старым и сутулым,  
так человека беды потрясли,  
что даже нержавеющие скулы  
и те как будто ржою обросли.

\* \* \*

А что же Веста?  
Веста надевала  
все больше платья белые. Она  
и виду никому не подавала,  
что Мономахом так оскорблена.

Работала, как все,  
глядела чертом,  
и лучше всех  
плясала на вечерках.

Как хорошо  
стоять с такою рядом!  
И мне,  
когда справляли майский бал,  
однажды выпала такая радость —  
я целый вечер  
с Вестой танцевал.

А там, вдали от танцев,  
тем же часом  
под дымом,  
как под розовым плащом,  
в компании с тоскующим  
хакассом,  
невесты не дождавшимся еще,  
как бы утратив в жизни  
направленье  
и как бы  
думам собственным на страх,  
сидел, как «нетипичное явление»,  
типичный комсомолец Мономах.

А Веста, опустив глаза устало,  
уже без озорства и без огня,  
с какой-то тихой грустью  
прошептала:  
— Не откажитесь проводить  
меня!..

С тех пор,  
дав волю ревности, обиде  
и намекнув: «С отъездом  
поспеши!» —  
Володька Мономах возненавидел  
мою персону до глубин души.  
Чудак!  
Как будто я подставил ногу  
его любви...  
А впрочем, в дни тревог,  
наверно, все чудим мы понемногу,  
когда земля уходит из-под ног.

\* \* \*

Столицу дивных дел,  
столицу юных  
романтиков,  
когда пришла пора,  
во вторник  
двадцать третьего июня  
я покидал в шестом часу утра.

К верховьям Енисея осторожно  
шел теплоход уже к иной судьбе.  
И было мне печально, и тревожно,  
и грустно, и чуть-чуть не по себе.

Прощай,  
весенний город молодежи!  
Ты помоги влюбленному навек —  
Володьке моему,  
который все же  
отличный парень,  
честный человек.

Еще вчера лишь  
за него просил я:  
«Зачем же, Веста, так  
наотмашь бить?..  
Поймите, что в любви неугасимой  
ему ж невыносимо может быть!»

Она в ответ сказала мне:  
— Тем боле!  
Ведь так заведено спокон веков...  
А я-то что? Я каменная, что ли?  
Любить такого тоже нелегко!

Любовь, любовь!  
Ее неставишь в раму!  
Она живуча, если глубока!..

Пошлю-ка  
я Володьке телеграмму,  
когда приеду в город Абакан.  
Порадую ревнивца  
доброй вестью:  
«Не погаси живительный огонь!  
Пойми,  
тебя же, черта, любит Веста.  
И ты, смотри, ее не проворонь!»

...На палубе играли два баяна.  
Шел теплоход  
то в рощи, то в луга.  
И красота Восточного Саяна  
зеленые теснила берега.  
Шел теплоход —  
на фоне гор — поджарый.  
Распахивали кедры пиджаки.  
И сарань веселые пожары  
до крутизны вздымали языки.

Шел теплоход  
по волнам, полным света.  
Был ясен день,  
и даль была ясна...

Перебесившись,  
в солнечное лето  
переходила страстная весна.  
Спокойная  
брела тропинка ланья  
к вершинам,  
где уже сошли снега.  
И смутные, туманные желанья,  
как Енисей, входили в берега.



# ЗВЕЗДА и эдельвейс

*Автору этих строк довелось вместе с другими советскими журналистами сопровождать Никиту Сергеевича Хрущева в его поездке по Австрии. Исторический визит главы Советского правительства явился важным вкладом в дело мира, сыграл огромную положительную роль в дальнейшем улучшении советско-австрийских отношений, в укреплении дружбы и сотрудничества между советским и австрийским народами.*

*Предлагаемые вниманию читателя записки ни в какой мере не претендуют на то, чтобы дать всестороннюю и полную картину визита. Это лишь беглые зарисовки отдельных событий и встреч, которые особенно остро и глубоко запечатлелись в памяти.*

## У КОЛЫБЕЛИ МОЦАРТА

Рассказывают, что накануне визита в венских театральных кругах оживленно обсуждался вопрос, какую оперу показать высокому советскому гостю. Называли, в частности, «Тоску» и другие наиболее яркие спектакли репертуара, но в конце концов остановились все-таки на «Волшебной флейте» Моцарта. И думается, что нельзя было сделать выбор удачнее: именно Моцарт, именно «Волшебная флейта» оказались на редкость созвучными жизнеутверждающей идее визита, той просветленно-праздничной обстановке, в которой проходила поездка Никиты Сергеевича Хрущева по австрийской земле...

В раззолоченном, сверкающем огнями зале Венской оперы собрался в тот памятный вечер «высший свет» придунайской столицы.

— Сегодня у нас большой спектакль, — почтительно говорит пожилой билетер, вручая изящно изданную книжечку-либретто со старинным портретом Вольфганга Моцарта. На титульном листе надпись: «Торжественное представление в честь Его Превосходительства господина Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева». Краткое содержание оперы напечатано на русском и немецком языках.

Впрочем, не будь даже специально выпущенного либретто и торжественной надписи на титульном листе, — кто усомнился бы в том, что прославленная Венская опера действительно переживает се-

годня день «большого спектакля!» Возле ярко освещенного подъезда, над которым вознесены позеленевшие от времени крылатые пегасы, — столпотворение роскошных автомашин самых что ни на есть последних марок. Вдоль мраморных перил парадной лестницы, точно безмолвные и недвижимые изваяния, выстроились чопорные лакеи в красных и желтых livreeх. Лучистое сияние драгоценностей в изысканных дамских туалетах, кажется, соперничает с ослепительным блеском огромной и круглой, словно ожерелье, люстры, легко нависшей над креслами партера. Австрийские журналисты шутя говорили нам, что достать в этот вечер билет в театр было немногим легче, чем написать «Волшебную флейту».

Шуршащий и говорливый, в смокингах и дорогих мехах, движется людской поток мимо скромных фотографий под стеклом, вывешенных в верхнем фойе. Задержимся на минуту, — фотографии стоят того, чтобы посмотреть на них!

Мертвые, будто ослепшие, глазницы окон, провисшие исковерканные балки, беспорядочные груды кирпича — так выглядело здание Венской оперы пятнадцать лет назад, после взрыва бомбы, прицельно сброшенной с борта американского самолета. Я находился тогда в Вене, наша фронтовая редакция занимала полуразрушенный особняк на окраине австрийской столицы, и я отчетливо помню, каким бессмысленным и варварским был этот налет, совершенный американскими летчиками буквально накануне освобождения города.

Вспоминается и другое — кадры из первой кинохроники, снятой в освобожденной израненной Вене. Еще дымились развалины зданий, апрельские дожди едва смыли пороховую гарь с ветвей деревьев на берегах Дуная, а советские военные инженеры, вместе с австрийскими архитекторами, уже задумывались над расчетами и планами восстановления венского театра. Оператору посчастливилось тогда снять выразительный кадр: пустая коробка здания, группа людей, стоящих на битом щебне, и лист ватмана, который тербит весенний ветер в руках советского офицера...

Но не только о тех, кто разрушил и кто помог восстановить Венскую оперу, думалось мне, когда я смотрел на документальные фотографии в фойе театра. Скорбные снимки — тем более скорбные в сопоставлении с блистательным великолепием вокруг — заставили снова и снова вернуться к недавним и горьким страницам в истории австрийского народа, вспомнить о тех страшных потерях и разрушениях, которыми заплатили Австрия, Вена, оперный театр на Ринге за проклятый гитлеровский «аншлюсс» 1938 года.

В первые дни после освобождения на улицах австрийской столицы еще можно было увидеть рваные плакаты с текстом печально известной речи Гитлера, где он назвал Вену «жемчужиной» и обещал, что даст ей «достойную оправу». Многие сот-

ни и тысячи погибших жителей города, взорванные дворцы и храмы, солдатская казарма в парке Шенбрунна, залитые грязью окопы под зелеными кронами Венского леса — вот та «оправа», которую получила придунайская столица от двух зловещих ювелиров: Гитлера и войны!

Обо всем этом, конечно же, не забыли люди, пришедшие сегодня на торжественный спектакль. Благодарная память народа не оскудевает с годами: Австрия помнит и будет помнить всегда, что именно с востока, со стороны солнечного восхода, пришла к ней желанная помощь в то многотрудное время, что именно войны Советской Армии принесли на запыленных башнях своих танков долгожданное избавление от фашизма. И кажется, будто алым жаром и пламенем солнечных лучей окрашены гирлянды роз, которые обвивают в этот вечер бархатное полукружие центральной ложи театра. К ней, к этой ложе, направлены сейчас лорнеты и бинокли сиятельного партера, на нее устремлены взоры сотен людей, пришедших на праздничную встречу главы Советского правительства с вечно юным и вечно прекрасным Моцартом.

Он незримо присутствует здесь, в этих стенах, бессмертный зальцбургский чародей, присутствует с того дня 25 мая 1869 года, когда постановкой его оперы «Дон Жуан» был открыт первый сезон в только что построенном здании столичного театра. «Вся Вена бурно протестова-

Теплая встреча в городе Филлах



ла бы, если при открытии новой оперы не было бы имени Моцарта», — пишет в своей книге «Венская опера» известный австрийский писатель и музыковед Франц Фарга. Сцены из «Волшебной флейты», как чеховская чайка на занавесе МХАТа, навечно запечатлены на фасаде театра в дивных фресках художника Морица Швинда — по счастью, их не тронула, не стерла беспощадная рука войны. И, может быть, именно потому, что многое вокруг живо напоминало о Моцарте, о его творчестве, о сказочно прекрасном мире его щедрой фантазии, может быть, именно поэтому так волнующе звучала в тот вечер музыка композитора — прозрачная и окрыленная, словно пропитанная лучами солнечного света...

Ощущение незримого присутствия композитора, редкостного и счастливого проникновения в тайны тайн его творчества было еще более сильным в Зальцбурге, где Никита Сергеевич Хрущев и сопровождающие его лица посетили мемориальный дом-музей Моцарта. Этот красивый альпийский городок, затейливо переплетенный лабиринтом узких средневековых улиц, навеки прославлен тем, что здесь родился автор «Волшебной флейты».

Время не сохранило крошечную деревянную кроватку, откуда впервые глянул на мир великий музыкант. Но в правом углу квадратной комнаты висит скромная табличка с лаконичной надписью: «Здесь стояла колыбель Моцарта». Уцелела и скрипка, на которой играл шестилетний мальчуган в расшитом камзоле с кружевными манжетами и напудренном парике.

Старинные портреты и гравюры на стенах, дорогие реликвии под стеклами витрин — все хранит живую нетленную память о Моцарте, о его времени, о людях, которые были близки ему. Перепачканные чернильными кляксами листки ученической нотной тетради и торопливые записи партитур зрелого музыканта, письмо к парижскому другу, где Моцарт с болью пишет о смерти матери, миниатюрный буковый портрет-барельеф, сделанный при жизни композитора, пряди его волос... И самая, пожалуй, дорогая реликвия — скрипка, на которой играл взрослый Моцарт. Служители музея благоговейно приподнимаются на цыпочки, когда проходят мимо этой бесценной скрипки. И надо по достоинству оценить всю безграничную меру их уважения к Советской стране, советскому искусству, если они предложили приезжавшему в Зальцбург Давиду Ойстраху сыграть на скрипке Моцарта. Такое допускается очень редко, в самых исключительных случаях.

Неизъяснимое чувство охватывает вас, едва вы ступаете на скрипучие, натертые воском половицы комнаты, где сам воздух, кажется, хранит дыхание великого композитора, где вы с трепетом ожидаете, что вот-вот зазвучит вдруг старинный-престаринный клавесин, желтых клавиш которого касались когда-то руки Моцарта...

И он действительно зазвучал в тот вечер! В честь высокого советского гостя и его спутников вице-президент международного общества «Моцртеум» Ганс Шурах играл на певучем клавесине отрывок из фортепианной сонаты Моцарта. Волшебные звуки, рождаемые тонкими пальцами музыканта, заполняли комнату, выплескивались упругими волнами в распахнутые настезь окна, перед которыми собрались сотни, тысячи жителей Зальцбурга. Они пришли к дому на Гетрейдегассе задолго до того момента, когда сюда подъехала машина Никиты Сергеевича, пришли, чтобы от души поприветствовать главу Советского правительства возле колыбели гениального Моцарта.

И снова подумалось тогда: как ощутимо близки Моцарт и его творчество самым дорогим идеалам и надеждам миллионов людей! Великий жизнелюбец, вдохновенный певец добра и красоты, он наш союзник сегодня в борьбе против тех, кто хотел бы черными тучами войны закрыть ясное небо над Альпами, над всем миром, кто сеет опасную вражду между народами, толкает человечество на самоубийственный путь военной катастрофы. Он наш союзник в грандиозных делах и свершениях, творимых во имя счастья советского народа, во имя счастья всех людей на Земле. Он наш союзник в том историческом дружеском визите, который нанес Никита Сергеевич Хрущев австрийскому народу.

Непреклонной верой в неизбежную победу светлого, разумного начала жизни над мрачными силами зла и разрушения одухотворена опера Моцарта «Волшебная флейта». Разве не эта же благородная идея могуче вдохновляет сегодня миллионы и миллионы людей, решительно вступающих против гонки вооружений, за торжество мира и дружбы на Земле! Правда, в жизни все сложнее, чем в сказочно-наивной опере. Судьбу народов не обезопасишь, не решишь магическим звучанием волшебной флейты и звоном серебряных колокольчиков. Но ведь и сил, разума, энергии у миролюбивых народов куда больше, чем у сказочного мудреца Заратра! Важно, чтобы народы до конца осознали свои силы и свои возможности, твердо поверили в них, и тогда никакие «царицы ночи» не станут преградой на пути человеческого счастья!

## ГОЛГОФА МАУТХАУЗЕНА

Кто сосчитает, сколько измученных, обреченных на гибель людей поднялось по каменистым ступеням лестницы, ведущей на холм Маутхаузена? Эту лестницу прорубили, прорезали в твердой, как железо, земле руки заключенных. Узники фашистского концентрационного лагеря не рыли себе могил (в Маутхаузене исправно работали печи крематория), но они проложили крутую многоступенчатую дорогу, ставшую рукотворным памятником их мученичества и смерти.

Голгофа Маутхаузена... Какой незна-



На плотине высокогорной гидроэлектростанции «Капрун»

чительной и жалкой кажется по сравнению с ней выдуманная трагедия той, библейской, Голгофы, на которой, если верить церковным легендам, когда-то распяли Христа! Звериная сущность фашизма оказалась страшнее и трагичнее самых мрачных страниц «священной истории»: на незримых крестах Маутхаузена было умерщвлено сто двадцать три тысячи заключенных из всех стран Европы. «В это число, — как гласит лаконичная надпись на мемориальной доске, — не входят десятки тысяч тех, кто без всякой регистрации был убит вскоре после доставки в лагерь».

Мемориальная доска перед тяжелыми воротами, надгробные памятники иobelisks, пламя жертвенного огня в светильнике и венки цветов — все это хранит скорбную память о погибших борцах против фашизма. Но Маутхаузен — не только гигантское кладбище, это — изуверская фабрика смерти, оставленная в том виде, в каком она была при гитлеровцах.

Горькие воспоминания о людях, загубленных в годы войны, кровоточат всегда — это раны, которые не заживают. Но память о погибших особенно гневно и мучительно стучится в сердце именно здесь, где каждый камень, каждая пядь земли, кажется, обгарены людской кровью. И нигде так остро, так глубоко не чувствует человек, что он не должен, не имеет права допустить повторения кошмарного прошлого. Его собственное счастье, жизнь и благополучие его детей, внуков, правнуков зависят от того, насколько решительно и твердо преградит он сегодня путь новой войне...

Я подумал об этом, когда увидел, как

взволнованно и благодарно встретили в Маутхаузене Никиту Сергеевича Хрущева многие и многие сотни австрийцев. Об этом трудно рассказывать. Я не убежден, что есть такие слова, которыми можно было бы передать, с какими влажными сияющими глазами жали руки дорогому гостю седые ветераны борьбы с фашизмом — бывшие узники лагеря, как матери и отцы поднимали навстречу Никите Сергеевичу детей, как радостно скандировали люди ставшие синонимами слова: Хрущев, дружба, мир!

В застенках Маутхаузена, как об этом свидетельствуют бухгалтерские сводки гитлеровцев, было злодейски уничтожено 32.180 советских граждан. О негибимой твердости духа, о беспримерном мужестве советских людей повествуют немые камни. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года весь лагерь был взбудоражен дерзким побегом большой группы советских военнопленных, заключенных в блоке № 20. Безоружные узники вступили в бой с эсэсовской охраной, забросали ее камнями и колодками, преодолели высокие стены и провололочные заграждения. Многие погибли тогда, в течение нескольких дней гитлеровцы свозили к печам крематория трупы убитых людей, которые предпочли смерть рабству и унижению...

Торжественная скорбная тишина воцарилась над огромной территорией бывшего лагеря смерти, когда Никита Сергеевич Хрущев возлагал венки к подножию памятников жертвам фашизма. Был слышен каждый шаг по усыпанному гравием дорожкам, каждый всплеск алых шелковых лент, которые перебирал свежий,



прилетевший с близкого Дуная ветер. Море обнаженных голов вокруг. Сжав губы и стиснув кулаки, люди мысленно приносят присягу на верность делу мира, клянутся, что никогда впредь не допустят возжигания дымных печей Маутхаузена.

После торжественно-траурного митинга Никита Сергеевич Хрущев спускается вместе с австрийскими друзьями в мрачные подвалы лагеря. Нервная дрожь пробегает по телу, когда переступаешь порог полутемных комнат с низкими, точно придавленными потолками. Здесь уничижали людей, здесь работал адский конвейер смерти.

Печь крематория — в ее разверстую пасть легко вкатывались железные носилки с трупом очередной жертвы. Комната расстрелов и пыток — в цементный пол вделана решетка для стока крови. В соседней комнате гитлеровские палачи в белых врачебных халатах проделывали изуверские опыты над живыми людьми; рядом — газовая камера-душегубка.

Омерзительная деталь: в стене камеры устроено застекленное окошечко, через которое можно было наблюдать, как бьются в предсмертных судорогах люди. Такого рода зрелища любил нацистский гаулейтер барон Бальдур фон Ширах, специально приезжавший сюда для этой цели из Вены. Тот самый Бальдур фон Ширах, кстати, который торжественно заверял венцев, что сделает их оперный театр «лучшим в мире». Подумать только: сегодня этот титулованный негодяй проявлял трогательную заботу о певческом и музыкальном искусстве, а назавтра приезжал в Маутхаузен и любовался сквозь стеклянное окошечко, как умирают люди!

Вот она, война, вот он, «новый гитлеровский порядок», вот то мерзкое и страшное, против чего последовательно и неустанно борется советский народ, Советское правительство, великий защитник мира Никита Сергеевич Хрущев. И жители Австрии прекрасно понимают это; недаром визит главы Советского правительства буквально всколыхнул всю страну. Сотни и тысячи людей ежедневно выходили на дороги, на улицы и площади больших и малых городов, чтобы восторженно взмахнуть ало-белым флажком, увидеть и сердечно поприветствовать желанного гостя. «Добро пожаловать в Австрию!» — этот плакат появлялся бесчисленное множество раз на всем протяжении поездки.

«Добро пожаловать в Австрию!» — очевидно, эти же слова повторяла про себя молодая женщина с грудным ребенком на руках, вышедшая встречать советских гостей на окраине маленького городка близ Линца. Она улыбалась и приветливо махала рукой вслед проезжавшим машинам. Женщина запомнилась, быть может, еще и потому, что стояла возле каменной мадонны, которая точно так же прижимала к груди младенца.

В первые дни после войны я не раз видел на дорогах Австрии такие изваяния, разрушенные осколками бомбы или снаряда. Печально, когда исковерканный взрывом кусок металла разбивает вдребезги холодную грудь мадонны. Но страшно представить, что он прострелит навывлет, разорвет грудь женщины, наполненную теплым материнским молоком, умертвит ребенка в колыбели. А ведь это было и может случиться впредь, если опять запольхают над ми-

В научно-исследовательском институте животноводства





**Маленький житель деревушки Имлау сердечно приветствует Никиту Сергеевича**

ром смрадные пожары войны, если опасные безумцы вновь ввергнут человечество в пучину ужасающих горестей и бед, страданий и смертей...

Но это не должно случиться! Пусть вечно стоят перед глазами людей ржавые решетки на серых бараках Маутхаузена, ряды колючей проволоки, задымленная пасть крематорской печи — зловещее олицетворение всех мерзостей и кошмаров, которые несет война народам Земли.

## **БЕЛЫЙ ЦВЕТOK. ЭДЕЛЬВЕЙСА**

Цветы дарят от чистого сердца. Очевидно, именно поэтому так много было цветов на всем протяжении поездки Никиты Сергеевича Хрущева по Австрии. Если собрать воедино все большие и малые букеты, которые торжественно вручили главе Советского правительства и его спутникам на пути от Вены до Зальцбурга, от Линца до Граца, то трудно даже представить, какой громадной и многоцветной была бы цветочная гора...

Белоснежные, точно замшевые, соцветия эдельвейса куда более скромны и неприметны, чем те роскошные, обычно бережно завернутые в прозрачный целло-

фан цветы, которые выращивались искусными садоводами Австрии. Но мне хочется рассказать именно о нем, о маленьком альпийском цветке, о памятных встречах с ним на придунайской земле.

Встреч было две. Многолюдное собрание в переполненном дворцовом зале венского Хофбурга, где Никита Сергеевич выступал с большой и яркой речью. Сотни и тысячи людей за окнами дворца, жадно ловящие из репродукторов каждое слово. И огромный цветок эдельвейса на фоне красной звезды в эмблеме Австро-Советского общества дружбы. Это — первая встреча.

Вторая произошла несколько дней спустя, когда владелица небольшой сельской таверны вблизи Зальцбурга подарила Никите Сергеевичу букет ярко-алых альпийских роз, среди которых светлой искоркой белел эдельвейс.

Встречи разные. Идиллическая зеленая лужайка возле небольшой таверны ничем не напоминала бурлящую, словно море, площадь перед Хофбургом. Но в том и другом случае символический эдельвейс убедительно выразил самое главное, самое дорогое, что сопутствовало всей поездке товарища Хрущева по австрийской земле.

Это самое главное и самое дорогое можно назвать так: теплое, сердечное

отношение австрийского народа к визиту главы Советского правительства, искреннее желание миллионов австрийцев крепить дружбу и сотрудничество с великим Советским Союзом, их стремление жить в мире, который никогда не знал бы кровопролитных войн.

Среди многих и многих австрийцев, так радушно и гостеприимно встречавших Никиту Сергеевича Хрущева, было, вероятно, немало католиков — это естественно для такой страны, как Австрия. И, очевидно, все они были знакомы с обращением епископов к австрийским католикам, опубликованным за несколько дней до визита. Католический клир настоятельно рекомендовал верующим отказаться от всего, что может быть расценено как проявление симпатии к советским гостям. «Побудьте дома, — призывали отцы церкви. — Пусть они (то есть советские гости. — Н. К.) пройдут пустыми улицами»...

Может быть, и не следовало бы касаться щекотливого вопроса взаимоотношений духовных отцов церкви с их паствой — это в конце концов дело самих католиков. Но если католический клир публично и отнюдь не в полном соответствии с логикой призывал верующих не проявлять симпатии к представителям миролюбивой страны, к визиту доброй воли, то почему бы не сказать, что призыв этот, судя по всему, не слишком убедил католиков. А точнее, не убедил совсем: высокого советского гостя восторженно приветствовали всюду — будь то городская рагуша Вены или сталелитейный цех металлургического завода в Линце, пультовый зал дунайской электростанции или старинный охотничий замок, где в крепостных рвах гуляют ручные косули, а музыканты во время торжественного ужина при свечах играют в напудренных «моцартовских» париках...

Впрочем, господь с ними, с епископами. Были и кроме неразумных отцов католической церкви такие горе-оракулы, которые предсказывали, что советские гости «пройдут пустыми улицами». «Не стойте шпалерами! Не выражайте одобрения!» — истошно визжали они на страницах реакционных газет.

Не грех спросить теперь у недавних мрачных предсказателей, пророчивших «равнодушный прием советского премьера в Австрии»: как вы себя чувствуете, господа, почему не сбылись ваши унылые прогнозы и сколько раз вы будете еще на своем безрадостном веку вот так торжественно и публично садиться в лужу?

Строя свои злорадные прогнозы, современные оракулы, вероятно, гадали по звездам и просчитались. Не рекомендует-

ся в серьезных вещах полагаться на астрологию, тем более теперь, когда среди звезд мчатся на космических скоростях советские спутники, которые хорошо видны и слышны во всех уголках Земли. Забыли об этом господа прорицатели! Не учли, что международный авторитет Советского государства велик и крепок сейчас, как никогда. Не посчитались с тем непреложным фактом, что последовательная миролюбивая политика Советского правительства, советского народа была и остается наимоощнейшим магнитом, который властно притягивает на нашу сторону миллионы и миллионы человеческих сердец.

Жители Австрии слишком хорошо знают, что такое война. В их памяти еще свежи сатанинские присвисты бомб, прицельно сброшенных над жилыми домами и храмами, над виноградниками и зелеными альпийскими лугами.

— Ведь каждый австриец, — сказал на торжественном собрании в Хофбурге генеральный секретарь Австро-Советского общества дружбы Мартин Грюнберг, — который любит свою родину, гордится нашими достижениями в области культуры и экономики, заботится о благе народа и желает своей родине счастья и безопасности в будущем, знает, что Австрия может достигнуть этого только в условиях мира.

Так думают не только Мартин Грюнберг и члены Австро-Советского общества дружбы, украсившие свою эмблему алой звездой и белоснежным альпийским цветком. Так думают коммерсанты Вены, металлурги Линца, энергетики Капруна, машиностроители Граца — миллионы жителей независимой, миролюбивой и демократической Австрии, твердо придерживающейся политики нейтралитета. Так думает и владелица небольшой сельской таверны близ Зальцбурга, которая от души преподнесла Никите Сергеевичу букет красных роз, символически украшенный белым цветком эдельвейса.

Многое сокрыто в этом скромном подарке... В нем и вечная признательность советским людям за избавление от фашистского рабства. И высокое уважение к бескомпромиссно твердой, миролюбивой политике социалистического государства. И светлая вера в то, что никогда впредь не будут подниматься люди навстречу собственной гибели по окровавленным ступеням голгофы Маутхаузена...

В нем — в букете альпийских цветов, подаренных от чистого сердца, — благодарное признание выдающихся заслуг Никиты Сергеевича Хрущева в неустанной борьбе за счастье людей, за торжество желанного мира на Земле.

# Дела и люди столетий

Михаил Демин

## Центр критического

**В**первые я увидел Абазу в 1954 году, в разгар строительства Южно-Сибирской магистральной.

Тяжелый туман катился с Саянских отрогов. Кондовая, рубленая «в лапу» Абаза дышала изморозью, мигала тусклыми огнями.

Молодые строители-путейцы, с которыми я приехал, ушли пустынной улицей искать стройучасток. Продребезжала трехтонка, и снова над рудничным поселком замкнулась голубая тишина.

Здесь, в этом глухом закулке Хакасии, живут старые мастера, потомственные рудознатцы и металлурги — труженники знаменитого Кольчугинского завододелательного завода, о котором еще в восьмидесятых годах в сибирских газетах писалось, что его история есть история заводского дела в Сибири.

Я шагал, припоминая историю рудника, разглядывая редких прохожих.

Из заснеженного проулка появился высокий, сутуловатый старик. Неторопливо потоптался, сбивая с катанок порошу. Шумно высморкался.

— Папаша! — окликнул я его. — Не скажешь, рудник далеко отсюда?

— Рудник? — старик посмотрел испытующе: — Тебе, стало быть, карьер нужен? Недалече. Поболее двух верст. Идем, милый человек, до переезда.

Белая улица струилась перед нами словно русло застывшей реки. Над покروبленными крышами стлался туман. Все здесь пахло стариной. Я поинтересовался названиями улиц. Наверное, они, как спокон веков заведено было на Руси, связаны с ремеслами?

— Верно. Связаны, — согласился старик. — Эта вот улица Кузнечной называется. Здесь, стало, кузнецы жили. А вон там, налево, селились литейщики. А вообще... — Он захлебнулся мажорчным дымком, забился в кашле, махнул рукой: — Вообще-то ты правильно сказал,

старо все это. И давно известно. Смотреть тут не на что.

Мы шли, не спеша переговариваясь, присматриваясь друг к другу. Откуда и почему так знакомо мне это худое лицо, нос с горбинкой, характерная, мягкая линия рта?

За селом, на перекрестке, старик остановился.

— Теперь иди прямо, все в гору. Только что ты там хотел — карьер-то ведь давно заброшен.

— Как так?

— А так. Был карьер... — Старик пожевал губами. — Значит, понял? В гору... Я бы тебя проводил, да уж года не те. Не помню, когда в горах и бывал-то. Как-никак, шестьдесят пять стукнуло...

И тут я вспомнил. Ну конечно же, я слышал об этом человеке!

В Абаканском краеведческом музее подготавливался стенд, посвященный Абазе. Разбирая материалы, научный сотрудник музея сказал мне:

— Абаза еще ждет своих исследователей и поэтов. Вот, к примеру, Самуил Салов. Он родился в 1889 году. Его отец и дед, потомственные уральские металлурги, осваивали эти места. А Самуил в годы гражданской войны возглавил ревком, охранял Абазу от колчаковских банд.

Он извлек из груди бумаг порывевшую фотографию, стер с нее пыль. Вздыхнул уважительно:

— Ходит Салов там, у себя, и не осознает, что он — живая история!..

И вот я рядом с Самуилом Саловым.

— История? — он усмехнулся задумчиво. А глаза потемнели. И не понять было, то ли это тусклая старческая слеза, то ли дымка воспоминаний...

— Богатая история, что говорить. Только скоро, пожалуй, некому и вспомнить старину будет... Хотя, чего вспоминать? Мы свое сделали. Теперь вперед надо глядеть, в будущее.

Слово «будущее» Салов произнес протяжно, смачно, словно пробуя его на вкус.

Неподалеку рабочие прокладывали полотно железной дороги. Перекликались в сумерках автосирены. Шатался отсвет костра. Возле насыпи шуршала позёмка, обтекая черную гряду лома.

Несколько чугунных деталей — вот все, что осталось от Кольчугинского завода. Полукустарное, крохотное предприятие перестало существовать много лет назад.

— Железной дороги не было, а в нашем деле транспорт — все! — медленно говорил Салов. — Сюда бы только руки приложить... Залежь-то была знаменитая! На всю Сибирь залежь...

## ОТ АБАЗЫ ДО... АБАЗЫ

Весной этого года я снова побывал в Хакасии. И еще в пути, на Абаканском аэродроме, услышал о новой Абазе.

Холодное небо блантело над стартовым полем. Ныл в антеннах пронзительный ветер. Возле помещения аэропорта волновалась толпа отъезжающих — командировочные дождевики, регланы, брезентовые робы, ватные стеганки.

На лавочке у дверей расположилось двое парней. Оба — крепкоскулые, бледно-волосые, в распахнутых телогрейках. Один задумчиво покуривал, другой держал на колене гармошку и, тихонько подыгрывая, напевал:

Нам новоселов шлет Калуга,  
Петропавловск и Елец...  
Стал магнетит хакасский центром  
притяжения сердец.

Нехитрая мелодия вплеталась в гул голосов и рокот моторов.

Самолеты идут к Восточно-Саянским хребтам. Самолеты идут на рудник...

На Абазу едут сотни людей: рабочие, молодые специалисты, представители краевого совнархоза, горняки, командированные из Кузнецка и Сталинска.

Он, этот рудник, действительно стал «центром притяжения сердец». Таким же «центром притяжения», как и множество крупных промышленных новостроек. Таким же, как и вся сегодняшняя Сибирь. Именно — сегодняшняя. Ведь до недавнего времени считалось, что в Сибири почти нет железной руды.

В годы первых пятилеток на Востоке возникла вторая металлургическая база, и тогда заработал необычайный «маятник»: уголь Кузбасса пошел на Магнитку, уральская железная руда — в Кузбасс. Однако Урал постепенно утрачивал свое «монопольное» значение. Его запасов едва хватало для местных заводов. Настала очередь Сибири.

XXI съезд КПСС наметил создать здесь третью металлургическую базу.

За последние несколько лет на Ан-

гаре, Лене, Оби, Енисее открыты десятки мощных месторождений. Сибирь оказалась крупнейшей в стране кладовой рудного сырья. В одной только Хакасии предполагаемые запасы железняка исчисляются в сотни миллионов тонн. Почти все они сосредоточены в недрах Восточно-Саянского хребта. Там развернулось большое строительство рудных предприятий. А Абазинский рудник — древний, давно забытый и недавно возрожденный — уже вступил в эксплуатацию. Это — индустриальный первенец обновленной Хакасии. В нем, как в капле воды, отражена судьба Сибири, ее прошлое, ее большое будущее.

\* \* \*

Молодая Абаза — это типовой рабочий поселок, такой же, как сотни других, выросших в разных уголках страны.

Я иду одной из улиц с приземистым пареньком. Он деловито объясняет:

— За углом, где стрела экскаватора, там у нас строится дворец культуры. Будет где отдохнуть, провести время. А улица, где мы идем, называется Абаканским проспектом... — Паренек споткнулся и, перемахнув широкую рытвину, остановился: — Дорога-то, конечно, не ахти... Но ведь не сразу же все...

Фыркая, прополз бульдозер. Плеснулась песня из проемов здания. Над крышей по-лебединому выгнул шею кран.

Мой спутник, помолчав, сказал:

— Я сюда по оргнабору приехал. Тут много нас таких... Ехал, по правде сказать, без особого воодушевления: глушь, скука. Долго задерживаться здесь я не думал. А вот обжился. Большое дело, оно всегда завлекает.

Паренька окликнули. Он торопливо протиснулся. И уже издали донеслось:

— Товарищ корреспондент! Ежели куда подбросить, всегда поблажуйста. Заходите в автопарк...

\* \* \*

Самуила Салова я встретил возле рудоуправления. Мы сразу узнали друг друга.

Здороваясь, он сморщился в старческой улыбке, взмахнул зажатым в кулаке плотничьим угольником: — Видел Абазу? Это, брат, не просто. Второе рождение!

И уловив мой взгляд, сказал, поглажив угольник темными, негнушимися пальцами:

— Я, брат, плотничаю помаленьку. Такое время — разве усидишь! У нас многие старики теперь трудятся. Кто-где: кто в столярке, кто в кузне. Такое время.

Салов стоял на фоне железнодорожной насыпи. Бойко покрикивал маневровый паровоз. Ватные клочки клубились над красными полувагонами с надписью «Абакан-руда». Через Саяны в домы Сталинска идет по новой магистрали абазинский железняк!

...Из-за тесовых стропил ударил первый луч. Он обрызгал искрами снежок, подпалил оконные стекла. И сразу три тысячи солнц ослепительно встали над аккуратными кварталами...

## ГЕОЛОГ САВИЦКИЙ ВСПОМИНАЕТ

Геологический отдел — штаб рудодобычного предприятия. Здесь вычисляется мощность и глубина залегания рудного тела, составляются геологические карты, планируется фронт работ.

Здесь распоряжается Георгий Евгеньевич Савицкий — коренастый, заметно полнеющий, обремененный хлопотами.

Небольшое помещение до отказа наполнено табачным дымом, голосами, шелестом бумаг. То и дело сюда заходят геологи, бригады, мастера. Они обращаются к начальнику за разъяснениями и советами. Я приглядываюсь к Савицкому: он немногословен, суховат.

— Что сказать о руднике? — отложил он линейку.— Рудник еще молод, но уже и сейчас выдает в год больше, чем вся Италия или Югославия. Вот когда мы укрепнем, добыча пойдет до трех миллионов тонн концентрата.

Он произнес это привычной скороговоркой и, видя, что я не собираюсь уходить, нетерпеливо двинул бровью.

— Это, так сказать, основные сведения...

— Понимаете ли,— возразил я,— сведения важные, спору нет. Но мне хотелось бы не этого.. Вот вы геолог, проработали в железорудной промышленности, как я слышал, четверть века. И, вероятно, мыслей накопилось немало. О руде, о значении Абазы...

— Ага! — он кивнул и нахмурился.— Это сложнее. Да и не знаю, будет ли вам интересно.

Савицкий достал из ящика стола и подкинул на ладони остроугольный, рябовато-матовый осколок. Он был со спичечную коробку, но заметно оттягивал ладонь.

— Неказистая вроде бы штука,— усмехнулся геолог,— ни игры в нем, ни благородства. И название-то: «магнетит». Мудрено и скучно. А знаете, какая этому камушку цена?

Он положил образец на стол, без ступа, с деликатной осторожностью. Вооружился очками.

Вот ведь как неожиданно раскрываются люди; всего минуту назад сидел перед мной начальник, исполненный официальной сдержанности. Но разговорились, и человек сразу потеплел. По лицу его, серому от усталости и двухдневной щетины, скользнула неясный отблеск вдохновения:

— Магнетит! Великолепное рудное сырье! Какие катаклизмы сморщили, вздыбив кору, и выплеснули почти на са-

мую поверхность мощные залежи железняка?.. Десятками миллионов тонн исчисляются окрестные запасы.

Савицкий повернулся к окну. Там — уголок старой Абазы. Приземистые очертания изб, поклоны колодезных журавлей, комариный голос гармоники.

Вглядываясь в вечернюю перспективу поселка, геолог сказал:

— Недавно на берегу местной речушки я обнаружил странные кузнечные изделия. Судя по всему, они относятся к двенадцатому-тринадцатому векам. Вот, оказывается, когда еще знали люди об этой залежи!

Один из первых ударов Чингисхана приняли на себя Алтай и Хакассия. Может быть, они служили ему кузницей, поставляли оружие и утварь. А скорее всего, здесь ковались мечи против завоевателя.

...Давно затихли коридоры рудоправления. Стемнело. А мы все беседуем, вернее, говорит Савицкий, а я вслушиваюсь в глуховатый, вздрагивающий голос. Он раздвигает тесные границы кабинета, и кажется, будто за окном не сонные огни поселка, а буйные языческие костры...

Представьте стылое небо 1213 года. Горы, нависшие над речной долиной. А в низине — огонь и дьявольский грохот первой кочевой кузницы. Таково было начало. И с тех пор открытое месторождение постоянно привлекало к себе внимание. В конце прошлого века купец Кольчугин основал Абаканский железодельный завод, (отсюда — название Абаза). Ухнул все состояние. Однако дела шли убыточно, и, разорившись, купчина покончил самоубийством. Причины? Примитивная технология, отсутствие транспорта. А ведь не зря говорится: «Металлургия — это транспорт». Нужна была железная дорога, и вот она пришла в Саяны...

На мгновение геолог умолк. Стала слышна ночь. Протяжно высвистнул локомотив. Коротко ударила очередь электросварки.

— Вы сказали: много мыслей накопилось. Конечно. В этом деле — вся моя жизнь,— продолжал Георгий Евгеньевич.

Лица Савицкого не было видно — мы не зажигали огонь,— но в голосе его угадывалась улыбка.

— Я кроме всего прочего изучаю геологическую историю Абазы. Пишу, знаете ли... Прошлое помогает правильно осмысливать настоящее и перспективы. По существу история нашего рудника — наглядная иллюстрация того, как воплощаются в жизнь давние чаяния и мечты людей. В течение семи веков пробовали люди приложить руки к богатейшему месторождению... А теперь... Смотрите, что сказано в семилетнем плане. Будущее за таким рудником, как наш!

Отбросила и ступила тени по углам настольная лампа. Обозначился краешек пельменицы, большие руки геолога.

Савицкий хрустит страницами подшивки. Он обнимает развернутую газету, беззвучно шевелит губами, отыскивая нужное место.

— Вот! — И твердо очеркивает ногтем абзац: — «Предусматривается освоение новых железорудных месторождений, главным образом, с открытыми горными работами...» Заметьте, главным образом с открытыми работами! Стране нужна наиболее экономичное сырье. Железная руда — хлеб тяжелой индустрии. А открытая добыча вдвое дешевле подземной. Вот в чем дело. И уж если говорить о проблемах черной металлургии на юге Сибири, то, пожалуй, основная ее база здесь. С расширением производственных мощностей Кузнецкого комбината возросло количество привозного сырья. Естественно, повысились транспортные расходы. Поэтому то особое значение приобретает сейчас Абаза — ближайший к Кузбассу и самый крупный в южной Сибири железорудный бассейн. Бассейн открытых руд. Только черпай! Слышали частушку о «центре притяжения»? По-моему, очень верно сказано. — Георгий Евгеньевич глянул, словно невзначай, на ручные часы: — Видите, какая сочная биография у этого камушка! Можно сказать, от средневековья до... кстати, кое-что из раскопок у меня в столе. Приносил показывать ребятам...

И вот передо мной — загадочные древние предметы. Они обросли чешуйками окаменевшей окиси, пахнут влажной землей и напоминают то ли наконечники стрел, то ли шишаки боевых шлемов.

А рядом белеет распахнутая подшивка центральной газеты с широким, во весь разворот заголовком:

«Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы».

Они как бы символизируют две вехи истории — эти раскопки и текст великого плана. Первая робкая попытка прикоснуться к рудным богатствам и — грандиозные перспективы освоения недр Востока, встающие за четкими строками.

Позабывтое прошлое и близкое будущее.

## РУДА И ЛЮДИ

Что такое открытая добыча? Я узнал это на следующий день.

...В горные ущелья солнце приходит с запозданием, примерно, часа на полтора. Далеко внизу уже во всю гомонит утро, а здесь еще сумеречно. Угловатые тени дрожат в расселинах. На заштрихованных редколесьем склонах пасутся серые облака.

Временами налетает ветер. Он заползает мурашками за воротник, хлещет по глазам. Мы стоим с Савицким неподдельно от раскомандировки, оглядывая простершуюся у ног выемку.

— Открытая добыча, кажется, что может быть проще! — размышляет геолог. — Вроде бы сама природа пришла на выручку. Однако и здесь ничего не дается само собой. И здесь каждый осколок руды, словно краюха крестьянского хлеба, добротню просолен горняцким потом... Видите, — он взмахивает рукой, — рудное тело простирается на север и постепенно уходит в глубь хребта. Какое богатство! И ведь об этом знали давно, а взять руду не могли. Ковырялись кой-где, помаленьку, вручную. Серьезные дела начались только теперь.

Карьер наискось срезал верхушку горы. Он лежал амфитеатром, напоминая гигантский Колизей. Сходство дополняли террасообразные уступы «горизонтов». Их было семь. И на каждом суетились люди, взывали тупорылые самосвалы, ворохались экскаваторы.

Высота каждого уступа — двенадцать метров, ширина — десять. Вскрышные работы ведутся по всему фронту — около километра. Глубина добычи двести двадцать два погонных метра.

\* \* \*

— Начнем по порядку, — сказал Савицкий. — Прежде всего познакомьтесь с подготовительной сменой...

Первыми выступают в действие буровики, молчаливые люди в брезентовых латах и высоких галошах. В галошах потому, что пыль при бурении постоянно смачивается водой. К молчанию приучил их оглушительный ритм станков. Они протянулись на краю уступа ровным строем, как солдаты на плацу. Стучат тяжело и мерно.

Возле левоблангового толпились люди. Сухощавый юноша в щегольской тулупе что-то доказывал техноруку карьера, жестикулируя и горячась.

Разговор шел о предстоящем массовом взрыве, когда зарядятся одновременно несколько скважин. Он назначен на четыре, а до сих пор еще не закончено бурение двух последних скважин.

— Ребята стараются, спешат, — возбужденно говорил юноша. — Если бы с обсадными трубами не было задержки, сейчас бы уже добуривали. Вы же знаете, как обстоит дело с деталями... Но все равно, к сроку поспеем.

— Рекомендую! — сказал Савицкий, положив руку на плечо юноше, — Борис Салов. Комсомолец. Потомок старинных уральских металлургов. Вы, верно, слышали о его деду — Самуиле Салове?! Вот вам преемственность поколений...

Я вглядывался в юношу и узнавал в нем черты его деда — первого предреволюционного Абазы. Та же характерная, мягкая линия рта, худое лицо, нос с горбинкой.

Среди сибирских горняков нередко можно встретить династии. И теперь, беседа с молодым Саловым, я старался представить себе, как выглядел его дед,

когда впервые, на заре столетия пришел в железорудный карьер... Наверно, не задумываясь, избрал он себе эту суровую специальность и, наверное, потомки молодого Салова, подчиняясь наследственной любви к горняцкому ремеслу, будут встречать рассветы под снежный шорох и гул буровых снарядов.

— Ведь что получилось, — вспоминает Борис. — Когда я заканчивал красноярский машиностроительный техникум, об Абазе и думать не хотелось. На другие рудники собирался ехать. Ведь тут заступление было. Но вот развернулось строительство и потянуло в родные места. Магнетит притягивает... И какие масштабы! Только у меня, на подготовительном участке двадцать четыре станка канатного ударного бурения. Наш участок, где я механиком, объединяет все буровые и взрывные работы. Это очень важная фаза добычи. От качества бурения зависит результат массового взрыва. Конечно, самое главное здесь — безупречное состояние механизмов. Так что работы механику хватает...

Станок долбит скалу упорно и сокрушительно. И вот — готова последняя, тринадцатиметровая скважина. И уже, обхватив пакеты со взрывчаткой, неторопливо движутся взрывники.

\* \* \*

Савицкий озабочен. То и дело взглядывает на часы. Уже четыре, а подготовка к взрыву еще не закончена.

— Снабжение нас подводит, — качает он головой. — Кажется, пустык — обсадные трубы, а из-за них задержка. На каждом шагу со снабжением перебои... И все потому, что нет настоящего хозяина.

Он досадливо машет рукой и уходит. Его куртка мелькает среди ватников и брезентовых роб. Взрывники разносят последние порции взрывчатки. Наконец, приготовления закончены. Возле каждой скважины лежит большой пакет с порошком, желтым и мягким, как сухой омлет. Сейчас этим «омлетом» начнут скважины и...

— Товарищ, здесь нельзя! Запретная зона! — говорит мне человек с красной повязкой на руке. У него рыжеватые, коротко подстриженные усы, воспаленные от ветра веки.

— Хождение запрещено! — строго повторяет он. — Идите вот туда, за пределы запретной зоны. Быстрой!..

Он поправляет на боку брезентовую сумку, напоминающую патронташ.

Затихают и пустеют забои. Ударяет предупредительный взрыв.

Атмосфера боевого напряжения охватывает карьер. Сдвинув брови, Савицкий жует мундштук. Прищурясь, стоит технорук, возле раскомандировки молча сгрудились рабочие.

В ожидании взрыва всегда есть момент звенящей на предельно высокой струне тишины. И всегда взрыв сопро-

вождается странным ощущением неожиданности. Буро-чернильное облако поднимается над вершущей хребта. Облако встает медленно, будто нехотя. Оно походит на человека, спросонья расправляющего плечи...

И тогда раскалывается воздух. Вздрагивают сосенки на склоне. Слобно заслоняясь от ослепительного раската, скрывается солнце за набежавшим облаком.

Рудное тело обнажено. Теперь в строй вступает первый участок — погрулочные и транспортные механизмы.

\* \* \*

Человек с брезентовой сумкой на боку повстречался мне еще раз. Он появился со стальным ломиком на высоком откосе, образованном взрывом. Постоял с минуту, глядя вниз. Махнул кому-то рукой и, держа за прикрепленный к поясу канат, начал осторожно спускаться.

Он спускался как альпинист, упираясь ногами в отвесный склон и балансируя ломиком. Было отчетливо видно его лицо с искорками пота на усах. Вот он повис над угловатой, коричневой глыбой. Потрогал ее носком сапога и смаху подцепил ломом. Качнувшись, глыба ухнула в забой.

Человек утер лицо брезентовой поллой спецовки и подал сигнал: «Поднимай!»

Своеобразна профессия скалолаза. Она проста, но романтична, так, во всяком случае, считает Алексей Николаевич Пчелинцев.

Он сидит на слипшейся от холода груде щебенки, отдыхает, вертит «козью ножку».

— Был я солдатом, — рассказывает он. — После демобилизации задумался: куда податься. К чему приложить руки? Узнал про абазинскую стройку. Приехал. Осмотрелся. И вот нашел свое место...

В карьере семь скалолазов. Наша обязанность следить за безопасностью работы в забоях, очищать — ополаживать — борта уступов от зависших глыб. Скальные породы капризны. Бывает, как сейчас, на бортах после отпалки остаются крупные осколки. А бывает по-иному. Кажется, все в порядке, откос чистый, людям вроде бы ничего не грозит, а в действительности руда еще не отошла...

\* \* \*

Так и случилось на семьсот восемьдесят шестом горизонте.

В забое рокотал вхолостую экскаватор. Высунувшись из окошка кабины, машинист глядел вверх, куда-то на край откоса, его красивое, измазанное мазутом лицо выражало нетерпение и настороженность.

— Ты чего, Димитриев? — окликнул подоспевший технорук, — неисправность какая?



— Борт не нравится, вот что...

— Это кто,— тот самый Димитриев, ваш депутат? — спросил я технорука.

— Тот самый...

Давно я хотел познакомиться с этим человеком. Его имя называли на руднике довольно часто. Во время беседы с индивидуальными застройщиками я узнал, что Димитриев помог им приобрести строительные материалы. В рудничной столовой благодаря его настойчивости улучшили питание.

Димитриев нервничал, постукивал кулаком по клепаной обшивке кабины.

— Плохо отходит руда. Слышите?..

Сверху донизу по всему борту забоя лучились черные трещины. Они ширились с сухим нарастающим шорохом.

— Придется отгонять машину,— сказал технорук.

Машинист кивнул головой.

Экскаватор, взревев, попятился. Поверхность тридцатистеаметрового откоса начала двигаться. Понеслись каменные ручьи. И вдруг с тяжелым гулом руда осела к подножью забоя. Взлетела снежная пыль. Солнечный луч пронзил ее, отражаясь в каждом кристалле. Над забоем расцвела холодная радуга, и под ней, как под аркой, прошел экскаватор. Он развернулся, нацелился в грудю осколков. На лоснящемся боку засветились выпуклые буквы: «УЗТМ» — Уральский завод тяжелого машиностроения.

...Я люблю смотреть, как работает экскаватор. Он давно уже стал неотъемлемой частью сибирского пейзажа. Всюду по великим просторам движутся эти мощные машины. Они вздымают хоботы над лесными завалами, прокладывают дороги, меняют русла рек, добывают полезные ископаемые. И кто знает, быть может, в музеях грядущего экскаватор станет среди атомных реакторов и межконтинентальных ракет в ряду экспонатов, символизирующих нашу эпоху.

Мне нравится работа экскаватора. В угольных разрезах он аккуратно снимает ломкие пласты, срезает их словно черные ломти хлеба. На стройплощадках и трассах экскаватор нетерпелив и размашист: грунт мягок. Властно вгрызается он в землю, черпает ее полными пригоршнями и лихо сбрасывает в отвалы.

В железорудных карьерах он ведет себя иначе. Руда тверда, глыбы увесисты. Их не возьмешь смаху. Здесь необходима напористость и в то же время осторожность. Вот экскаватор развернулся, нацелился в грудю осколков. Захватывая пастью руду, он содрогается от напряжения. Талый снежок стекает по стеклянному лбу кабины, напоминая капли пота. В кабине душно, пахнет нагретым металлом. И самые настоящие капли пота — темные и большие — катятся по щекам машиниста. Утирать лицо некогда. Руки заняты, они — на вздрагивающих рычагах напора и подъема.

Иногда шофер слишком близко подгонял самосвал. Тогда Димитриев мрач-

нел. Гладко выбритое, мягкое лицо его становилось угловатым, пульсирующая жилка перечеркивала висок.

— Ты что, машину угробить хочешь? — кричал он. — Ведь три кубометра! По кабине ударит, блин получится... Сдай назад!

Со звоном и шелестом падает в кузов руда. Два разворота — и самосвал нагружен. И снова плывет над забоем ковш. И оседают, крелясь, вместительные кузова.

\* \* \*

— Эй, о чем замечтался? Гляди, задают невзначай!..

У кабины самосвала улыбается во весь рот паренек, тот самый, что в первый день приезда показывал мне новый поселок.

Он достает пачку «Прибоя», натренованно щелкает по ней. Выскакивают две папиросы, и паренек делает шикарный жест: «Прошу!»

Огромная машина нагружена и ждет хозяина. Ее бьет мелкая нетерпеливая дрожь.

— Едем, что ли! — приглашает он, открывая дверь. — Обогагательную фабрику посмотришь... Ну, и потолкуем заодно...

В пути мы говорим о шоферском ремесле, о сибирских стройках, о новых книгах.

— Книги писать — труд большой. Потяжельше, пожалуй, нашего, — сказал он уважительно. — Хотя, конечно, шоферское дело тоже... — Он глянул в зеркальце над смотровым стеклом и подмигнул своему отражению — Талант здесь, будь уверен, тоже нужен!

Водитель заметно напряжен. Он разговаривает, не отрывая взгляда от дороги. Полотно отполировано морозцем. По центру его скользят предзакатные блики, и дорога кажется выпуклой.

Левое бортовое стекло приспущено, и ветер хозяйничает в кабине. Я поднимаю воротник. Шофер смеется:

— Хорошо!

Он жмурится, подставляя под вихрь, как под струю брандспойта, горячее, широкоскулое лицо.

Внезапно ахнул, яростно завертел баранку. Под буксующими шинами зашипел снежок. Из-за поворота вырвался порожний самосвал, глухо взвыл, обдав нас едкой синеватой гарью.

— Вот черт! — шофер шумно вздохнул. — На этом повороте всегда буксует. А тут еще резина никуда не годится.

— Ну что? — спросил я. — Застрали?

— Как будто...

Шофер спрыгнул на дорогу, повозился около переднего колеса.

— Так и есть, баллон спустил, — признался он, распрямляя усталую спину. И с неожиданной злостью выкрикнул, повернувшись к карьере: — Вон, видишь, люди работают, как черти. А что выходит?

Я сейчас отгону машину в гараж, она простоит неделю. Знаешь, сколько у нас разутых самосвалов! Нет цепей, не хватает резины. А ведь добыча руды все равно, что конвейер. Будет простаивать транспорт, снизят производительность экскаваторы. А все потому, что нет настоящего хозяина...

Дважды за день я услышал эту фразу. И, примерно, в той же интонации.

— Как нет хозяина? — удивился я. — А Красноярский совнархоз? Ведь он — ваш хозяин...

— Да какой с него спрос, — усмехнулся шофер — Мы у него в бедных родственниках ходим... Сам посуди, рудой обеспечиваем Кермеровский совнархоз, а подчиняемся Красноярскому. И только потому, что расположены на его территории. Тот не может снабжать, а этот — не хочет. Вот такая волянка и тянется...

Он резко сдвинул шапку на затылок, вздохнул.

Мы стояли возле накренившейся машины, как раз на полпути между карьером и фабрикой. За поворотом курился карьер. Отсюда были видны северное крыло выемки, уступ горизонта, пасть одинокого экскаватора.

И, наверное, каждый из нас по-своему думал о междуведомственной неразберихе. О трудностях, закаляющих и воспитывающих людей, и о трудностях, порожденных бесхозяйственностью, вдвойне мешающих работе.

Большое и сложное дело — открытая добыча! Прав водитель, сравнивая рудник с конвейером. Это действительно гигантский конвейер. Здесь каждая фаза работ взаимно связана, обуславливает одна другую. И если срывается снабжение на одном участке, это сказывается на всех других.

— Ну, будем двигаться! — Шофер протер рукавом смотровое стекло, включил газ. — Доползем как-нибудь. Держись!

Стуча от натуги, самосвал выполз на середину дороги и пошел под уклон. Плотные тени кинулись под колеса, зарыблили гранитные откосы.

Пять петель делает дорога и упирается в приемные бункера дробильно-обогатительной фабрики. Здесь самосвалы разворачиваются, сбрасывают в бункера руду; теперь ей предстоит пройти сложный путь переработки.

— А все-таки хорошо! — сказал мой новый приятель, оглядывая фабричные корпуса. — Хорошо все это! Живем и работаем с размахом! Я с детства, как и все, наверное, мечтал о подвигах. Не думал, что это будет Сибирь... Трудности у нас здесь и неполадки, но ведь новое дело гладко не начинается.

Сейчас он необычно задумчив, мечтателен. Мягкая складочка в углу рта, влажная прядь стекает на бровь.

— Когда я думаю о своей судьбе, обо всех нас, мне представляется половодье, — продолжал шофер. — Знаете, как

весной: ручьи сливаются, потоки растут и нет им конца-края. Когда мы приехали сюда, здесь рязанские комсомольцы фабрику строили. А теперь вслед за нами уже новые тысячи движутся. И на нашу и на другие стройки. И Сибирь меняется, и вместе с ней люди. Каждый на руднике приобрел профессию, нашел свое дело, выдержал свой экзамен.

## ТРУДНЫЙ ЭКЗАМЕН

В семилетнем плане сказано:

«...Предусматривается... строительство мощных горнообогатительных комбинатов...»

Добыть железняк — полдела. Руду еще нужно очистить, обогатить, приготовить из нее концентрат, которым питаются металлургические предприятия.

...Я стою перед корпусом крупного дробления и трогаю бетонную стену. Она высится — зеленоватая и холодная, как айсберг. Много рук знал этот бетон. Здесь на Абаканской ДОФ — дробильно-обогатительной фабрике — этой первой ступеньке к индустриальному расцвету Хакассии, учились жить и трудиться рязанские комсомольцы.

\* \* \*

Кажется давно это было, когда через всю Россию шел молодежный эшелон.

Ветер трубил над полустанками и мостами. Все дальше, на Восток, опережая время, мчался поезд. Шестнадцать подруг из рязанского понизовья — выпускницы Скопинского технического училища — жили, мечтали, гадали, как сложатся их судьбы, спорили о преимуществе строительных профессий.

Тогда же они решили организовать бригаду каменщиц во главе с решительной и прямой в суждениях Прасковьей Калининой.

В соседнем вагоне вели разговор четверо друзей — инструктор райкома комсомола Анатолий Кондратьев, заведующая сельским клубом Галя Макарова и молодые строители — супруги Василий и Эмма Монаховы, повстречавшиеся на Сталинградской ГЭС.

— Нелегко там было, — говорил Монахов. — Казалось, никогда не привыкнем. А потом и уезжать не хотелось... Верно, Эмма?

— Верно, — улыбнулась она.

— Так оно всегда бывает, лиха беда начало, — отозвалась Галя, примостившаяся в уголке возле Анатолия. Неторопливо, словно размышляя вслух, она сказала: — А культурник, инструктор райкома, разве это специальность? Это скорее свойства характера. Общественниками, активистами мы все должны быть в душе. А вот настоящую специальность, конечно, нужно приобретать.

Тонкие пальцы девушки скользнули по стеганому рукаву Анатолия и доверчиво улеглись на его ладони.

— Ручки-то мягонькие у нас, интеллигентные, — усмехнулся он, — а Сибирь — страна суровая. Ей крепкие руки нужны.

Притихнув, смотрели в окно. Там кружились целинные массивы, прозрачно-лиловые хребты. Стояла та особая пора, когда холмы и распадки захлестнуты буйным разноцветьем, изобилием и зноем истомлена земля, но уже по каким-то едва уловимым приметам угадывается близкая осень. С каждым перегоном она становилась ощутимее. Журавлиными трубами грянуло за Уралом бабье лето.

Веселый Витька Краснов сказал на первой хакасской станции:

— Осень-то, братцы, не за горами! Не мешало бы по этому случаю тяпнуть маленько.

Девушки возмущенно зашумели. Пошел Анатолий:

— Ты это кончай, Витька. Опять навторишь чего-нибудь. Лучше поберег бы подъемные, на хлеб пригодятся...

— Ну, на хлеб как-нибудь достанем: небось не на курорт, на работу едем, — отмахнулся Виктор. И, сощурив глаза, сказал: — А ты, между прочим, не учи! Наслушался я ваших докладов и всяких там нотаций. В Абазе еще посмотрим, кто кого учить будет...

Похрустывая бумажками, Краснов направился к буфету, напевая:

Постой-ка, Боб, поговорим короче,  
как подобает старым морякам...

Долгожданная Абаза встретила молодежь гористыми ландшафтами, напоминающими окаменевшее море, зеленоватостеклянными рассветами, холодной скупостью красок.

Дел сразу оказалось немало. Нужно было расчищать в горах площадку для предприятый будущего комбината, рыть фундаменты под фабричные корпуса, строить дома.

Друзья разделились. Анатолий, долго раздумывая, ушел учеником в плотницкую бригаду. Василий Монахов как опытный строитель был назначен на монтажные работы. Гале предложили работу по специальности — массовиком в горняцком клубе, но она наотрез отказалась и устроилась разнорабочей на растворном узле вместе со своей подругой Эммой. Молодые каменщицы проходили обучение на строительном участке, расположенном у голого скалистого подножия, там, где пока прокладывали дорогу.

И если уж вспоминать об истории стройки — то вот как выглядят её частички...

\* \* \*

«Морозище отчаянный такой, что девочки боятся поотморозить носы. А мы все равно требуем, чтобы нас послали на земляные работы. Там сейчас всего нуж-

нее. Вот проведем дорогу, заложим фундамент и тогда начнем учиться на каменщиков».

«Сегодня с утра делали дорогу. Она обледенела и подводит шоферов. Морозная земля поддается с трудом. А инструмент, как на грех, тяжелый, неуклюжий... Или мы сами еще неуклюжие...»

«Сегодня — две неприятности. Обморозила палец на левой руке. Катюша потеряла варежку, отдала ей свою. Как-никак, я ведь бригадир, ответственность за все — на мне.

А потом выдержала бой с мастером. Не хочет оформлять наряды, как полагаются! Первые дни завывал как слабосильным, а теперь хочет выводить всем по средней... Между прочим, такая уравниловка есть и на других участках. Придется ставить вопрос перед руководством «Абаканрудстрой»...

Наконец-то начали возводить корпус крупного дробления! Никогда не думала, что кирпичная кладка такое сложное искусство! Уже месяц работаем, а все еще не научились как следует пользоваться отвесом и выводить карнизы. Трудно... И руки болят. Но все равно, от своего не отступим. Решили быть каменщиками, и будем! На погоду уже никто не жалуется. Чувствуем себя так, будто мы со дня рождения — сибиряки».

Это — записи из дневника бригадира Паши Калининой, которые она дала мне почитать. Снегами, метельными ветрами, гарью костров пахли потерянные страницы.

Шло время. Накапливался опыт. Комсомолыцы трудились, не жалели сил. До позднего вечера не утихала жизнь на стройплощадке.

Рабочим растворного узла доставалось, пожалуй, больше, чем другим, — ведь нужно было своевременно обеспечить раствором все участки.

Галя виделась с Анатолием урывками. Иногда, в короткие минуты обеденного перерыва, он прикатывал на попутном самосвале. Пристроившись возле бетономешалки, жевали сухие бугерbroды, торопливо рассказывая друг другу о своих заботах.

За стенами растворного узла грохотала стройка. Шуршал в щелях ветер, сея колкуня крупу. Анатолий грел в своих ладонях Галины пальцы...

— Вот у тебя уже и мозоли, как у заправского плотника, — сказала Галя. — Помнишь, в дороге гадали, как нас встретит Сибирь. А ведь ничего получается, правда?

— Что же мы хуже других? Да и какие трудности могут быть страшны? Нам, вдвоем...

Он осторожно притронулся к ее плечу. И вдруг отдернул руку.

— Воркуете?..

В дверях, похихатывая и хитро жмурясь, стоял Краснов.

— А я прораба иду. Иду мимо, дай, думаю, взгляну... А тут вон что. Думаете, никто не догадывается?

— Ну, это не твоё дело, — нахмурился Анатолий. — Зачем тебе прораб?

— Да так, отпроситься хотел... Голова болит, грипп наверное. Ну пока, влюбленные...

Краснов подмигнул и исчез.

Дружба молодых новоселов и в самом деле ни для кого не была тайной. К весне Галина Макарова стала Галиной Кондратьевой. Справляли разом свадьбу и новоселье. Торжество было скромным.

\* \* \*

С некоторых пор Анатолий стал приходить домой помрачневший, задумчивый. Отмалчивался, когда его выпрашивала Галина... Но однажды сказал:

— Дезертиры завелись среди нас... Ты представить себе не можешь, что было сегодня на бюро!

Вскоре после приезда в Абазу у Виктора Краснова испортилось настроение. Как и предсказывал Анатолий, деньги быстро растаяли. Нужно было выходить на работу и трудиться с девяти до шести.

Теперь он больше всего интересовался расписанием авиамаршрутов. Все чаще, сказавшись больным, оставался по утрам в общежитии, тускло поглядывая на ребят и сквозь зубы напевал:

Здесь, под небом чужим,  
я как гость нежеланный...

— У Витьки новый репертуар! — шутили комсомольцы, уходя на стройку. Чего о нем, о лоботрясе, думать! Уговаривать? Бесполезно.

И вот он стоит, засунув кулаки в карманы потрёпанных ватных штанов, нагло и настороженно оглядывает собравшихся...

— Комсомол? Что он меня кормит, поит?..

Краснова вызвали на бюро: он избил девушку, сорвал стенгазету, в которой увидел хлесткую карикатуру на себя. Собирается дезертировать.

— Кто сказал, что я хочу дезертировать? Просто я ужою, потому что меня не устраивает климат...

И он уходит. И в дверях оборачивается:

— Тоже мне благодетели! Не нуждаюсь...

Алая книжечка, трепеща, порхнула в воздухе и упала на стол секретаря.

— Вот ведь каков мерзавец! — говорил Анатолий жене. — Действительно, люди проверяются в испытаниях. Но и мы хороши! Парень опускался, можно сказать, у всех на глазах, и никому до этого не было дела...

И снова в сборе четверо друзей.

— На отшибе живем! Замкнулись каждый в своем мирке. — Анатолий расхаживал, ероша волосы, роняя пепел на выскобленный добела пол.

— Черт знает, как это получилось, — развел руками Монахов. — Действительно, каждый — сам по себе... Взять хотя бы наших каменщиц! Все у них в порядке, работают хорошо. А вот заглянуть в со-

седние бригады, посоветовать, помочь — этого нет и в помине... А ведь, ребята, мы же комсомольцы! Мы отвечаем не только за судьбу стройки, но и за людей. Верно?

— Верно-то верно, но что же можно сделать?

— Как что? А разве мы не коллектив? Создадим бригаду, такую, чтоб все было по-коммунистически. Я в комитете об этом поговорю.

— Можно мне? — Галя по-ученически вскинула руку. — Предлагаю включиться в работу культмассового сектора. Мы с Эммой займемся самодеятельностью...

— Ну а мы, — подхватил Василий, — кроме всего прочего, возьмем на себя спортивную работу и будем тормозить комендантов, чтобы не держали на замке красные уголки.

— Будем скручивать им шеи! — Анатолий выдержал паузу и добавил, смеясь: — Не комендантам, конечно, а ржавым замкам на красных уголках.

С этого дня, переодевшись и наскоро закусив после работы, друзья уходили в молодежные общежития, организовывали самодеятельность. Вот где пригодились Гале опыт массовика! Нередко теперь засиживалась она допоздна над конспектами и планами.

Клубились тени в углах комнаты. Одинокая звезда стояла в окошке. Далеко сонно покрикивали локомотивы. А она все читала и делала выписки в тетрадь.

\* \* \*

Бежало время. Все выше поднимались фабричные здания. Потом их наполнили голоса и грохот железа. И наконец, зашестела на транспортерах абаканская руда.

Молодые строители вправе гордиться делом своих рук. Многие из них навсегда полюбили свою специальность и теперь строят новые мощные горнообогатительные комбинаты. По соседству с Абазой закладываются два еще более крупных рудообогатительных предприятия — Анзасский и Тейский — с миллиардным капиталовложением.

И это только в одном географическом крошечном уголке Хакассии! Можно представить, что произойдет за семилетку во всей Сибири. Особенно, если учесть, что из тринадцати с половиной миллиардов тонн перспективных запасов руды в Сибири используется пока что не более трех.

Промышленная эксплуатация недр восточных районов — одна из важнейших задач великой семилетки.

Оно уже приблизилось, это будущее. Его можно даже потрогать рукой.

## ТАК ГОТОВЯТ КОНЦЕНТРАТ

Дробильно-обогащительный процесс в сущности начинается уже в приемных

бункерах. Ведь самосвалы не просто сваливают сюда руду. Тут происходит определенная дозировка. Например, в забое одного экскаваторщика руда содержит сорок восемь процентов железа, а в забое другого — лишь двадцать семь. По техническим условиям содержание железа должно быть не ниже тридцати процентов. Поэтому машины, доставляющие руду из забоев, сгружают ее в бункера, строго чередуясь.

Старший контролер ОТК Алексей Копылов розовощек и белобрыс. Кристаллическая пыль мерцает на его ресницах, на капюшоне брезентового плаща.

Под нами грохочут бункера, необъятные, прожорливые. Густые ряды чугунных брусьев, подвешенных в глубине, придают бункерам сходство с пастью кита...

Поминутно прибывают самосвалы. Отсюда хорошо видно чрево бункера. Осколки вышибают из предохранительных брусьев короткий звон и голубую искру.

— Крепка руда. Одно слово — железная! — говорит Копылов. — Вот такими увесистыми и крепкими должны быть и слова. В поэзии особенно... — Он искоса глянул на меня: — Вы, верно, думаете, что мы здесь кроме своей работы ничем не интересуемся... У нас многие увлекаются литературой. Я вот стихи писать пробую. Кое-что даже в районной газете печатали...

— Лешка у нас заправский поэт! — заметил подошедший к нам рабочий и подтолкнул Копылова локтем. — Его частушки кругом поют...

— А не ваша ли это частушка о руде? — я припомнил услышанные на аэродроме строки: «Стал магнетит хакасский...»

— Центром притяжения сердец. Да. Моя. — Копылов кивнул головой и сощурился: — А что? Разве не верно? Действительно, стал центром. Дыхание времени... — И, неторопливо спускаясь по отвесной лесенке, сказал: — Руда это тема большая. Это тебе и наука, и поэзия... Вот написать бы об этом так, как это есть в жизни. Со всем размахом, чтобы увидеть то, что принесут человеку все эти стройки. И каким будет сам человек... Я ведь пишу как любитель. Силенок-то не хватает. Размах нужен. И слова особые. Тут ведь что ни возьми, все интересно: и история нашей руды, и весь ее путь от добычи до переработки... Кстати, о переработке. Сейчас увидите. Мне думается, об этом поэму сочинить можно.

Дробильно-обогащительная фабрика расположена на крутом склоне горы, вероятно этим и объясняется особый, «ступенчатый» характер архитектуры. Квадратные корпуса высятся один над другим и соединены галереями, по которым плывут нескончаемые ленты транспортеров. Из приемных бункеров руда поступает в цех крупного дробления. Там, в «щекоч-

вой» дробилке, происходит процесс первичного измельчения.

В этом огромном цехе людей почти не видно. Только у дробилок, полукружьями возвышающихся в центре зала, прохаживаются два машиниста.

Агрегаты работают автоматически, но машинисты неотрывно и строго следят за дробилками, за подачей сырья, равномерностью загрузки.

Весь этот процесс напоминает кормежку Гаргантюа... Вот питатель подносит свежую порцию. Сейчас же дробилка надувает щеки (она потому и называется «щечковая») и начинает с хрустом жевать объемистые куски, перемалывая их в тридцатисантиметровые куски. В следующем цехе производится более мелкое дробление.

После того как наиболее крупные осколки измельчены, сырье поступает в «конусные» дробилки. Оттуда руда выходит уже в виде щебенки — не более пятидесяти миллиметров в диаметре, и снова ложится на транспортер.

Тихо вздрагивает лента. Течение ее стремительно и в то же время почти не приметно для глаз. Так бывает, когда смотришь на большую реку.

Если вдруг транспортер замирает, на пульте управления возникают сигналы.

Пульт управления — мозг фабрики.

Машинист пульта Людмила Кайгородцева поминутно переключает рычажки, меняет телефонные трубки, переговариваясь с цехами.

Вот она получила сообщение о неисправности транспортера первой магнитной сепарации, и в ту же секунду передала по телефону распоряжение электрикам.

— Сколько лет вы у пульта?

— Что вы, каких лет? — смущается девушка. — Я здесь совсем недавно...

Кайгородцева прибыла сюда вместе с тремя подругами из Нижне-Тагильского техникума года полтора назад.

— Не легко, наверно, было осваиваться на новом месте?

Она пожимает плечами:

— Да нет, назначение получили быстро. Работа мне нравится. Интересно и ответственно. Ведь от машиниста пульта во многом зависит производительность предприятия.

Глянув в мой блокнот, она вдруг сказала:

— Я бесконфликтная! — И объяснила: — Вам сюжеты нужны, всяческие конфликты. Я уже беседовала несколько раз с газетчиками из области... А у меня все без приключений. Работа идет нормально, живу хорошо. Недавно замуж вышла...

Разговаривая, она продолжала щелкать рычажками и проверять в журнале записи. Глядя на нее, вспомнил я суровую пору строительства фабрики — стройплощадку на скалистом склоне, усталые лица, свирепые снега... Тогда конфликтов было хоть отбавляй.

Если добычу руды в карьере можно лишь сравнить с конвейером, то обогащение — самый настоящий конвейер.

Руда в постоянном движении, не знает покоя. Пройдя дробилки, она подвергается сепарации. И тоже — на ходу. Распределительная тележка с сырьем движется над бункерами. Их шесть, и под каждым — барабанный сепаратор, работающий на принципе магнитного поля. Вращаясь со скоростью тридцать оборотов в минуту, сепараторы притягивают железняк, и он остается в бункерах, а «пустая», не обладающая магнитными свойствами порода уходит дальше и сбрасывается в «хвосты».

Это первая стадия обогащения. Теперь руде предстоит пройти еще один такой же цикл. И только тогда превратится она в концентрат.

Концентрат взвешивается на автоматических весах. Под стеклом, как на счетчике такси, бегут никелированные цифры: сто... двести... двести пятьдесят...

## ПО НОВОЙ МАГИСТРАЛИ

На грузовой станции Абаза тишина. Потрескивают половицы. Стучат ходики. В углу над столом дремлет дюжий парень в обнимку с фонарем. Рядом с ним скрипит пером экспедитор.

Тишина. Но вот взрываются звонками телефоны. Ухают двери. И дежурный дергает спящего за рукав:

— Лешка, вставай! Состав на походе!..

Лешка уходит проверять сцепку вагонов. Экспедитор — круглолицая, с блестящим пряничным румянцем девушка — просматривает накладные. Она раскрывает журнал регистрации и пишет: «Руда магнетитовая. Весь груз 62 тонны».

Станция Абаза — граница рудничной территории. Дальше начинаются владения Красноярской дороги. Здесь руду, как эстафету, передают новой поездной бригаде.

Во время первой нашей беседы Георгий Евгеньевич Савицкий сказал: «Металлургия — это транспорт».

Велико значение Южсиба для черной металлургии Сибири. До постройки магистрали из Хакасии в Сталинск можно было попасть лишь кружным путем, через Ачинск, Новосибирск... Теперь же расстояние сократилось более чем на тысячу километров.

Линия Южсиба с востока на запад пересекает хакасские степи, прорезает хребты Кузнецкого Алатау и подходит к предместьям Сталинска — центра тяжелой индустрии Сибири. Сталинск — мо-

лодой советский город. А рядом — Старокузнецк, бывший острог...

Давным-давно в страну Темира пришли русские рудознатцы. Они основали первые кузнечные артели. На всю Русь и за ее пределами прославилась Кузнецкая земля. Тогда же в стороне от острога и вверх по Томи прошли изыскатели, открывающие залежи. Закладывались прииски, рудники. После революции по землепроходческим путям, связывая рудники с новорожденным металлургическим комбинатом, пролегли железнодорожные трассы, первые этапы великой магистрали. Партия решила: Южсиб должен объединить богатейшие рудные месторождения Хакасии, Алтая, Урала и Казахстана, способствовать дальнейшему расцвету их экономики... И вот, вспахивая прожектором тьму, уходит по новой магистрали тяжело нагруженный эшелон.

Перед отправлением состава я познакомился с машинистом Василием Ермачковым — приземистым и немногословным человеком. Узнав, что я собираюсь ехать вместе с ним, он молча пожал плечами, окинул взглядом мое пальто и светлую кепку:

— Ежели не боитесь замараться — кабина ведь не кабинет, — пожалуйста. Лишь бы начальство разрешило...

Василий Ермачков замер у окна кабины. Он вглядывается в ночь. Над ним рассыпаются искры, и кажется, огненная вьюга гудит за окном паровоза... На худом, скуластом лице машиниста четко выделились морщины. Пальцы стиснули тормозной рычаг.

Закружились и сгнули огни поселка. Мелькнула выхваченная из темноты белая стена барака...

К утру Восточные Саяны остались позади. Теперь путь руды лежит через Аскизскую степь к предгорьям Кузнецкого Алатау. Мелькают пропелшины солонцов, могильные курганы, надменные каменные бабы... вековечный азиатский колорит!

«Степь пуста и тиха...», — писал побывавший в дореволюционной Хакасии народник С. Елпатьевский. Тиха и мертва! Не так уж много времени прошло с тех пор... И вот огромную степь будит голос колес. Под мерный их ритм вспоминается частушка:

Нам новоселов шлет Калуга,  
Петропавловск и Елец.  
Стал магнетит хакасский центром  
притяжения сердец...

Такова она, Абаза, сегодня. Прощаясь с ней, я знаю, что еще не раз вернусь сюда. Ведь судьба моего поколения тесно связана с новой, индустриальной Сибирью.

Вл. Немцов

## ДОЛГ И СОВЕСТЬ

**К** каким нам хочется видеть человека будущего? Смелым, мужественным, полным душевной красоты, благородства, гуманных чувств.

Он покорил галактику, изумил мир невиданными чудесами. Он — совершенство, идеал, к которому нужно стремиться.

И в то же время человек будущего ходит по родной земле. Не в скафандре межпланетного путешественника, а в рабочем комбинезоне, рубашке, белом халате, в обыкновенном костюме с галстуком.

Он прилетел не с далекой планеты, он рожден на Земле и воспитан нашим советским обществом. Это человек-строитель, которого по мыслям, делам и поступкам, богатству души, великим свершениям и стремлениям можно считать достойным коммунистического завтра.

Я видел много таких людей, и все они отличаются настоящим хозяйским отношением к окружающему, не остаются равнодушными к тому, что встает на нашем пути, мешает идти вперед.

В этих заметках, не претендующих на глубокий анализ тех или иных явлений современности, я хотел бы коснуться некоторых вопросов, связанных с воспитанием человека будущего.

### ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ И ПО ТРУДУ!

Пока мы не подошли к изобилию благ земных, казалось бы нет особых оснований говорить о распределении национального дохода по-коммунистически. Люди получают по труду, существует материальная заинтересованность, и надо еще много сил положить, чтобы все получали по потребности.

Не будем торопить мечту, но если оглянуться по сторонам и посмотреть

глубже, то мы придем к выводам, что определенная часть государственного дохода уже теперь распределяется по-коммунистически. Посудите сами. Бесплатное обучение, медицинская помощь, ясли, детсады, пионерские лагеря, стипендии, бесплатные путевки в санатории и дома отдыха, пособия многодетным и одиноким матерям... Минимальная, в сравнении с капиталистическими странами, квартирная плата, плата за газ, электричество и другие коммунальные услуги. Немало есть у нас и других расходов, которые берет на себя государство, чтобы улучшить жизнь трудящихся.

У советского человека изменяется психология. Он нетерпимо относится к частнособственническому инстинкту, который все еще присущ некоторым категориям наших граждан.

Не случайно на мое выступление в печати о частной собственности откликнулись многие читатели. Пишут старые большевики, рабочие и служащие, пенсионеры. За немногим исключением все они горячо поддерживают мысль: в наши дни нельзя потакать частнособственническим инстинктам, следует ограничить, к примеру, аппетиты дачевладельцев, живущих на нетрудовые доходы, пересмотреть права наследников. Затрагиваются и другие вопросы. Читатели предлагают, спорят... Теперь я хочу продолжить разговор в несколько ином плане и начать его с проблемы общественного воспитания.

Вновь и вновь перечитываю я волнующий документ «О задачах партийной пропаганды в современных условиях». В этом постановлении Центрального Комитета партии говорится:

«...Формирование нового человека с коммунистическими чертами характера, привычками и моралью, ликвидация пережитков капитализма в сознании людей является в настоящее время одной из главных практических задач».

Невольно задумываешься, а что же стоит на пути к решению столь почетной и ответственной задачи? В постановлении указывается, что воспитанием должны заниматься партийные организации, комсомол, печать, клубы, кабинеты политического просвещения. По существу — все советское общество, каждый человек, кому дорого коммунистическое будущее.

Однако далеко не все из нас замечают некоторые явно нетерпимые явления, противоречащие не только строю мыслей и чувств строителей коммунизма, но даже и Конституции — основному закону нашего государства.

Не случайно партийный документ наминает о принципе социализма, записанном в Конституции СССР: «Кто не работает — тот не ест» — и призывает к борьбе за неукоснительное претворение этого принципа в жизнь, к борьбе против лиц, уклоняющихся от участия в общественно полезном труде. Видимо, при попустительстве родителей и окружающих у нас появились бездельники, тунеядцы. Можно ли с этим мириться, можно ли оставлять вне поля зрения людей, у которых развивается психология паразита? Нет! Мы дезинфицировали запущенную на Луну ракету, опасаясь заразить ее микроорганизмами. Надо позаботиться и о том, чтобы вредоносные микробы не проникли и в наше завтра.

Лица без определенных занятий всечасными способами привлекаются к труду. У нас нет безработицы, неуклонно растет армия труженников, занятых в бурно развивающемся народном хозяйстве. Но вопрос этот довольно сложный, и только административными методами решить его нельзя.

С каждым днем повышается материальное благосостояние советского человека, а потому большинство родителей вполне может кормить, поить и одевать своего взрослого дитя, коли труд ему не по нраву. Все дело в воспитании, и если мы с презрением отворачиваемся от пьяницы или хулигана, то есть еще немало людей, которые по доброте душевной пожимают лапу великовозрастного шалопая, чуждающегося общественно полезного труда. Они как бы забывают о том, что у юноши или девушки, которые почему-то считают, что на них должен работать кто-то другой, безделье вытравляет долг и совесть. Нередко они начинают заниматься мелкой спекуляцией, а потом скатываются к более серьезным, уголовно наказуемым проступкам.

Мы часто пишем, что у некоторой части молодежи начинает появляться презрение к труду, а вот о необходимости воспитывать презрение к бездельникам, гжучее, общественное презрение к тем, кто сидит у честных людей на шее, — говорим не всегда полным голосом.

В ответ на статью о собственности я получил письмо от одного студента, в котором он убеждал меня, что писателю, мол, не пристало заниматься проблемами

нетрудового дохода, интересоваться, кому принадлежат дачи, и высказывать свое мнение о правах наследников. Пусть, дескать, об этом пишут работники милиции, а мне положено рассказывать читателям о фантастических путешествиях, скажем, на Юпитер, и вести там борьбу со сказочными чудовищами.

Но борьбу-то пока что приходится вести на Земле и не с чудовищами, а с «микробами», что остались от прошлого. И совершенно справедливо в решении ЦК КПСС о задачах пропаганды подчеркивается, что главным недостатком сегодняшней пропаганды остается еще не преодоленный до конца отрыв от жизни и практики строительства коммунизма.

Думается мне, что в этом недостатке в немалой степени повинны и писатели. Кому, как не нам, советским писателям, в живой и доходчивой форме рассказывать о наших необыкновенных днях, о грандиозных преобразованиях, о героизме советских людей, о воспитании человека коммунистического будущего. Однако книг, посвященных новому человеку, книг о молодежи, о коммунистической морали у нас пока что крайне мало. И в то же время уже вышли девять романов и повестей, в которых рассказывается о приключениях на Венере. Такие произведения, разумеется, имеют право на существование, но боюсь, что они не всегда приносят пользу.

Молодежь проявляет огромный интерес к космическим полетам, реальность которых доказана нами достаточно убедительно. В этом нет ничего плохого. Но нельзя отвлекать молодого читателя от насущных дел на «старухе-земле», как ее уже начали называть некие юнцы, не знающие, как достается кусок хлеба, не имеющие понятия о человеческом труде.

Мне вспоминается случай, когда молодой, ортодоксальный отец, заметив, что его четырехлетний ребенок никогда не убирает за собой игрушки, сказал:

— Ты знай, что труд сделал человека. А раньше он был обезьяной.

На другой день игрушки оказались разбросанными по всем комнатам, а сын поминутно смотрелся в зеркало.

— Почему не убираешь за собой? — возмутился отец.

— Жду, когда превращусь в обезьяну.

К слову сказать, такое превращение иной раз происходит, но позже, годам к восемнадцати, когда и по внешности, и по манерам, и, главное, по отношению к труду бездельник начинает походить на нашего волосатого предка.

## ВОСПИТАНИЕ НЕТЕРПИМОСТИ

Труд и социалистическая собственность в нашем понимании неразрывны. Без труда не было бы и общественной собственности, которая, как гласит Конституция СССР, является «священной и



неприкосновенной основой социалистического строя». Но мне кажется, что мы еще недостаточно воспитываем у нашей молодежи именно *священное* отношение к народному достоянию.

В современных условиях борьба с расхитителями социалистической собственности неразрывно связана с задачами воспитания нового человека.

В течение многих лет я был непосредственно связан с промышленностью и мог наблюдать, как буквально на глазах менялось отношение человека к социалистической собственности. Люди старшего поколения помнят, что в свое время был введен закон об охране общенародной собственности, закон суровый, вызванный самой жизнью.

Проходили годы, все ярче проявлялось новое отношение к труду, все прочнее входили в быт социалистические нормы поведения. И если кто-либо уносил из цеха, к примеру, плоскогубцы, он навлекал на себя презрение коллектива.

Вот она, настоящая, действенная охрана социалистической собственности!

Коллективный труд, борьба за честь бригады, цеха, завода, гордость хозяина страны укрепляют в человеке чувство ответственности за свое дело, воспитывают в нем высокие моральные качества. Вот почему труженики с негодованием воспринимают любую попытку злоупотребить их доверием. Всем коллективом цеха, при всем честном народе судят они паренька, который обманул их и протянул руку к народной собственности. Так воспитывает рабочий коллектив.

Вспоминается мне один случай. Он произошел в совхозе, созданном на целине. Образовался новый коллектив, не имеющий старых традиций, в него вошли люди, по существу мало знакомые друг другу. Но здесь было настоящее, хозяйское отношение к социалистической собственности.

Совхоз только еще строил жилые дома, многих ребят колхозники временно приютили в своих хатах. Жили дружно, весело. По вечерам парни из совхоза встречались с местными девушками в клубе. Осенью сыграли несколько свадеб. И вдруг — чрезвычайное происшествие. Один из подвыпивших совхозных ребят взломал замок торговой колхозной палатки и стащил две бутылки водки.

Пожилые колхозники укоризненно качали головами, а девушки стали с презрением проходить мимо своих бывших друзей. Ребята, уязвленные в самое сердце, быстро нашли опозорившего их парня и притащили к директору совхоза.

Что директору оставалось делать? Кража со взломом! Пусть суд разбирается. Но ребята упростили не доводить дело до суда... Как же тогда смотреть в глаза колхозникам? Совесть замучает.

В то время еще не брали на поруки, и с разрешения директора ребята вызвались поговорить с провинившимся. Кроме них, никто при этом разговоре не при-

сутствовал. На другой день директор сказал мне, что теперь он спокоен, подобных происшествий больше не будет. Правда, методы воспитания, которые применили друзья, как ему кажется, были не очень гуманными. Но что поделаешь, когда затрагивается честь коллектива!

Однако сейчас разговор не о методах. Важно другое — значит, выработалась в народе истинная нетерпимость к тем, кто хочет поживиться общественным добром. Коллективное сознание, воспитанное на уважении к общественной собственности, долг и совесть советского человека являются неодолимой преградой на пути отщепенцев, покушающихся на неприкосновенное народное добро.

## ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ЧИСТОПЛОТНОСТЬ

В газетах мы нередко читаем сообщения о судебных процессах над работниками торговой сети, общественного питания, промкооперации, дачных трестов — над теми, кто в нашем социалистическом хозяйстве играет не основную, а вспомогательную роль. В чем же тут дело?

Не будем касаться специфических условий, при которых опытные расхитители чувствуют себя достаточно уверенно. За ними не смотрят тысячи глаз. Дело, видимо, в воспитании, формировании общественного мнения.

Может быть, это звучит несколько парадоксально, но я бы судил злостного преступника, залезшего в государственный карман, не только за хищение, но и за растление человеческих душ. Нередко бывает так. Дети, родственники, друзья, знакомые, подчиненные знают или догадываются о проделках, воровских махинациях человека, решившего поживиться за счет государства, знают, что дело нечисто, но из-за личной выгоды, малодушия, трусости не только терпят возле себя преступника, но и делают вид, что ничего особенного не произошло.

Никто не сомневается в моральной чистоте советского человека. Работают магазины без продавцов, газетные киоски, где вы берете газету и оставляете деньги, ходят автобусы и трамваи без кондукторов, где каждый пассажир считает своим долгом напомнить о плате за проезд — есть же рассеянные. Но почему бывает так: люди видят, когда пассажир не взял билет, случайно обманул государство на сорок копеек, а когда дело касается, допустим, сорока тысяч, стоимости «Волги», которую папа при зарплате в тысячу рублей подарил своему сыну, многие этого не замечают.

У поэта Сергея Смирнова есть короткая басня «Темная магия»:

Как это так,  
Что дачу-особняк  
отгробал для себя один завмаг? —  
— Зав — маг!

Да, действительно — маг... Такие факты есть. Значит, недостаточно хорошо работают у нас органы контроля, милиция, ОБХСС, прокуратура. Однако я не думаю, что всю вину нужно сваливать только на слабый контроль. Современные способы хищения, обмана покупателя до того тонко разработаны матерыми жуликами, что криминалисты со всей своей техникой порою даже мечеными атомами не могут пометить изворотливого преступника.

А метить надо! Иначе потом не поймешь, откуда, скажем, вот у этого «миллого мальчика» появились отвратительные черты стяжательства, жажда сомнительных удовольствий, презрение к труду, цинизм и прочие болезни, что еще остались от прошлого. Кто знал, кто догадывался, что мальчик этот дружил с сыном мастера «темной магии», которому ни в чем не было отказа, даже в собственной машине, купленной на ворованные деньги. В этой машине развезжали многие его друзья, и никому из них в голову не приходило, что это подло по отношению к обществу.

Надо метить! Но кто решится на это, если ловкие и хитрые хапуги пока не помечены правосудием? Они члены профсоюза, аккуратно платят взносы со скромной зарплаты. Нельзя же в самом деле бездоказательно обижать людей!

У меня был любопытный разговор по этому поводу с одним знакомым инженером — изобретателем, хорошим общественником, книголюбом. Во всяком случае не обывателем.

— На дачу сейчас должен ехать, — хмуро сказал он. — До смерти не хочется. Но у хозяйина день рождения...

Выяснилось, что инженера приглашает его давнишний знакомый, когда-то он работал на заводе в отделе снабжения, а последние годы — в торговой сети.

— Почему же не хочется? — полюбопытствовал я.

— Не по средствам живет. Зарабатывает куда меньше меня, а двухэтажную дачу выстроил. Натасчил туда всякой всячины. Не дача, а антикварный магазин! Хоть бы людей постеснялся...

— А почему он должен стесняться? Вы же, как и многие другие, к нему поедете... Будто ничего не замечаете.

— Но ведь у меня нет доказательств.

— Ну, а если логика подсказывает? Интуиция? Наконец, простая чистоплотность.

— Боюсь, что это называется подозрительностью.

— Нисколько. Разве вы не считаете социалистическую собственность священной? А если так...

— Понимаю вашу мысль, — перебил меня собеседник. — Значит, и люди, которым государство доверяет материальные ценности, должны быть ну если не святыми, то... во всяком случае они не должны вызывать хоть какие бы то ни было подозрения. А если человеку повезло?

По займу выиграл, бабушка наследство оставила... Значит, если он, допустим, работник торговой сети, то уже не может ни дачу построить, ни машину купить?

Тогда я не мог ответить с полной категоричностью. Сейчас у меня появились некоторые соображения, спорные, но я попытаюсь их обосновать.

В магазинах, где продаются пищевые продукты, продавцы и заведующий носят белые халаты. В какой-то мере у нас возникает привычная ассоциация, что здесь подчеркивается чистота, как у врачей, которые берегут ваше здоровье. Мы обязаны заботиться и о безупречном здоровье нашего общества. Пусть белый халат в магазине станет символом чистоты и честности. Зачем эту честность брать под сомнение, даже в тех случаях, когда человеку действительно повезло, и он случайно стал обладателем таких денег, которые не заработаешь и за десяток лет.

Не следует думать, что я ополчаюсь на торговых работников. Это — миллионы, как правило, честных тружеников, число которых по мере развертывания торговли все время увеличивается. Я не занимался статистикой. Но думаю, что работников торговли больше, чем сталеваров или шахтеров.

Настанет время, когда не нужны будут деньги и мы полностью перейдем на систему распределения по коммунистически. Это, разумеется, не значит, что в наши дни можно мириться с нарушением норм социалистического общежития и ждать, пока отомрут всякие торги, заготовительные и сбытовые конторы, мелкие промысловые артели... Я не могу даже перечислить все организации, которые сейчас заняты снабжением населения товарами первой необходимости и контролем этого процесса.

Мы постепенно переходим и на индустриальные методы торговли, если можно так выразиться. Многие товары поступают в магазины в расфасованном виде. Существуют автоматы, дозаторы... Правда, автоматика эта не всегда работает, и вряд ли тут разберешь, где искать виновников. То ли конструкторы плохи, то ли торговые работники консервативны.

Во всяком случае и расфасовка и автоматы — явление прогрессивное. Все это создает удобства в обслуживании покупателей и, что греха таить, ведет к уменьшению злоупотреблений.

Однажды я разговорился с директором большого продовольственного магазина. Раньше он был на партийной работе, теперь ему поручили взять на себя этот трудный и не очень желанный для него участок. Меня интересовали некоторые вопросы, связанные с частной собственностью в нашем социалистическом государстве. Почему, к примеру, среди владельцев солидных дач так много работников торговой сети? Неужели нет настоящего контроля? Ведь даже пустяковый недочет любой покупатель может

установить — в магазинах стоят контрольные весы. Кассы не взламываются, чеки не подделываются.

Директор ответил, что он совсем недавно начал вникать в новое для него дело и ему далеко не все ясно. Но вот, например, есть такой термин — «пересортица»: смешиваются разные сорта продуктов и продаются по цене высшего сорта. Потом я услышал этот термин от других работников, читал в судебных отчетах, что именно на «пересортице» и строят благополучие нечестные, изворотливые люди. Пусть меня извинят специалисты, но, по простоте душевной, я как-то не могу понять, почему до сих пор не придумана система, исключающая возможность всяких жульнических махинаций с «пересортицей».

Открываются все новые и новые магазины. Торговых работников не хватает. На помощь приходит комсомол. Тысячи девушек и юношей становятся за прилавком. Известны факты, когда при поддержке общественности они идут в магазины с производственных предприятий. Оттуда же идут директорами магазинов производственники-коммунисты.

Эта свежая струя действует благотворно. Вот пример: в одном из районов Москвы открылся новый большой магазин. Девушки с производственных предприятий пошли на специальные курсы, освоили торговые профессии — создался крепкий, умелый коллектив. В новый магазин для обмена опытом приходили продавщицы, работающие по соседству. Откровенничали, говорили, что директор принуждает продавщиц к обману, втягивает в сомнительные комбинации, вроде той же «пересортицы». Потом, глядя на новых подруг, убедились, что с директором-комбинатором им не по пути, надо брать с хороших пример. «Всех не уволит», — решили они и категорически отказались продолжать линию директора. И вот этот «воспитатель» молодых кадров, лишенный в своих делишках опоры подчиненных, потерпел крах. А ведь как он старался вдолбить им неписанные законы опытных комбинаторов!

Так что работники бывают всякие, и у меня нет оснований прибегать к каким бы то ни было обобщениям. Разговор идет о том, что мешает воспитанию человека будущего. Здесь все важно, и надо призадуматься — везде ли у нас созданы условия для настоящего воспитания?

## МЫ НЕ ВОЗЬМЕМ ЭТО В БУДУЩЕЕ

Условия воспитания? И опять продолжается тема священной социалистической собственности. Я не могу от нее отрешиться, ибо она предвещает многое. Вновь и вновь приходится думать о частнособственнических инстинктах, о стяжатель-

стве и прочих малопривлекательных вещах, которые находятся в непримиримом противоречии со светлой мечтой о будущем.

Взять хотя бы промысловые артели, оставшиеся нам в наследство от тех лет, когда мы еще не имели достаточно развитой легкой промышленности.

За последние годы в нашей стране много сделано для увеличения производства товаров народного потребления. В этой семилетке на создание новых производственных мощностей в легкой и пищевой отраслях промышленности выделено примерно 80—85 миллиардов рублей, то есть в два с лишним раза больше, чем в предыдущем семилетии. Теперь вряд ли целесообразно существование, допустим, трикотажной артели, годовая продукция которой может быть выполнена хорошо оснащенной фабрикой за три дня.

А следует ли противопоставлять государственные фабрики и заводы промкооперации, когда и там и здесь трудятся рабочие? В чем же разница?

Разница в уровне воспитания! Мощные коллективы заводов, фабрик, шахт и строек, совхозов и учреждений чувствуют постоянное руководство местных партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. Каждый человек на виду. Он воспитывается в большом, проверенном годами коллективе. А что представляют собой маленькие артели, выпускающие меховые воротники или дамские шпильки, бытовые комбинаты и прочие «производственные точки» со штатом в десяток человек, да и то иногда подобранных отнюдь не по деловым признакам?

В таких коллективах трудно наладить политико-воспитательную работу. Не случайно в них зачастую процветают круговая порука, имеются факты взяточничества, хищений. Сколько об этом писали в газетах!

Можно не сомневаться, что теперь, в связи с реорганизацией промкооперации, эти факты не будут иметь места. Не будет и «рационализации» по методу неких ловкачей, которые из сэкономленного сырья выпускали продукцию для «левого» рынка.

Мне трудно было найти ремешок для часов, чтобы он застегивался не на последнюю дырочку. Думал, неужели с возрастом так разрастается рука? Оказалось, работники какой-то артели решили «экономить» материал, а из оставшейся кожи выпускали продукцию... для себя. Мне рассказывали, что был суд и, пользуясь несовершенством нашего уголовного кодекса, адвокат сумел доказать, что это рационализация. Сотни тысяч рублей хитроумные «рационализаторы» положили в свои карманы. Надо полагать, что и адвокат остался не внакладе...

Понадобится время, прежде чем мы сумеем перейти на индустриальные методы выпуска галантереи и подобного «ширпотреба». Слово, к счастью, выми-

рающее, но сущность-то остается; и несмотря на некоторый презрительный оттенок, к которому нас приучила далеко не всегда высококачественная продукция этого типа, с каждым годом мы должны выпускать ее все больше и больше. Но, конечно, только хорошую.

Я не специалист в экономике, и если затрагиваю этот вопрос, то опять лишь с позиций воспитания человека. В тесных стенах мелкого производства ему тесно и душно. Пусть в светлых цехах с помощью современной техники делаются и ремешки и брошки. А самое главное, что в таких цехах сразу увидишь и грязь и паутину, если бы кто осмелился притащить их сюда из прошлого.

И еще немаловажная деталь: наряду с нашими всемирно известными художественными промыслами, использующими в своей продукции элементы народного творчества, выросли, как мухоморы, некие организации, занятые пропагандой пошлости.

Несомненно выход из положения можно найти — создать авторитетные художественные советы, привлечь талантливых мастеров. Но трудно понять, почему произведения искусства должны выпускаться случайными людьми? Почему коммерческой деятельностью вдруг начали заниматься научные, спортивные, даже общественные организации? Неужели так трудно отказаться от услуг проходимцев, которые быстро создают карликовые «производственные предприятия» для выпуска плакатов, открыток и даже «флирта цветов»?

Такого сорта коммерческая деятельность вредит воспитанию вдвойне.

## О ДОРОГИХ ПОДАРКАХ, ЧЕСТНОСТИ И ПРИНЦИПАЛЬНОСТИ

Если при входе в трамвай возле вас трется тип, не внушающий доверия, вы инстинктивно хватаетесь за карман. Если же ваш знакомый живет явно не по средствам и вы догадываетесь, что он залез в государственный карман, то почему у вас защитный инстинкт не пробуждается?

Да, именно инстинкт! Ведь уже настала пора как следует прочувствовать, что охрана народного богатства — это залог нашего светлого будущего.

Я беспокоюсь не о людях, которые уже построили себе виллы с гаражами и успели кое-что припрятать для потомков. Как и все, они будут получать пенсию такую же, как и врач или учительница, как работник книжного прилавка или продавщица газет — те, кто живет только на зарплату. Пенсию получит и защитник, который отдал частичку сердца в надежде спасти случайно оступившегося паренька; получит и маститый адвокат, тот, кто выгораживал «рационализаторов» из промартели.

Думаю я о детях, о тех, которые уже перешагнули порог отрочества и довольно здраво разбираются, откуда берется кусок хлеба насущного.

У нас немало пишут о мелких воришках, и совершенно правильно, что кое-кого из них, случайно оступившегося, общественность берет на поруки. А ведь есть еще неразоблаченные матери жулики. Годами они растаскивали общественное имущество, превращая его в частную недвижимую собственность или в дорогие подарки для своих отпрысков.

Возьмем такой пример. У нас теперь очень мало персональных машин. Это разумно и дает большую экономию государственных средств. В будущем, как сказал Н. С. Хрущев в своей речи во Владивостоке, мы хотим установить иной порядок пользования легковыми машинами, чем в капиталистических странах. Гораздо удобнее пользоваться ими через прокатные гаражи, таксомоторные парки. На встрече с представителями профсоюзов Франции он подтвердил эту мысль и сказал, что «частнособственническое капиталистическое направление использования легковых автомашин для нас не подходит. Мы будем вносить в обслуживание населения социалистический метод».

Огромно воспитательное значение этого метода. Ведь когда он будет осуществляться, многие задумаются, почему, скажем, секретарь райкома или руководитель предприятия ждет дежурную машину или едет на троллейбусе, а мимо него проносится в собственной «Волге» юнец, которому папа сделал роскошный подарок.

Я против таких подарков, и мне думается, что с точки зрения коммунистической нравственности нельзя давать права собственника машины лицу, который не мог на нее заработать. И дело тут не в возрасте. Нет особой беды, если молодой шахтер, сталевар, строитель, колхозник купит себе «Москвича» на свои трудовые сбережения. От этого у него не изменится ни психология, ни отношение к труду. А кто не работает, живет пока за счет родителей, тому собственная автомашинка явно противопоказана.

Нам всячески надо воспитывать, особенно у молодежи, честность и принципиальность. Да разве без этих необходимых человеческих качеств можно прийти к самому справедливому и совершенному обществу — к коммунизму? Воинская доблесть, трудовой подвиг — все это неразрывно связано с понятием советского патриотизма. Молодежь свято хранит в своей памяти имена героев гражданской и Отечественной войны, славит подвиги строителей великого социалистического государства. У них — миллионы последователей.

Понятие советского патриотизма становится все шире и шире. Мы едины в своих устремлениях к миру, ясен путь, по которому мы идем, и не случайно, как сказал Н. С. Хрущев, в нашей стране нет

ни одного человека, осужденного за политические преступления. А если так, то самое время заняться и некоторыми частными недостатками, которые мешают формированию человека будущего. Я вспоминаю четырнадцатилетнего пионера Павлика Морозова. Он совершил патриотический поступок не на фронте, нельзя назвать этот поступок и трудовым подвигом, но хотелось бы пожелать всей нашей молодежи именно такого страстного и непримиримого отношения к сегодняшним врагам советского общества.

Однако почему я написал — к врагам? Павлик боролся против кулаков, то есть классовых врагов, и потому разоблачил даже своего отца. А откуда теперь враги, и не слишком ли много берет на себя автор, сравнивая пока еще не пойманных жуликов с классовыми врагами? Впрочем, автор — фантаст, он считает, что мальчик, которому папа подарил машину, должен сразу же отказаться от подарка и бежать в ОБХСС. Святая наивность...

А что делать? Поразмыслим вместе. Прежде всего надо условиться называть вещи своими именами. Тот, кто явно живет не по средствам, пойманный или не пойманный, — все равно жулик.

В уголовном кодексе есть термин — «недонесение». Статья предусматривает привлечение к ответственности лиц, коим было *достоверно* известно о хищении, а они не донесли. Но ведь существуют тысячи уверток, которыми пользуются специалисты по превращению общественной собственности в личную. Тут и покупка выигравших облигаций и лотерейных билетов, строительство дач на имя родственников, махинации с правом наследования, тайная спекуляция... Да кто тут может сказать что-либо достоверное без риска привлечения к суду за клевету!

Вот почему я так особенно подчеркиваю необходимость *общественной борьбы* с этими позорными явлениями прошлого.

С каждым годом растет материальное благосостояние советского народа. И если, скажем, в послевоенные годы мы могли отличить по добротно одежде профессора от рабочего, народную артистку от учительницы, то сейчас это сделать почти невозможно. Будет у нас и множество машин, будут и дачи, и пансионаты с удобной и изящной мебелью. Да и теперь. Войдите в новые квартиры на окраинах: ковры, холодильники, пылесосы, последние марки телевизоров... Кто здесь живет? Рабочий, ученый, честный торговый служащий или тот, кто честь эту давно потерял и теперь, когда никого уже не удивит двухтысячерублевый холодильник, старается побольше завести сберкнижек на предьявителя? Книжку эту может предьявить любой — и сын, и дочь, и племянник. Она не может только служить пропуском в будущее. Чтобы пройти в него, надо предьявлять совесть!

По дорогам с Кавказа в Москву и

другие города бегут разноцветные собственные машины с оленем на радиаторе. Они до предела нагружены дарами юга — фруктами и лавровым листом, кожами и босоножками. Обратное тоже не идет порожином. Их ведут молодые люди со справками колхозников или с просроченными студенческими билетами, а чаще всего только с паспортами, в которых ничего не указано о трудовой деятельности гражданина — собственника не только машины, но и грузов.

Молодые негодяи не вступают в прямые конфликты с действующим законодательством по вопросам торговли. Колхозник всегда имеет право продать излишки продуктов. Не нарушается и принцип «кто не работает, тот не ест». Везти товар, продавать его — тоже работа. Что же касается спекуляции, то вопрос этот довольно сложный, а потому и здесь можно избежать конфликтов с административными властями.

Конфликты бывают другого порядка. Мне встретился друг, которого я давно знаю. На моих глазах воспитывалась его дочь, сейчас она уже студентка третьего курса. Как-то ее познакомили с блестящим представителем вымирающего племени частных предпринимателей. Молод, красив, своя машина и уйма свободного времени. Он хвастался, что получает свою долю от брата, у которого где-то в солнечном краю большой сад.

Дочь ничего не скрывала от отца, рассказала, с кем проводит время. И вдруг отец, которого никак нельзя упрекнуть в домостроевщине, категорически запретил дочери встречаться с бездельником и спекулянтом. Девушка комсомолка возмутилась: «Кто дал право вмешиваться в мою жизнь? Даже самых отъявленных преступников у нас переспитывают», — кричала она.

Отец не возражал насчет преступников и несколько уточнил:

— Тот сознает свою вину, а этот ее даже не чувствует. И знаешь, кто укрепил в нем эту уверенность? Ты и тебе подобные пустышки и обыватели. Неужели трудно понять, как в наши дни важно проявить свое гражданское отношение к тунеядцам и мелким лавочникам?! И еще пыжатыся, грибы поганые. Иди, мой руки сейчас же!..

## ПОМЕЧАЕМ НЕМНОГО...

Далеко не все еще сделано для воспитания человека будущего. Но время не ждет! Человек-то этот рождается. Очень приятно быть свидетелем этого великого события, особенно, если чувствуешь, что хоть чем-то можешь помочь его росту, — это большая радость. Человек растет, мужает, крепнет в борьбе с сорняками, и, конечно, не всегда видит только одно безоблачное небо.

Мы оглядываем свое большое советское хозяйство, грандиозный план семилетки вселяет уверенность в реальность наших великих замыслов.

План — основа, закон и добрый, надежный помощник. План воспитывает у человека и волю и ответственность и, если хотите, пробуждает более сложные чувства — товарищества, дружбы, чем всегда славился советский коллектив.

И в то же время, когда молчит совесть, — а ведь о ней главным образом идет наш разговор, — план порой превращается в тормоз всего прогрессивного.

У нас тысячи прекрасных хозяйственных работников. Государство им доверяет не только многие миллионы рублей, но и воспитание коллектива. Люди честные, умелые — они работают не за страх, а за совесть. И вдруг на ваших глазах порой происходят совершенно непонятные вещи. О добротной, легкой и дешевой мебели говорилось с самых высоких трибун, вот уже несколько лет об этом пишут газеты, а до сих пор выпускаются тяжеленные славянские шкафы и дорогие гарнитуры купеческого стиля. Трудность перестройки производства? Возможно. Но основная причина другая. План исчисляется не в штуках, а «по валу». Так выгоднее и легче его выполнять. Эти же парадоксы происходят с одеждой, обувью, хозяйственной утварью. Вспомните бронзовые люстры пудового веса. Примеров тому множество.

А нельзя ли устранить одну из причин, которая порождает подобные явления? Не следует ли внедрить систему материальной ответственности руководителей предприятий за выпуск явно недоброкачественных изделий?

И опять, мечтая о будущем, я думаю о детях, которые будут свидетелями смерти копейки. Они разобьют свои глиняные копилки. Но я хочу надеяться, что к тому времени копилки навсегда исчезнут. Эти

детские игрушки противны самой природе советского ребенка.

Прекрасно, когда с самых ранних лет ребенка приучают к бережливости. Пусть он уважает и ценит чужой труд, вещи, сработанные добрыми искусными руками. Но пока он еще мал, ему не нужны ни копилки, ни сберегательные книжки.

Несколько лет назад в печати появился протест — зачем разрешают открывать ребенку счет в сберкассе? Я полностью с этим согласен, хотя, как мне сказали в управлении сберкасс, там есть письма родителей, которые считают, что дети таким образом могут копить деньги на крупную покупку. Не знаю, нужно ли выносить запрет. Ведь всякие бывают родители, даже такие, кто разрешает ребенку курить. С моей точки зрения, сущность этих поступков одинакова. Курение разрушает здоровье, а ранний меркантилизм влияет на психику человека, которого мы взяли воспитывать.

Воспитать в семье скупца и стяжателя, спекулянта и торгаша не очень трудно. Гораздо труднее привить ребенку бережливость и уважение к социалистической собственности. Однако мы знаем примеры, когда семья, школа и комсомол достигают здесь поразительных успехов. Можно выклянчивать у матери гривенники, экономить на завтраках и, воровато оглядываясь, прятать сдачу в копилку. Но куда как полезнее собирать металлолом, старые газеты или следить за пережогом электроэнергии, как это делают пионерские посты. И поверьте, что в таких, казалось бы, маленьких делах воспитывается настоящий хозяин будущего.

Коммунистическое хозяйство! Коммунистическая собственность! Может быть, сочетание этих слов и не совсем привычно, но я хотел подчеркнуть, насколько связано это близкое будущее с воспитанием именно священного отношения к нашей народной собственности.

Вера Смирнова

## СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ

...В нашей речи существуют словесные штампы, которыми мы пользуемся постоянно и механически, не вдумываясь в их смысл и не придавая им особого значения. Мы пишем: «Многоуважаемый...», говорим: «Будьте здоровы!», не заботясь о том, чтобы эти слова выражали наше подлинное отношение к адресату. Но и эти формулы вежливости и обхождения с людьми несут на себе печать времени и с годами меняются. В наше время никто не начинает письма или служебной бумаги старинным обращением: «Милостивый государь», никто на вопрос: «Как поживаете?» не ответит всерьез: «Вашими молитвами», и, если знакомы вас с кем-нибудь, скажут: «Честь имею вам представить», — это прозвучит теперь нарочито шуточно или иронически. Демократизм отношений требует нынче простоты и лаконизма в обращении с людьми. «Знакомьтесь!» — вот современная форма делового знакомства.

«Знакомьтесь, Балуюев» — так назвал свою новую повесть Вадим Кожевников, и эта житейская «рекомендация», эти деловые слова, вынесенные в заголовок, неожиданно приобретают интонацию, звучат заодно, даже словно с каким-то вызовом. В них есть заявка на значительность темы, какое-то обещание, за подчеркнутой скромностью слышится скрытое торжество: «Вот вы увидите, что это за человек!»

И невольно с интересом ожидаешь встречи с этим человеком. Посмотрим же, кто такой Балуюев.

По трясине, пробираясь по гнилым кочкам, прыгая, проваливаясь, балансируя руками, тяжело дыша, шагает коренастый, широкий в плечах, немолодой уже человек, седой, с обветренным бурым лицом, с брюшком, в узком, облупленном и усохшем с годами кожаном пальто, в высоченных резиновых сапогах, в потрепанном пиджаке, с вылезавшими наружу концами галстука, завязанного немодным толстым узлом. Человек устал, весь про-

мок, задыхается, но, чтобы скрыть свое состояние, говорит — без умолку сильным простуженным голосом — вспоминает прежние стройки, расспрашивает спутника о «личной жизни», мечтает вслух, бранится, — словно не хочет дать передышки ни собеседнику, ни себе самому, словно все время старается, как выражается его спутник, «раздразнить по линии трудности» и себя, и других...

Это и есть Павел Григорьевич Балуюев, начальник участка подводно-технических работ строительства магистрального газопровода, наш современник, советский хозяйственник, коммунист-руководитель рабочего коллектива — герой новой повести 1960 года.

В. Кожевников пользуется в этой новой работе всеми внешними признаками очеркового жанра. Автор в самом деле жил на строительстве газопровода — иначе он не мог бы так подробно и с таким знанием дела говорить о работе строителей; он слышал их речь, видел их быт, наблюдал характеры молодых и старых людей, узнавал их богатые биографии. Он даже отдал дань уже сложившейся традиции документального киноочерка — закончив повесть отъездом своих героев, всегдашней преддорожной грустью, традиционным «убыстряющимся ходом поезда, мельканием лесов, рош, холмов, блестящими рельсами железнодорожного пути, сливающимися в бездне пространства, гаснущим струнным звучанием рельсовой стали»...

Но внутреннюю свою задачу писателя — поиски нового человека, угадывание в нем черт человека будущего, человека коммунистического общества — Кожевников понял как художник, и, живя на какой-то определенной стройке, узнавая конкретных людей ее, восхищаясь ими, влюбляясь в них, он вдруг отчетливо увидел среди них своего героя не как документально определенное лицо, но как образ, в котором обобщились многие его встречи с людьми. И он стал писать

портрет этого своего современника со всем пылом влюбленного в жизнь художника.

Эта повесть и есть литературный портрет человека в действии, во взаимоотношениях с разными людьми, с целым коллективом, в раскрытии его отношения к миру, его дум и забот, его характера, всего, чем он живет и дышит. Повесть движется не событиями, несущими в своем течении людей, сталкивающихся в водоворотах, в бурном потоке, — повесть движется именно этим раскрытием человека, так, как движется портрет, постепенно проявляющийся на полотне под кистью художника. Сначала — общий абрис фигуры, контур энергичный и типичный, сразу напоминающий нам многих, но еще неясный по существу. Это — тот человек в кожанке, которого нам показывает автор в начале повести. Потом, чтобы фигура нам стала яснее, чтоб проступили в ней следы пройденной человеческой жизни, автор делает целый ряд набросков со своего героя на разных этапах его биографии строителя. Вот деревенский парень, пришедший с отцом на одну из первых советских строек простым грабарем, чтобы подработать и скопить на лошадь. Вот он уже кадровый строитель периода первых пятилеток, в одежде из мешковины, с гармонью в руках. Вот он во время пожара на складе бесстрашно спасает из пламени бочки с горючим, таким драгоценным для строительства в те времена. Вот он уже арматурщик-ударник, тощий, угрюмый, с злыми глазами, и фотокарточка его — с заретушированными следами ожогов на лице — вывешена на Доске почета. Но это все еще темный деревенский парень, правда уже обуянный страстью к работе, но политически неграмотный, по-мужицки недоверчивый, самолюбивый и деспотический. И тут рядом с ним появляется силуэт женщины, единственно близкой ему за все годы, жены, друга, его воспитательницы в самом большом смысле. Эта женщина сама прошла трудный и большой путь от задорной и ловкой Дуськи-арматурщицы, бесшабашно переносившей голод, житейские неудобства, презрительно-недоверчиво относящейся ко всякой «интеллигенции», до сотрудницы научного института, кандидата наук. Очень хорошо сказал о ней автор: «Чем больше преуспевала сейчас Балужева как научный работник в институте, тем сильнее росло в ней тревожное ощущение ответственности перед той Дуськой, которой она была когда-то и с которой не хотела расставаться до конца жизни». Полюбив Балужева, она властно завладела им, «ничем не защищенным от самоотверженной доброты и нежности», и «отважно выхаживала его душу». Не случайно автор прежде всего рисует рядом с Балужевым его жену: в отношениях с ней раскрывается первооснова его человеческого существа — какая-то неувядающая молодость души и сердца, сила

и верность чувства, запрятанная вглубь, стыдливая нежность, жажда любви, настоящая активная большая доброта.

Горячий, сильный, Балуев именно перед ней всегда испытывает недовольство собой, обиду, что у него такая «культурная» жена, ушедшая вперед, окруженная интеллигентным обществом, тогда как он «отстал», таскаясь по болотам. Он смешно ревнует ее, тоскует по ней, боится отчуждения за долгие месяцы и годы разлуки. А она, так хорошо знающая его и себя, отдающая себе отчет в том, что она — лишь добросовестная и трудолюбивая исполнительница чужих идей и планов, гордится им и радуется такому молодому проявлению его любви к ней. Эта постоянная трепетность чувства не может быть объяснена только тем, что Балуевы редко видятся, вынужденные постоянно жить далеко друг от друга (эта разобщенность с семьей — одна из самых больших трудностей жизни кочевого племени строителей), — перед нами та настоящая, единственная в жизни любовь, о которой мечтает каждый из нас, — трудная и радостная, которая не дает состариться душам.

Из этих быстро листаемых биографических зарисовок самая яркая — сцена встречи Балужева с женой на аэродроме в Москве, когда в конце войны он срочно с фронта был отправлен на Дальний Восток — класть докер под водой для снабжения флота топливом в океане. Это вообще очень яркий «эпюд» к картине — живая сцена на аэродроме: пленный немецкий генерал; тяжелораненые на носилках; девушка-парашютистка, отправляемая в тыл к немцам и примеривающая туфли на высоких каблуках тут же около самолета; выгруженная с «Дугласа» рекордистка-корова, «госценность», присланная из партизанского соединения, спокойно стоящая под крылом самолета, как под навесом; и взволнованная чета Балуевых, которым жизнь подарила короткую радость встречи-прощания.

«— Кончится война, — сказал Балуев, блестя глазами, — самый огромный памятник из нержавеющей стали надо поставить не кому-нибудь персонально, а просто советскому человеку. Человекопоклонниками должны стать. Вот чего нам самое главное после войны надо...»

Это вынесенное из войны победное чувство: «вот какие мы — советские люди», ясное сознание, что «самое главное после войны надо» — высоко ценить советского человека, — становится в дальнейшей жизни и деятельности Балужева основным принципом его как руководителя рабочих на стройке. Он учится прежде всего находить людей — подбирать кадры. Автор почти не показывает первые шаги Балужева в работе на Дальнем Востоке. Зато он рисует несколько набросков с будущих сподвижников своего героя — водолазов, монтажников, сварщиков.

Особенно запоминается такая карти-



на: суровый океан, наступающий на скалистый маленький остров огромными ледяными волнами, выбрасывающий искореженные трубы, которые люди с таким трудом старались проложить по дну, — и перед ним маленький худой человек в брезентовом балахоне, слесарь волжанин Пастухов, бесстрашно успевающий застроить трубу в то время, пока «океан пятится для нового разбега», и так с ним разговаривающий:

— Что, слабак против нас оказался? Слабак!

При этом автор прибавляет: «Когда Пастухова потом спрашивали: «Ну как у вас там, на Дальнем Востоке, с джукером получилось?» — он отвечал с равнодушным спокойствием: «А ничего, все аккуратно, согласно графику, — и оживленно добавлял: — Главное, там блаженство рыбу ловить... Вот где настоящее место для любителя!»... Несомненно, у этого «маленького Пастухова» учился Балувев многому, и прежде всего учился понимать, что именно такие Пастуховы — главная сила, которая движет жизнь.

И вот, «соблазнившись самой юной отраслью советской индустрии — газовой промышленностью», начав работать на строительстве магистрального газопровода, Балувев собирает на свой участок и тех, с кем работал на Дальнем Востоке, и тех, с кем вместе воевал на фронте. Он разыскал бывшего бортмеханика Сиволобова, когда-то спасшего ему жизнь, а главное, замечательного механика, взял на участок бывшего старшину ремонтной летучки Пивоварова; бывшего начальника боепитания Вильмана, прославившегося на фронте своей невероятной «хозяйственностью», честностью, порядком, сделал своим хозяином. И с каждым вновь поступающим на участок Балувев беседует сам — он хочет знать каждого.

В беседах с новыми людьми на стройке Балувев проявляет жадный интерес к людям. Несмотря на большой его опыт, молодежь частенько ставит его в тупик. Автор показывает нам несколько любопытных «дуэтов»: с Витей Зайцевым, явившимся на стройку в берете, габардиновой куртке и с книгой по астроботанике и попросившимся в «чернорабочие»; с Изольдой Безугловой, молодой девушкой странной судьбы — Балувев ее «выловил» из реки и взял работать лаборанткой по изоляции. В обоих случаях Балувев «с великодушным душевным тактом» узнает у своих молодых собеседников самые интимные, «личные» их дела и заботы — не из пустого любопытства, а инстинктивно нащупывая самые слабые струны их души, требующие бережности и чуткости. И раз взяв на себя почти отцовскую заботу об этих молодых людях, он никогда не забывает о них и, незаметно следя за ними, всегда вовремя умеет прийти им на помощь.

Зину Пеночкину, юную радиографистку, которой «нравились все, кому она нравилась», увлекающуюся, кокетливую,

он остерегает от «легкого подходца» к личной жизни.

«— На что вы намекаете конкретно?

— Ни на что не намекаю. Я прямо говорю: береги в себе женское достоинство. Пойми, мне хочется, чтобы вы все, молодые, были лучше, чем мы... Я, как хозяйственник, считаю: хороший человек хорошо работает, а плохой — плохо. И чем больше у нас хороших людей будет, тем скорее коммунизм настанет. Понятно?

— Но я же согласна быть хорошей! И не нуно вовсе для этого меня уговаривать», — обижается Зина. И потом, выйдя из конторы, сердито снимает клипсы.

Строгий с Зиной, Балувев, напротив, упрекает Капу Подгорную:

— Что ты щеки память боишься? Улыбнись человеку! Ну, в знак дружелюбия, что ли!.. Ты брось себя бояться, что ты красивая! Красота, она на благородное настраивает человека. Взглянет на тебя, потом на шов, увидит вопиющее противоречие, и захочется красиво шов варить...

Балувев говорит с задорной откровенностью:

«— После Двадцатого съезда всех нас партия улучшила. Я, например, для себя как хозяйственник какой вывод сделал? Ищи у каждого человека в первую голову его лучшее, а не худшее. Нашел — наваливайся, эксплуатируй в государственную пользу»...

Макаренковское правило, первое правило советской педагогики, именно так сформулированное, Балувев в самом деле часто применяет «как хозяйственник» — мы это видим в повести все время. Но было бы наивным думать, что этим все и ограничивается. Ведь это только внешний прием, позволяющий ему, «как хозяйственнику», подойти к человеку в любую минуту его жизни и поговорить о самом интимном, самом личном, как о чем-то имеющем прямое отношение к делу, к работе, не боясь таким образом отпугнуть, оттолкнуть собеседника.

«Да что вы со мной, как с дочерью разговариваете?» — возмущается Зина Пеночкина, но «хозяйственные соображения» начальника участка она выслушивает и подчиняется ему, замечая — и не замечая, где кончается официальный разговор и начинается отцовское, дружеское внушение «по душам». Этим приемом как надежным щитом защищается Балувев от всяких затруднительных неожиданностей, вроде внезапного объяснения в любви к нему, вырвавшегося у Капы во время совместной поездки в машине. Его «грубая ясность» сразу охлаждает романтический порыв девушки, и хотя ей стыдно, обидно, и она потом жалуется Изольде, что «еще долго страдать будет», — по сути, по самой человеческой сути, она не оскорблена, не убита, сурово сбережена от ошибки, и ей стыдно больше всего от того, что ее выбрали, как девочку.

«Хозяйственником» хочет казаться и быть Балугев не только со своими строителями, но и со всеми посторонними людьми. Он снимает себе «квартиру» у колхозника Карнаухова. Разговор этих двух современных представителей крестьянства и рабочего класса, приведенный автором как своеобразный этюд к основному портрету (ибо прямо не связан с развитием повести), чрезвычайно интересен, остроумен, нов. Это словесная схватка, поединок колхозной деревни и современного строительства, веселое и хитрое соревнование двух коммунистов-руководителей.

Балугеву удастся заинтересовать колхоз осушкой заболоченной поймы, доказав, что это может дать большие доходы колхозу. В результате «колхоз обрел дополнительную земельную площадь под огороды, а Балугев без дополнительных сверх сметы затрат подсушил рабочую площадку».

Это взаимовыгодное сотрудничество колхоза и рабочего строительства — важная новизна нашей действительности, и умение связывать работу с жизнью района, где ведется стройка, — несомненно, одна из черт умного и дальновидного руководителя. И эта «вставка» в повести оказывается важной для характеристики героя.

Прямо декларируя свое право знать каждого работника на строительстве (просто желание знать могло быть оспорено людьми гордыми или застенчивыми), Балугев с каждым обращается именно так, как с ним нужно и можно обращаться. Григорий Лупанин, лучший машинист крана-трубоукладчика, во время «репетиции» прокладки дюзера говорит Балугеву: «Ваше место сегодня в партере. Нам командующих не требуется», — на что Балугев отвечает «с покорной поспешностью: — Ты, Гриша, не нервничай, пожалуйста, ладно, я только зритель». Он любит людей, которые в ответственные минуты умеют сами собой командовать.

Если внимательно читать повесть, то видно, что каждая «встреча» Балугева с кем-то из рабочих, вообще с новым человеком (даже с его собственными детьми) раскрывает нам что-то новое в нем самом, — на портрете появляется какая-то новая черточка. Но для того, чтобы эти черты возникли естественно и непринужденно, автор прилагает много усилий, рисуя и «партнеров» своего героя. Мы видим в повести много таких двойных портретов, портретов групповых, даже массовых — Балугев виден как руководитель и человек в самых различных, в самых характерных положениях. Мы уже знаем основную принцип Балугева — ценить людей, но чтобы понять, кого и за что он ценит, надо отчетливо увидеть этих людей и полюбить их. Поэтому так тщательно и с такой любовью выписаны в повести и те строители, старые и молодые, с которыми работает Балугев: и машинист Лупанин, и сварщики Босоногов, Шпаковский и Марченко, и прораб Фир-

сов, и комсорг Витя Зайцев, и три девушки, о которых я уже говорила, и заведующая технической лабораторией Ольга Дмитриевна Терехова, с которой у Балугева сложные дружеские отношения, и многие другие. И даже совсем эпизодический молоденький тракторист Коля Зенушкин, сорвавший в первый раз спуск дюзера в реку оттого, что, увлекшись, загляделся на необычную картину. Балугев проявил по отношению к нему удивительную выдержку, не разгневался, не кричал, не бранился, не наказал, понял, что парень оттого и «завалил» трактор, что был до глубины души потрясен «торжественным делом», и теперь сам настолько убит своим провалом, что окончательно убивать его не следует.

Такие близкие отношения с каждым из рабочего окружения делают Балугева на стройке своеобразным дирижером хорошо слаженного человеческого оркестра, знающим не только партию каждого, но и его возможности, характер, настроение и зорко следящим за каждым, чтобы добиться дружного согласного звучания всего коллектива.

И вот с этим-то коллективом, связанным творческим отношением к работе и стремлением «быть хорошими», Балугев как коммунистический руководитель стройки совершает дела, которые смело можно назвать героическими. Замечу кстати, что автор подчеркивает в своем герое примечательнейшую черту наших хозяйственников: они «не любят, когда на их объектах обнаруживаются факты героизма. Они считают: если потребовался героизм, значит, я что-то просмотрел, недоучел, недодумал». Но недаром рабочий-трассовик в повести говорит: «Геройство, как зараза». И потому «предусмотреть и предотвратить такой героизм — задача непосильная даже для самых маститых и высокоумных начальников строительства, прославленных высоким мастерством организаторского искусства».

Очень сильно написанный эпизод, когда комсомолец Витя Зайцев с помощью товарищей пролезает через обледенелую обсадную трубу под дамбой, протаскивая трос, — труднейшее испытание силы, выдержки, смелости, настоящий подвиг — происходит не на участке Балугева, а у соревнующихся с ним трассовиков. Балугев же, узнав, что его люди в опасности, тотчас спешит на место, готовый сам лезть в трубу на выручку. Но дело уже сделано — и вот он полон радости, что все цели, гордости за своих «орлов» (он даже гордо отвергает предложение начальника трассовиков наградить его ребят: «Сами не нищие... Ты к чужой славе не подлаживайся») — и все же испытывает производственную ревность, увидев, как быстро теперь протаскили трассовики газопровод на своем участке. Эта смесь живых и разнообразных чувств характерна для Балугева, — и опять мы видим быстроту его реакции

на все, решительность и в то же время что-то мальчишеское, задорное.

Героизм на стройке Балуева проявляется главным образом в том напряжении всех сил и способностей, с каким коллектив, приняв решение протаскать дюкер по болоту и тем сократить длину газопровода на четыре километра, выполнил эту труднейшую задачу.

Идея «обхода» — сокращения пути газопровода, — дающая государству экономии в две тысячи тонн стали, собственно, принадлежала самому Балуеву, как и новый способ протаскивания дюкера, но он сумел сделать их достоянием всего коллектива. С таким опытным педагогом он добивался того, чтобы идея, родившаяся у него, стала детищем всего коллектива, который взялся отстаивать ее. Он даже немного притворялся оробевшим, чтобы другие доказывали ему ее правоту и ценность. Он знал, что только разжигая «у своих строителей.. дух непокорного самостоятельного мышления», он мог потом требовать от них полной отдачи сил и полной ответственности. И хотя перед вышестоящими организациями он один должен был отвечать «за возможные неприятности», он знал, что даже в случае поражения не останется одиокином на стройке.

Когда, несмотря на тщательную подготовку, спуск дюкера все же срывается — на глазах у множества людей, собравшихся из окрестных деревень и рабочих поселков, — Балуев, не дав этим людям даже сообразить, что произошло, мгновенно прекращает протаскивание, объявляет «антракт, перекур», с деланным удовлетворением глядит на часы: «Ну что ж, полреки одолели точно по графику», — и отходит «с благодушной сановной улыбкой». Даже своего прораба Фирсова он сумел обмануть, объявив, что отправляется «на боковую»... «Вот это выдержка!» — восхищается Фирсов. «Скала-мужик, ничего не скажешь!»

А «скала-мужик», небрежно отпустив шофера («погуляю, проветрюсь»), ходит по лесу, ест снег, чтобы унять боль в сердце, и, дождавшись темноты, возвращается на рабочую площадку — все осмотреть самому и обдумать, что делать. И тут мы впервые видим Балуева в одиночестве.

Мотив человеческого одиночества чрезвычайно силен в книгах современных зарубежных писателей. Человек всегда одинок, всегда один на свете, утверждает во многих этих книгах, ему очень трудно оставаться наедине с самим собой, — отсюда боязнь одиночества, желание забыться любыми средствами, оттянуть это нестерпимое «тэт-атэт», ибо разговор с самим собой, со своей совестью страшен бесплодностью и безысходностью.

Мне думается, не без внутренней полемичности с этими западными книгами дан в повести образ Балуева в одиночестве. Что же он чувствует, оставшись

одинок, да еще в такие трудные для руководителя минуты?

Конечно, он не только размышляет о том, что делать с полузатонувшей трубой, но и думает о своей почти прожитой жизни, о себе самом, о том Пашке, каким он был и двадцать, и тридцать лет назад, — и какой он теперь. В жизни у него было много тяжелых минут и дней. Но он научился себя уговаривать так: «Когда человек остается один, он не должен испытывать отчаяния полного одиночества. Что значит один? Это я такой, какой сейчас есть, и такой, каким должен быть. И всегда, всю жизнь эти двое существуют во мне. И когда второй, каким должен быть я, побеждает, я становлюсь лучше, чем был.. Нужно и теперь перебороть себя самим же собой, таким я хочу быть, каким и должен быть человек и каким я тоже иногда умею быть». Так он научился побеждать «душевную усталость, когда становится очень трудно и тянет словчить, отойти в сторонку, вывернуться и переложить на другого то, что должен тащить сам». И вот уже ему не хочется думать о грозящих ему неприятностях, о том, какой он несчастный.

Но даже думая об этих неприятностях, о том, что он — несчастный, «он не мог вызвать у себя ощущение страдания, боли. Не получалось. Не получалось даже тогда, когда нарочно старался возбудить в душе эти горестные чувства». Очень характерное признание! Балуев не может чувствовать себя несчастным. Вместо этого он невольно тянется мыслями к людям, начинает деятельно думать о Вите Зайцеве, который всю ночь утюжит бульдозером перемышку траншеи, чтобы не дать пльвуну рассосать ее, об Изольде Безугловой, которая тоже пришла ночью на площадку и старается успокоить его, о Лупанине, который тоже не спит и работой и думой о том, как предотвратить аварию, старается заглушить свою «личную драму на почве воображения, обычный сюжет в кино: он мечтал о ней, она предпочла другого».

Эти люди понимают его, и он видит, как они хотят поддержать его, и он ощущает эту поддержку, хотя и не хочет показать им, как он тронут: по каким-то неписанным правилам начальнику не полагается быть растроганным.

В повести не рассказано, как в конце концов справились строители с протаскиванием дюкера. Это и не важно. Важнее, что мы видим, как справились они, главным образом сам герой повести, с трудным испытанием, с моментом душевной усталости, с одиночеством, ибо если человек справился с самим собой, то с любым делом он уже справится.

В повести нет завершенной судьбы человека, но есть законченный характер. Обещанное в заголовке знакомство состоялось. Мы увидели Балуева «со всех сторон», он просвечен насквозь. Он не совсем нов для нас — мы узнали в нем

черты, характерные для целого поколения советских людей, но нам открылось в нем и что-то новое, существенное для коммуниста сегодняшнего дня — горячего и светлого времени после Двадцатого съезда. С мелочью и размахом освобожденной человеческой энергии, личной и общественной инициативы, расцвет личности в коммунистическом коллективе — вот основа повести В. Кожевникова, ее тема, ее пафос.

Фон, который выбран автором для портрета своего современника, — это новый пейзаж нашей родины. И это не только современный пейзаж, но и мечта о близком будущем — настоящий «гимн газу». И это самый поэтический фон для человека, с которым нас познакомила повесть Кожевникова.

Мы так и запоем его на этом фоне — человека наших дней, прошедшего трудную школу революционной стройки, здорового физически и душевно, несмотря на тяжкие испытания войн и трудовых фронтов, сильного, смелого, талантливого — с особым даром «власти над человеческими душами», грубоватого внешне, но с огромным запасом нежности, чуткости, любви к людям, страстно влюбленного в свое дело, такого чистого, цельного, молодого, несмотря на пожилой возраст.

И — мы с радостью должны признать это — человека счастливого на этой, еще «мало оборудованной» для счастья планете.

\* \* \*

Повесть «Знакомьтесь, Балуев» интересна по языку. Автор внимательно прислушался к речи современного советского рабочего-строителя, сумел различить в ее пестроте, разнокалиберности и разнообразности своеобразные процессы, происходящие сегодня в нашем языке, и в повести они показаны очень отчетливо.

Первое, что бросается в глаза в речи героев повести, — это насыщенность производственными, техническими терминами, применяемыми не только на работе, но и в быту, своеобразно приспособленными для выражения самых разнообразных чувств.

«Я человек *гарантийного шва*» — гордо говорит о себе сварщик Шпаковский. «Я тебя как увижу, Зиночка, сразу обмираю до полного изумления. На одном человеке столько *арматуры*: серги, бусы, браслет!» — смеется другой сварщик, Марченко. «А ты по телосложению его *малобабитней*», — говорит Зайцеву механик. «Теперь, когда мы *норму человека так зависили*, каждый от другого полную высоту души требует; *никакого снижения на духовные ценности*», — говорит Балуев Изольде Безугловой.

Этот перенос производственных терминов в жизненный обиход, иногда совершаемый иронически, юмористиче-

ски, иногда очень серьезно, показывает, как осваивается новизна техники, вводимой в жизнь, не только в работе, но и в самом языке современного рабочего.

Еще больше входит в нашу речь язык газеты, политического документа, книжный язык лекторов и пропагандистов. Политическая терминология внедряется в повседневную речь тоже очень по-разному — иной раз хлестко, образно, иной раз шуточно, иной раз слово стало настолько привычным, что ему уже трудно подобрать равнозначное.

«Он же нарочно *демагогически* сказал»... «Ты давай *конкретно*»... «Ты в *максимальном* расцвете сил»... «Кто без *резервов* живет, тех я презираю за *лопухость*»... «Ты, Капка, не человек, а *формулировка*». «Только ты, Павел Григорьевич, прошу, *без излишеств*, спокойненько, не превращая административной власти».

Когда в сельцо появились чехословацкие фетровые шляпы и все рабочие раскупили их и вышли на работу в шляпах, Балуев спрашивает прораба Фирсова: «Это что за маскарад?». «*Стирают грани*», — отвечает Фирсов.

Зина Пеночкина, которая во время протаскивания троса покалечила себе нос, говорит оптимистически:

— Он у меня все равно нашлапкой. Зато я его своими длинными ресницами *компенсирую*...

Это усвоение новых, почти всегда иностранных слов, входящих в речь из газеты, из выступлений партийных работников, порой может показаться неуклюжим, придает комическую окраску сказанному, но, думается, это явление не случайное, закономерное, и, конечно, могучий русский язык обтешет, приспособит по-своему эти пока торчащие в нем чужеродные слова, как обтесались, вошли накрепко многие другие словообразования (вспомним, как после войны 1812 года русские крестьяне по-своему переделали французское выражение «шер ами» в остроумное и крепкое словцо «шерамыжник»).

Много нового вошло в речь современного рабочего из его нового культурного опыта, знакомства с кино, театром, — и в повести Кожевникова это очень хорошо показано.

«Вот и корчит из себя *снежную королеву*», — говорит сварщик Марченко про Капу Подгорную. «Лицо у тебя какое-то угрожающее, как у *разгневанной индийской богини*», — говорит Капе Балуев. Механик Сиволобов замечает о товарище: «Гришка Лупанов, как *индийский многорукий бог*, на кране-трубоукладчике восседает...»

Вот разговор молодежи, возвращающейся с лекции «О моральном облике советского человека»:

«— ...Каждый человек обязан продлевать свою жизнь», — сказал Зайцев, — и при коммунизме вполне нормально будет жить до ста пятидесяти.

— Подумаешь! — воскликнула Зина. —

Разведут стариков, тоже мне достижение!

— У Гомера, — сухо произнес Зайцев, — есть описание, как старик перепрыгивал через лошадь с помощью копья.

— Может, он какой-нибудь бывший чемпион. А конь не настоящий, а пони. Писатели всегда чего-нибудь преувеличивают.

— Классики не искажают фактов.

— Но он же слепой был, как же он это увидел?

— Он ослеп потом и в зрелом возрасте пользовался старым материалом действительности, который запомнил, когда был зрячим...»

Конечно, этот разговор забавен, как забавны порой взрослым разговоры детей о каких-то важных и серьезных вещах. Но, право, такое «освоение классического наследства» показывает возросший уровень культуры молодых рабочих и своеобразное самодеятельное сегодняшнее, а вовсе не традиционное понимание того, что в прежние времена интеллигенция получала в школе, в семье. И автор подчеркивает это не для того, чтобы развлечь читателя или посмеяться над «малограмотностью» рабочей молодежи, а наоборот, чтобы отметить ее жадный живой интерес ко всему и непредвзятое суждение о прочитанном, услышанном и заново открытом в мире.

Думается, эта новизна рабочей речи нравится автору, невольно он усваивает ее и сам — в авторской своей речи.

«Пользоваться кредитом чужого подвига начальнику не положено без отдачи, если он думает оставаться начальником», — пишет Кожевников, выражаясь совсем как его герой — Балуев. Он говорит: «сухощавый диалог»; «погода — пометь дождя со снегом»; «не рассчитал запаса своих душевных сил»; он пишет про Лупанина: «широкоплечий, вертикальный», про Шаковского — что у него глаза «алюминиевого отблеска», еще про кого-то — что он «после работы учтиво подтягивает ключом крепления катков, башмаков, гусениц, наводит легкий технический туалет машине». Он рассуждает (внутренне — вместе с Балуевым): «А потом фактор времени. Ну, отложишь протаскивание дюкера на неделю, чтобы обезопасить себя всесторонне. Но враг-природа тоже не дремлет».

Чтобы так рассуждать со своим героем, надо хорошо сжиться с ним, с его работой, с его окружением, с его заботами и радостями, видеть и понимать, что происходит на стройке. В. Кожевников ходит среди строителей, как свой, и оттого своеобразная грубоватость его авторской речи — в стиле всей вещи.

Особенно своеобразным, новым при таком словесном оформлении выглядят в повести пейзажи. Земля, место, где происходит действие, ощущается прежде всего и героями повести и автором ее как рабочая площадка, причем очень трудная, неудобная и коварная для строи-

телей. «Отвратительное болото», «взьерошенный кустарник», «облезлые песчаные берега», «солнцепроницаемые тучи», «пакостное мокрое небо», «черный дождь»; «тусклая река тяжело влачится в обглоданных паводками берегах»; «огромной реке, казалось, было туго в берегах, окованных ледяной кромкой». «Три крана-трубоукладчика..., встав в одну линию, приняв свои классические позы — стрелы подняты, противовесы опущены», — кажутся характерной приметой пейзажа. Даже «круглый белый слиток луны тяжело висел на небе», как нечто индустриальное. А по подводному каналу «гигантской анакондой ползет дюкер, трепеща и извиваясь, словно это не стальная труба, а злобное пресмыкающееся». Такую природу надо преодолевать, а не любоваться ею. Иногда она сама работает: «Мелкий серый дождь кропотливо размывал грязный снег в оврагах»; «ветер продул небо», «постепенно сумерки смывало светом зари».

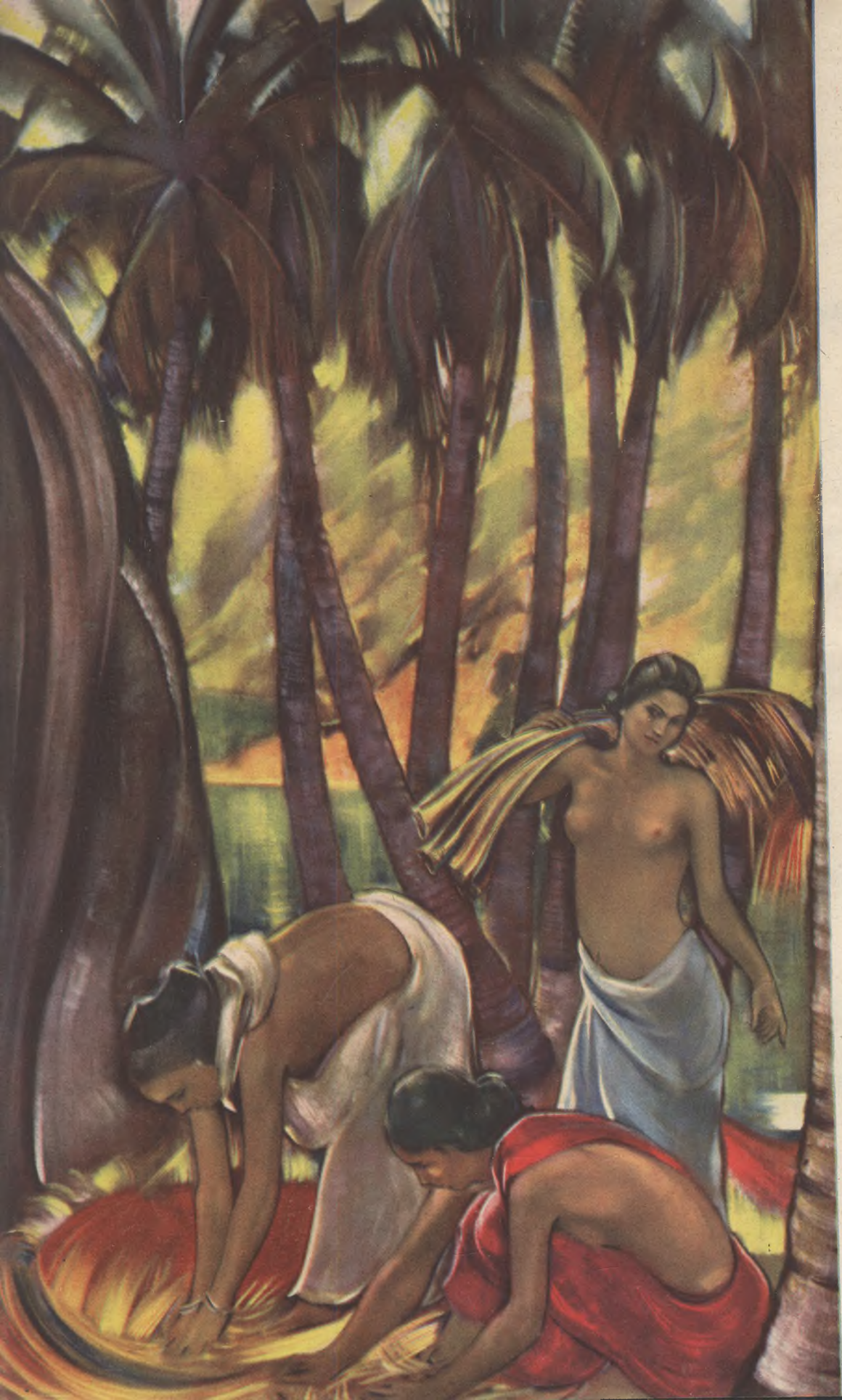
«Красиво, очень красиво выглядела в данный момент природа» — тогда, когда она помогала строителям. «Солнце и стужа могут великолепно разукрасить самое неуютное место на земле... С каким вкусом и тонкостью отделаны изморозью бревна гати — чеканка из серебра! Застывшая трясина обрела сходство с базальтом, чернеет отполированной поверхностью, будто гигантское изделие треста «Русские самоцветы», — подсмеивается автор. — Каждый кустик в ледяном чехле обрел сходство с люстрой, подобной той, которая украшала потолок столовой-ресторана районного центра. А кочки! Это же драгоценный мех, вроде горностая! Каждая камышинка обратилась в стеклянную нить — и все это на фоне неба чистой голубизны... Здесь намеренное «снижение» красоты пейзажа, все сравнения намеренно ироничны. Кстати, мне кажутся они немного надуманными, словно автор, взволнованный, как и все вокруг в этот ответственный момент, искал, чем бы успокоить себя и придумливал такие «изысканные» сравнения, чтобы не умилиться, не растрогаться, — а в такие минуты отлично помогает ирония. Автор не мог иронизировать ни над людьми, которыми он восхищался и за которых трепетал, ни над машинами, к которым он научился относиться уважительно, немножко побаиваясь суеверно, как бы не подвели; оставалась природа, столь много раз воспетая и возвеличенная писателями, что можно было позволить себе посмотреть на нее свысока, глазами переделывающего и побеждающего ее строителя.

И невольно, оттого, что автор смотрит на природу глазами своих героев, в описание пейзажа входят непривычные до сих пор слова из их словаря, из их обихода: «Стужа высушила, очистила воздух. Он сверкал и вибрировал от встречного светового излучения ледяной изморози и сизой отполированной глади ре-



Через перевал

Произведения художника  
С. Н. РЕРИХА





Когда приходят боги

Труд





ки»; «парафиновые звездочки подснежников»; «Все заблестело, засияло. Лужи, затаенные скорлупой льда, будто хромованная поверхность металла, сине сверкали».

Так рисует Кожевников обновленный и измененный современный индустриальный пейзаж. Язык повести — намеренно грубоватый, шероховатый, смелый, иногда даже вызывающе-дерзкий — удивительно соответствует и жизни, которая изображена, и героям ее, и внутренней потребности самого автора. Автор, мне кажется, нашел «стиль, отвечающий теме».

\* \* \*

В повести большая роль отведена автору.

Но это не традиционная роль рассказчика, так по-разному разыгранная в русских повестях, классических и современных. Рассказчик как соглядатай, рассказчик как наперник, рассказчик как невольный участник событий, рассказчик как клиницист, жадно исследующий болезнь общества или человеческой души, — ничего подобного мы не видим в повести Кожевникова. Здесь автор откровенно, как в очерке, писатель, живущий среди строителей, интересующийся их работой и желающий понять, каков наш современник и можно ли угадать в нем «человека грядущего» — того человека, о котором Дуська-арматурщица еще в годы первых пятилеток мечтала, утверждая, что «при коммунизме все люди станут такими хорошими и симпатичными, что даже невозможно себе представить».

Вглядываясь внимательно и терпеливо в строителей, автор оказывается единомышленником Дуськи-арматурщицы и отбирает черты и характеры — те, какие ему нравятся, какие могут быть приметами будущих хороших и симпатичных людей, достойных жить в коммунизме.

Отсюда композиция, достаточно вольная, чтобы не связывать себя традиционным сюжетом, обязательной законченностью отношений, завязавшихся или развивающихся в повести, обязательным началом и концом. И хотя повесть, как я уже говорила, заканчивается традиционным отъездом с пройденного участка на новый, это выглядит лишь уступкой каким-то литературным канонам. По существу, хозяин повести здесь откровенно писатель, и все, что происходит, отобрано им для портрета, который он рисует. Правда, люди, изображаемые в дуэте с Балуевым или в массовой сцене с ним, часто так увлекают автора, что приобретают самодовлеющую ценность и порой отводят его в сторону от основного героя. Это делает композицию повести несколько неровной, порой создает затяжки, словно топтанье на месте, но такое неожиданное «развитие в сторону» второстепенных героев почти всегда оправдано их личной значительностью, или новизной, или увлечением автора, так что при

общей малогабаритности и насыщенности повести такие отступления не вызывают досады.

Куски повествования перемежаются высказываниями автора, опять-таки «в свободной манере»: он то вставляет словечко от себя («Чтобы не быть заподозренным в подхалимаже, я должен оговориться», «До войны Балуев да и все мы были моложе на восемнадцать лет», «Теперь, много лет спустя, когда мы остаемся вдвоем, нам нравится щеголять друг перед другом воспоминаниями», «Не могу ручаться, что при коммунизме перестанут ревновать мужчины женщин и женщины мужчин...» и т. д.), то дает свои комментарии, иногда очень пространные — экономические, политические, литературные — тому, о чем рассказывает; то он просто раздумывает по поводу происходящего, то вспоминает, что видел когда-то.

Автор очень много размышляет о труде и искусстве. Рассказывая с увлечением и со знанием дела о работе сварщика, он заставляет читателя верить, что у каждого мастера сварки — свой собственный индивидуальный «огненный каллиграфический почерк», что «шов Шпаковского» — это, как говорит старый сварщик Босоногов, «музейный шов. Такую вещь выставлять надо как произведение»... По этому поводу автор вспоминает работу китайских каллиграфов: «Я видел, как они это делают, и замирал от восторга и изумления». Так же восхищается автор и работой сварщиков и говорит с обидой: «Только и вся разница, что творчество художника называют искусством, а творчество сварщика — работой».

Автор придумал для себя «метод параллельного сравнения», который помогает ему изучать и работу людей, и их характеры — этот метод, правда, давно известен в науке и в жизни под именем «ассоциативного мышления», но даже то, что писатель называет это здесь «методом», что он нуждается в «методе», свидетельствует, как глубоко проникается он всеобщим у нас рабочим стремлением к научному обоснованию своей работы, научному построению мышления.

Восхищенный и изумленный работой современного рабочего, вооруженного передовой техникой, осваивающего самые сложные процессы и агрегаты, автор невольно «методом параллельного сравнения» пробует «приравнять» свое перо к высокой современной технике, хочет померяться качеством работы, определить свое «место в рабочем строю». Надо сказать, после Маяковского, который гордо поставил поэта рядом с рабочим, впервые писатель так прямо сопоставляет литературную работу с трудом современного рабочего. И то, что он это делает робко, с великой боязнью за свое дело, с таким преклонением перед сложностью и высоким качеством современного труда, очень трогательно и совершенно ново.

Художник меряет свой труд общим

подъемом, напряжением, организацией, целенаправленностью коммунистического труда, чувствует себя порой отстающим, жаждет соревнования с передовым рабочим современности.

Описывая работу радиографисток, проверяющих «с помощью атома» качество сварных швов, автор тут же вспоминает о критиках: «Родственные нашим (писательским.— В. С.) горестные чувства возникают и у критикуемых сварщиков, когда их обличают в непроваре, вкраплении чужеродных тел, пористости и во всяком ином браке».

«Радиографов роднит с литературными критиками то, что от них требуют высокой принципиальности и столь же высокой нравственности, ибо обличаемые мстительно жаждут сами стать обличителями,— продолжает автор.— Выучиться радиографии на краткосрочных курсах не столь сложно. Но стать радиографистом, чувствовать, что от тебя... зависят трудовые судьбы тысяч людей и сооружение стоимостью в десятки миллионов рублей, для этого нужно обладать чертами рыцарской непреклонности».

Здесь очень верно подмечено, что чувства, испытываемые критикуемыми, их негодование против «светозарных сыщиц» весьма схожи с литераторскими протестами против критики.

«А я из-за тебя веру в себя теряю,— жалуется Марченко Капе Подорожной.— Не могу новые стыки варить, пока старые не просветишь... На нервы ты нам действуешь». И очень характерно звучат слова Балуева, которому сварщики жалуется, что Подгорная «на всяком мелком дефекте большую демагогию устраивает»:

— Неврастеники вы, вот кто! Что ни сварщик, воображает: народный артист республики. А их тоже почем зря критикуют. Вот, читал воспоминания Шалапина, как его Горький жучил...

— Так то Горький! — возражал Босонов.— А тут с высоты своего среднего образования девчонка чистописанию учит...»

В самом деле, почти так говорят и литераторы, и так же жалуется «начальству», и так же говорят: «то Горький...» Только, к сожалению, в руководстве литературой мало Балуевых и, еще к большому сожалению, в руках критиков нет «атомного контейнера», который безоговорочно определял бы дефекты сварки. Как раз «швы» в литературном произведении, искусство «связывать» мысли, действие, внутри которого движется мысль, именно то, что создает стройность и целеустремленность, сильно воздействующую на читателя,— все это еще недостаточно осознано, и дефекты в этом не признаются у нас «браком» в такой мере, как у строителей. Потому что, вероятно, мы, критики, еще не умеем доказать достаточно убедительно, что «непровар», «вкрапление чужеродных тел», «пористость» и прочие дефекты в литературе

не менее вредны, чем в строительстве, и надо упорно и постоянно учиться очищать от них наше литературное дело.

Правда, потери от этого, духовный урон от литературного брака не исчисляются ни в бумажных рублях, ни в золоте и не так явно и катастрофически они обнаруживаются. Может быть, именно поэтому тем большей принципиальности, высокой нравственности, рыцарской непреклонности, любви к своему делу и знания жизни требуется от настоящего литературного критика.

Рисуя портрет Балуева — руководителя рабочих, хозяйственника и коммуниста, автор много говорит о власти над людьми, о «праве командовать другим человеком». Очень верно, что «это — высшее испытание» для человека, что не всякий способен его выдержать. Автор интересно рассуждает о том, как изменились за последнее время «методы руководства», самый облик руководителя и требования к руководителю.

Вместо тысяч людей, работавших на стройках часто вручную, самым примитивным способом, появились совершенные машины и при них немногие квалифицированные специалисты. И если раньше руководителю надо было «уметь говорить с тысячами, как с одним», теперь ему надо учиться «говорить с одним рабочим так, словно перед ним тысяча». Ведь «стремительное вторжение сложной богатой техники в строительное дело привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного». Рабочий с высшим техническим образованием часто не нуждается в технических советах руководителя, они его даже обижают. «Я над собой сам высокопоставленный,— сердился тракторист Петухов, работающий на трубоукладчике, когда его спрашивают, есть ли у него «санкция Балуева».— «На то каждому башка придана, чтобы соображать...»

Начальнику не обязательно все делать самому, но хорошо, когда он все умеет сделать сам. Балуев, говорит В. Кожеников, мог не хуже рядового сварщика сварить шов на трубе, проработать на бульдозере смену, не уступая обычному трактористу. «Старым рабочим,— пишет автор,— нравилась эта черта в начальнике и внушала к нему особое дружеское доверие. Молодые рабочие, наоборот, иронически посмеивались, считали, что начальник таким наивным способом просто подлаживается к ним». Вообще в руководстве молодыми особенно нужны иные отношения, иной подход. Они быстро овладевают техникой, но порой успокаиваются на достигнутом, приобретают солидность и самодовольство. Этого не должен допустить настоящий руководитель-коммунист, потому что именно молодым дана привилегия двигать вперед производство в любой области. И то, что Балуев умел «раздразнить ребят по линии трудности», «разгорячить народ до невозможности»,— это и есть в глазах

автора одна из первостепенных его черт как руководителя.

Автор прямо отвечает на вопрос о людях будущего. «Мне кажется, если человек умеет работать для собственного удовольствия, испытывая самозабвенное наслаждение от своего труда, то можно считать, что он уже стоит одной ногой в коммунизме. Что же касается его характера, склонностей, то чем ближе мы к коммунизму, тем ярче, разнообразней и оригинальней становятся наши люди, и так упорительно наблюдать свободный расцвет особенностей каждого — эти особенности нужно только научиться понимать, уважать и отдавать свою симпатию не самым покладистым, а тем, кто яростно стремится стать лучше, чем он есть».

Могут сказать, что это все уже известно, это программное высказывание любого лектора, рассказывающего о коммунизме. Но у В. Кожевникова это — глубокое убеждение, основанное на том, что он действительно с упоением наблюдал за расцветом этих возможностей в человеке, и этот вывод его (кстати, с намеком в конце — специально для руководителей, порой любящих «покладистых») — результат его писательского опыта на стройке, где сейчас уже существует многое «от будущего» — от коммунизма, — где он сейчас и строится вместе с магистральным газопроводом, который сам есть ступенька в коммунистическое будущее.

«Метод параллельного сравнения» используется в повести широко и разнообразно. Рассказывая о стесненном жилищном положении своего героя, автор спрашивает нарочито иронически: «Бывает ли так, что советский человек, да еще член партии, начинает вдруг мечтать о накоплении личного денежного капитала?» — и поясняет дальше, что «двухкомнатная квартира Балуевых подверглась оккупации», ибо сын женился, а дочь вышла замуж, и они ждали прибавления семейства. Балуеву пришлось вступить в члены жилищного кооператива, а значит, ему понадобились деньги. Но дальше, воспользовавшись поводом, автор очень весело и задорно рассуждает о том, что «классики имели перед современными писателями баснословное преимущество в материале для драматических коллизий, ибо в досоветское время денежные отношения лежали в основе всех человеческих отношений. Пользуясь этим обстоятельством, классики могли успешно создавать душераздирающие столкновения и вызывать чувство глубокого сострадания к нуждающимся. В нашем обществе деньги утратили свое былое величие. Даже наоборот, сосредоточение чрезмерного количества денег в руках какой-нибудь личности может вызвать утрату об-

щественного доверия и уважения к ней». Поэтому автор не надеется, сможет ли он вызвать чувство сострадания и сочувствия к Балуеву по случаю его «острой нужды в капитале». Автор признается, что, несмотря на то, что трудности жилищные понятны многим нашим гражданам, «трагедийную коллизию не соорудишь: для этого необходимы злодеи и жертвы».

Эта ироническая тирада по существу — прямой ответ писателям, которые пытаются увидеть драму там, где ее нет, и поневоле высасывают ее из грязного пальца какого-нибудь случайного мошенника и проходимца или сварливой соседки по коммунальной квартире. Даже если случаются на этой почве и злодеи и жертвы, они не являют собой то новое, что рождено нашей эпохой и что представляет собой интерес для писателя, желающего изобразить современность.

Среди авторских рассуждений есть и спорные, как, например, противопоставление мощи и красоты советского человека древним грекам, которые, по мнению писателя, волшебным приукрашали «несовершенство натуры во имя дивного, созданного мечтой образца человека будущего». В. Кожевников полусуто даже применяет к древним грекам забавно звучащее здесь: «лакировщики». Думается, он не очень прав, говоря, что греки действительно «во имя будущего»; скорее они утверждали лучшее в настоящем.

Все эти авторские высказывания не являются в повести «лирическими отступлениями», но всегда — прямое вмешательство в показываемую жизнь, ибо эти размышления, необходимые для осмысления бытия, вынесенные из него, — и есть то главное, ради чего написана повесть. И автор не считает нужным прятать свое писательское лицо за спинами героев — нет, он работает наравне с ними и хочет показать наряду с работой строителя и работу писателя.

Справедливость требует добавить, что В. Кожевников настолько увлечен своим героем, так проникся его терминологией, так усвоил его интонации, что подчас как бы сливается с ним — и мы уже не различаем, когда говорит Балуев, когда Кожевников. И тогда кажется, что либо автор становится рупором своего героя (что в данном случае — уже соскальзывание на традиционную роль рассказчика), либо приписывает Балуеву свои собственные мысли и речи, что делает излишним присутствие самого автора.

Но это ощущается лишь как досадное частное несовершенство по существу новой литературной формы, как остатки робости в острой, новой и очень смелой в целом книге — несомненно, одной из самых значительных книг нынешнего года.

Л. Иванова

## У ПОРОГА СЕМИНАРИИ

Вчерашняя десятиклассница прислала письмо в «Литературную газету». Девушка, получившая образование в советской школе, хочет посвятить себя служению церкви. Случай единичный, не характерный для наших дней. И, вероятно, Лида, которая уже сомневается в выбранном пути, поймет всю его неверность. Но и такие редкие случаи в обществе, где дорога судьба каждого человека, делают правомерной тревогу писателей, стремящихся в своих книгах разоблачить мракобесие.

Перед нами одно из таких произведений — повесть С. Львова «Спасите наши души!».

Работница часового завода, чистая, хорошая девушка, столкнулась с непонятным. Юноша, к которому она успела по-настоящему привязаться, скрывает свою профессию, место учебы. И горькой оказывается правда: Павел учится в духовной семинарии. Разные чувства охватывают Асю при этом известии. Ей стало смешно, когда она представила себе, как называют ее «матушкой», и она была разочарована, хотела забыть Павла. Но побеждает другое: стремление узнать мир, в котором живет юноша, спасти его. «Нужно что-то делать, куда-то бежать, нужно спастись! Кого? Павла спастись, себя спастись! Свою любовь спастись».

Решение становится твердым после посещения церкви и услышанной проповеди. Значит, и Павел «будет пугать людей бедами, смертями и несчастьями, чтобы заставить их ходить в церковь! Ну нет, этого она ему не позволит!» Борьба Аси за Павла и составляет основное содержание повести. Сюжет строится в соответствии с логикой раскрытия и развития характера Аси. И поэтому убеждают все перипетии борьбы Аси, Генки и Вадима за Павла и за мальчика, которого заставили просить милостыню в церкви.

И серьезный студент-историк Вадим, и рыцарски настроенный радиотехник Генка, и комсомольцы часового завода —

все это светлый мир нашей молодежи. В нем — атмосфера дружбы и доверия, удивительное чувство локтя, столь характерное для наших молодых современников, с которыми мы подружились на страницах повести.

А как же с разоблачением религии, с темой, давшей название произведению, ставшей предметом его полемической направленности?

Полемическая заостренность бывает разная. Иногда она ясна читателям с первых же страниц книги, а порой бывает глубоко скрыта неторопливым развитием сюжета, обстоятельной манерой повествования. И, может быть, в первом случае (а он характерен для повести Сергея Львова, где полемическая линия — как бы на поверхности) необходимо еще большее прискликование автора в мир чувств и поступков человека, особенно углубленное изображение событий, чтобы раскрыть причины религиозного дурмана, по-настоящему решить атеистическую тему. Писательской глубины в решении этой сложной проблемы весьма недостает повести «Спасите наши души!». Л. Соболев справедливо назвал эту повесть скорее антипоповской, чем атеистической. Картины богослужения и всей обстановки в церкви, данные в непосредственном восприятии Аси, действительно антицерковны. И священник с красиво уложенными волосами, и тенор, поющий в церкви, и телефон и холодильник, стоящие тут же, и мощный верзила, следящий за порядком, — все это с недоумением наблюдает Ася. Недоумение переходит в протест, когда девушка слушает проповедь священника о божьем предопределении, судьбе.

И сцены богослужения, и вывод Аси, что церковь ставит людей на колени, и рассказ Вадима о богомольцах, ползущих вокруг Светлояр-озера, — все это не лишние картины, они могут обрамлять основные события атеистического произведения. Но в повести «Спасите наши души!» подобные сцены — главные, определяющие, поэтому и приходится говорить о внешнем раскрытии темы, о ее частичном решении.

Стремясь поговорить с Павлом, Ася едет в семинарию. Но героиня останавливается у порога семинарии, а вместе с ней остается здесь и писатель. Художественную ткань подменяют дальше, по существу, выдержки из статьи С. Львова «Не снято с повестки дня...», опублико-

С. Львов. «Спасите наши души!». «Юность» № 2, 1960.

ванной в прошлом году в журнале «Знания», где автор писал о калечащем влиянии религии, напоминая литераторам об их долге по-писательски глубоко разоблачать остатки вековых предрассудков.

В статье С. Львов вспоминал поразившие его встречи и истории. Одна из них — о рабочем-рассточнике Кировского завода в Ленинграде Александре Кухаренко, в прошлом ученике семинарии. «А ведь, пожалуй, такая судьба могла бы заинтересовать писателя!»... — замечает С. Львов, отстаивая бесспорное писательское «право рассказать о том, как молодой человек нашего времени, попав в семинарию, оказавшись во власти религии, вдруг отбрасывается в далекое прошлое! И не только об этом. Но и о том, как жизнь, бурлящая за стенами семинарии, все время перехлестывает через них то книгой, которую принесли в общежитие, то вестью об искусственном спутнике, которую тщится истолковать преподаватель так, чтобы она не пришла в противоречие с догмой, то столкновением со сверстниками. И это воздействие живой жизни выхватывает с искусственного островка прошлого то одного, то другого обитателя, возвращая их на Большую землю нашей действительности».

Да, писатель не только может, но и должен об этом рассказать! Но история Кухаренко — это только часть достоверного жизненного материала для повести, Александр мог стать прообразом ее главного персонажа. Язык образов, живых сцен заставил бы читателя понять причины религиозных заблуждений Павла, заставил бы поверить и приходу Павла в семинарию, и егс еще не совсем твердому желанию уйти из нее в большой мир.

Но писатель в решении главного вопроса ограничился в основном историей Кухаренко. Рассказ Павла и его письмо (а только здесь и говорится о том, что привело юношу к религии, и о семинарии) почти дословно, с некоторыми добавлениями, повторяют историю Кухаренко. Живой человеческий характер и сложные жизненные ситуации оказались за пределами книги. Описательность — главное и почти единственное средство раскрытия образа Павла.

Это сделало Павла безликим рядом с живой, энергичной, волнующейся за его судьбу Асей. Павел-Кухаренко остался только костяком для создания характера. Писатель пустил его в жизнь, не наполнив живой силой. Думается, причина этого одна — автору не хватило глубокого знания материала, его художественного осмысления. Поэтому и неясны по существу причины религиозных заблуждений Павла и ему подобных.

Почему все-таки Павел не только приходит в семинарию, но и верит в бога? И как помочь ему и юношам с такой же судьбой до конца понять несообразность религиозных догм, их враждеб-

ность разуму? Эти вопросы еще ждут своего решения в произведениях, посвященных борьбе с религиозными предрассудками. Атеистическая тема по праву входит в решение проблем, связанных с воспитанием молодого человека коммунистического общества.

---

## В. Литвинов

### В СВОЕМ ЖАНРЕ

Репортажи и очерки Георгия Радова давно приметились читателю по страницам «Огонька». За очерками стали появляться рассказы, вобравшие многое из того, что составляет силу очерка, — актуальность, стремление всякий раз активно вмешаться в действительность, добраться до корней того или иного явления.

Эта «двустильность» произведений писателя настолько отчетлива, что порой он и сам не в состоянии решить, чего в них больше — очеркового или беллетристического. Вышла книга его рассказов «На улице Казачьей». Некоторые из них мы встречали годом раньше в сборнике «Наследница». Однако там и «Теща», и «Кузьма-укрепитель», и «Бегун» назывались очерками...

За последнее время о творчестве Г. Радова пишут довольно часто. Некоторые критики видят его своеобразие в том, что автор использует своих героев для постановки хозяйственных, общественных проблем. Читая новую книжку Г. Радова — рассказ за рассказом, — видишь, что такое истолкование, несомненно удобное для критического разбора отдельных произведений, по отношению к сборнику в целом оказывается весьма и весьма неточным.

В рассказе, давшем название всей книжке, мы знакомимся на улице Казачьей с большой семьей бригадира Черноштана. В интересы этих на редкость беспокойных людей входит все, чем живет колхоз, станица, родная округа. Полна горечи речь Марфы Шевчуковой, когда она говорит об упадке оптимизма на кубанских полях. Своя тревога и у Анны: почему никто не хочет замечать, что существующий порядок расходования колхозных трудодней давно устарел!

---

Георгий Радов. «На улице Казачьей». «Советский писатель», Л., 1960.

С неожиданной стороны открываются вдруг Черноштану взаимоотношения механизаторов и полеводов в колхозе.

«Впору созывать специальный пленум по проблемам одной улицы», — размышляет секретарь райкома Столяров, и с ним нельзя не согласиться: в рассказе затронуты такие важные вопросы, что любой из них можно смело выносить на всеобщее обсуждение. (Кстати, на Кубани я был свидетелем, когда один из радовских рассказов, опубликованный в «Огоньке», широко обсуждался не где-либо, а на совещании районного хозяйственного актива).

Но есть в этом рассказе и другое — на первый взгляд, прямо не связанное с этими проблемами. Есть трудная судьба доярки Зинаиды, в третий раз безуспешно пытающей свое семейное счастье. Есть и незадачливые женихи своевольной казачки Марфы Шевчуковой. И Черноштан, с яростью разгораживающий двор на две части: только бы глаза не видели зятя «шабашника». И как-то по-своему озарившая повествование сценка с Зинаидиной дочкой, которая не может смириться с отчимом, «мамкиным мужем».

Живые люди со всей сложностью их духовного мира.

Рассказ «На улице Казачьей» не принадлежит к удачнейшим в сборнике — он несколько примитивен по сюжету, ему недостает динамики. Но в творчестве писателя он объясняет многое.

Характер советского человека. Не «вообще», но с совершенно конкретной датой — конец пятидесятых годов, сегодняшний характер. Что в нем появилось такого, чего не было еще вчера? В чем его сила, как он развивается? Почти каждый рассказ Радова — именно об этом. Хозяйственные проблемы потому так и важны для писателя, что как раз с ними наиболее тесно связано главное в облике советского человека-труженика. Проблемы, волнующие героев, для автора — прямое продолжение разговора о характере, который он с таким упорством исследует в своей книге.

Г. Радова когда-то серьезно упрекали за композиционное однообразие его рассказов. Обычно он знакомит нас с подчеркнuto заурядным (если не с внешне отталкивающим) героем; затем шаг за шагом начинает опровергать обманчивую простоту, раскрывать богатство его внутреннего мира. Жаль, конечно, что писатель так и не прислушался к справедливым пожеланиям критики, толкавшей его на поиски все новых изобразительных средств. Он и до сих пор продолжает держаться однажды найденного удачного приема. Однообразие никого не украшает. Но можно понять, почему автору так дорог этот прием. Радов-рассказчик стремится высветить лучшее в людях, доказать, что в любом человеке, даже неприглядном, таится огромная моральная сила. И если разбудить эту силу, направить в

нужное русло, — те великие задачи, которые поставил ныне народ перед собой, будут решены неизмеримо быстрее, успешней.

Конфликт радовских рассказов — всегда социально значимый конфликт. Наибольших успехов автор достигает тогда, когда ищет ключи к нему в психологии людей.

Неожиданно обернулось чествование молодой героини-доярки в рассказе «Теща». Загорелся жаркий спор: Золотую Звезду получила Нюрка, а кто начинал ковать эту Звезду? Не старая ли колхозница Анна Степановна, которая «геройствовала» еще в отстающем колхозе, «как говорится, на одном сознании и домашних харчах»?.. Несомненно, не только постановкой вопроса о присвоении сельским ветеранам звания «почетный колхозник» волнует читателя этот рассказ. Важно пробуждение в молодежи интереса к своим замечательным старикам, важно, что память о добрых делах у нас хранят не архивные бумаги, а благодарные человеческие сердца.

По отношению автора к происходящему нельзя не почувствовать, сколь дорога для него внутренняя победа над собой героини рассказа «Прасковья Лихачева». По-разному могло решиться столкновение между Прасковьей и незваной гостьей, приехавшей отбирать у нее приемную дочь. Лихачева выбрала самый честный, хотя и самый трудный путь: не послушалась чужих советов, не выгнала взашей эту ничтожную, заблудшую женщину, — оставила жить у себя, чтобы сделать из нее со временем настоящего человека.

Есть в книге «На улице Казачьей» вещи и неудачные. Журналист Валежников в «Воскресном сюжете» растерялся перед трудной психологической задачей, не написал заданного очерка. Обидно, что вместе с ним растерялся и писатель — хотел показать героиню с характером дерзким, ищущим, а изобразил просто девицу неприкаянную, мятущуюся — бог весть с чего.

Георгий Радов без робости вторгается в мир наиболее сложных, далеко не решенных жизненных проблем, смело пользуется в беллетристике оружием очеркиста, не боится резко опровергнуть своим опытом иных литературных «знаковок» современной деревни. Хочется, чтобы ему всегда доставало смелости и в другом: в утверждении себя как художника, как рассказчика, без всяких скидок на «очерковое происхождение». Ведь жанр, в котором он работает, — не механическое соединение очерка и рассказа; это сплав, сложнейшая форма современной беллетристики. Сложнейшая, и потому она не терпит каких-либо приблизительных решений. У писателя есть все данные для нового шага вперед. Тому убедительное свидетельство — его последняя книга.

Ю. Оклянский

## РОДНЫЕ МЕСТА ПИСАТЕЛЯ

Если хоть в какой-то мере допустимо «привязывать» к определенному географическому месту творчество крупного художника — по тому ли, где он формировался как писатель, по месту ли действия его произведений, по пейзажам, бытовому колориту и т. д., — то Константин Федин больше всего писатель волжский.

С волжанами Константин Александрович поддерживает постоянную связь. Его интересует все. И небольшая брошюрка куйбышевского журналиста Сергея Лисецкого о репинских местах на Волге, и книга старого сельского учителя из Ульяновской области Константина Алексеевича Селиванова «Русские писатели в Самаре и Самарской губернии», и повести саратовских писателей Григория Боровикова и Екатерины Рязановой, и работа университетской саратовской библиотеки...

В Саратове, Куйбышеве и других городах Волги есть писатели, литературоведы и просто бывалые люди, книги которых Константин Александрович читал еще до выхода в свет, в рукописи, в корректурах, есть такие, с кем у Федина многолетняя переписка, и начинающие, кого он «открыл», о чьей книге первым напечатал свой отзыв.

Вот два небольших примера.

В Саратове живет Георгий Яковлевич Лозгачев-Елизаров. Как дорогие реликвии хранит этот уже пожилой человек, ныне пенсионер, многочисленные папки документов... Альбомы с фотографиями и увеличенные кадры из кинохроники первых революционных лет, где рядом с В. И. Лениным запечатлен нескладный чубатый подросток, в котором отдаленно угадываются черты владельца альбомов. Рисунки карандашом, исполненные Надеждой Константиновной Крупской, подарок Горе Лозгачеву ко дню рождения. Стихи, которые любовно сочиняла «Горишке-торопыжке» Анна

Ильинична Ульянова-Елизарова; ее письма, то по-матерински заботливые, то строгие, которыми она неизменно, до конца дней напугивала своего приемного сына...

В 1957 году в Саратове вышла книга Г. Лозгачева-Елизарова «Незабываемое». В ней воссозданы достоверные черточки, живые подробности быта и семейного уклада дома Ульяновых.

Критика долгое время не определяла своего отношения к произведению. Первым заговорил с ним Константин Федин. Он прислал автору большое письмо, которое позднее почти целиком опубликовал в журнале «Новый мир». В письме-рецензии глубоко и всесторонне раскрылось своеобразие книги. К письму Г. Лозгачеву Константин Александрович посчитал нужным приложить еще один документ — свою рекомендацию автору в члены Союза писателей.

Остается добавить только, что с тех пор книга «Незабываемое» выдержала два издания. Она завоевала горячие симпатии у читателя.

Другой пример. В том же письме Г. Лозгачеву К. Федин рассказывал об одной старой коммунистке, которая собрала «обширный материал о пребывании Ленина в Самаре (1889—1893 гг.) и его семье. Она пишет большую книгу об этом, одно из действующих лиц в которой — М. Т. Елизаров. Если захотите, спишитесь с ней». Это не первый случай, когда Константин Александрович стремится познакомить интересных людей из числа своих корреспондентов.

Татьяна Ниловна Барковская, о которой идет речь, живет в Куйбышеве. Долгое время работала библиографом в областной библиотеке. Десять лет назад Татьяной Ниловой завладела мысль — рассказать о Ленине того периода, когда он, только что сдав экстерном за университет, выступал в суде в защиту самарских крестьян, собирал вокруг себя мало-



численных в ту пору марксистов и начал борьбу с фальшивыми «друзьями народа»...

В итоге кропотливых архивных поисков Барковской удалось собрать много новых, до сих пор не известных фактов, характеризующих быт семьи Ульяновых того времени, окружение и сподвижников молодого Ленина.

Татьяна Ниловна уже несколько лет писала задуманную историческую хронику, но сомнения не покидали ее: хватит ли способностей, умения написать книгу? И как важно в такие минуты тревожных сомнений услышать авторитетное слово! Барковская обратилась с письмом к К. Федину. В конце 1957 года во время пребывания в Куйбышеве Константин Александрович встретился с ней, взял с собой рукопись.

Спустя какое-то время от него пришло письмо, точнее, целая литературная консультация, которую позже не без пользы для себя получили в том же четвертом номере журнала «Новый мир» за 1959 год многие начинающие.

Ободренная Т. Барковская взялась за работу. Константин Александрович не забыл свою корреспондентку, почта до сих пор продолжает приносить от него новые и новые письма. Вероятно, большое удовлетворение доставило Федину сообщение о том, что сейчас, после нескольких лет труда, с учетом его замечаний и советов, в Куйбышевском книжном издательстве готовится к печати большая историческая хроника Т. Барковской «Начало пути».

Густы и разнообразны нити, которые идут к Волге от Константина Федина. Мне хочется рассказать о двух сравнительно недавних встречах Константина Александровича Федина с земляками-волжанами в Куйбышеве и Саратове.

## ЖИВЫЕ ГОРЬКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

В конце ноября 1957 года в Куйбышеве проходила научная конференция литературоведов Поволжья, посвященная приближающемуся 90-летию со дня рождения А. М. Горького. Среди многочисленных приглашений, разосланных организаторами конференции, было и адресованное К. А. Федину. Такие горьковские чтения проводились в те месяцы по всей стране. И, честно говоря, мало кто верил, что Федин, занятый работой над завершением трилогии, загруженный тысячей дел по руководству Союзом писателей и другими общественными обязанностями, сможет принять приглашение. Но Константин Александрович приехал.

Вместе с другими гостями он появился в президиуме конференции. Сел где-то в середине, не выделяясь, но сразу всеми замеченный.

В этот вечер состоялось торжествен-

ное открытие конференции. После доклада критика В. Бялика «О некоторых итогах и задачах изучения жизни и творчества А. М. Горького» с воспоминаниями о писателе выступила его жена Екатерина Павловна Пешкова. Затем слово было предоставлено К. Федину. Поприветствовав собравшихся и шуточно предупредив, что им предстоит еще заслушать немало серьезных научных докладов и потому он не хочет дополнительно утомлять их речами, писатель попросил разрешения прочесть отрывки из своей книги «Горький среди нас».

Научная конференция в Куйбышеве продолжалась три дня. Константин Александрович, с интересом следивший за докладами и выступлениями, так оценил ее итоги:

— Прежде всего отрадно отметить, что в работе конференции приняли активное участие не только куйбышевцы, но и научные силы ряда других волжских городов. А. М. Горький является фигурой, как бы объединяющей поволжские города как местом деятельности, биографией, так и темами своих произведений. Конференция в Куйбышеве — хороший пример объединения научных сил для разработки общих тем, роднящих соседние области.

Такие конференции, подчеркнул К. Федин, помимо научного интереса, имеют еще и большое значение для воспитания у молодого поколения вкуса к изучению культуры своего края. Куйбышевская область — край богатой литературной «биографии». Здесь в разное время жили Л. Толстой, Н. Гарин-Михайловский, А. Толстой, С. Скиталец, А. Неверов и многие другие. История Самары, шуточно заметил К. Федин, так же богата писательскими именами, как богата нефтью; куйбышевцы, похоже, скрывают это, как долгое время Самара «скрывала» свою нефть. Как было бы полезно, если бы научные конференции проводились почаще и в разных городах!..

— Пребывание гостей из других городов в Куйбышеве, — сказал в интервью с одним из журналистов К. Федин, — было интересным. Участники конференции посетили областной литературно-мемориальный музей, который помещается в домике, где в свое время в подвале жил молодой Горький. На меня лично среди экспонатов особенное впечатление произвели скульптурные портреты А. М. Горького, интересно, хотя и не бесспорно исполненные местным одаренным ваятелем В. Акимовым. Музей после некоторого переоборудования обещает быть одним из лучших горьковских музеев в стране.

Уже накануне отъезда писателя в номер гостиницы, где остановился Константин Александрович, пришел представитель литературного объединения «Молодая Волга». К. Федин заинтересованно с ним беседовал, расспрашивал о выпущенных книгах. Потом тут же написал заметку для областной газеты «Волжский

комсомолец» — свои пожелания молодым литераторам-куйбышевцам.

«Очень отрадно было узнать, — писал Федин, — что здесь, при редакции областной комсомольской газеты, работает литературное объединение «Молодая Волга», насчитывающее семьдесят начинающих литераторов. Это серьезный резерв литературы.

Расти и учиться искусству писателя в среде народа, построившего Куйбышевскую гидроэлектростанцию, продолжающего строить новые предприятия промышленности, возводящего целую семью городов вокруг старой Самары, жить в среде этого народа — значит иметь все необходимое для воспитания талантов... Старая Волга сохранит навечно поэтическую свою славу. Но новая Волга, где в различных областях и городах растет большой отряд молодых писателей, должна прогреметь на весь Союз Советов еще более поэтичной и громкой славой...»

## САРАТОВ, ОСЕНЬ 1959 ГОДА

...Конец сентября. Вдоль саратовских улиц уныло выстроились тополя и липы, холодный осенний сквознячок шуршит дряблую пожелтевшую крону и осыпает на мокрый асфальт листья. С беспробудно серого неба в который раз начинает надоедливо и тоскливо моросить.

Но на улицах в эти днилюдно, возбуждение праздника чувствуется даже в троллейбусах и трамваях. Саратов справляет пятидесятилетие своего университета. Программа торжеств многообразна — от научных чтений до спартакиад и смотров художественной самодеятельности. Тут есть где проявить себя и зрелости мысли ученых, и задору студенческой юности.

Осенью 1959 года К. Федин работал на даче под Саратовом над романом «Костер». В письме библиотекарям саратовского университета он писал: «Живу и работаю в своем ущелье вполне удовлетворительно. В хорошую погоду радуюсь нашим горам, аромату полыни, мяты, садового аниса, известняка, степей...»

Но писатель оторвался от романа, чтобы присутствовать на научной конференции библиотечных работников более чем тридцати городов, посвященной пятидесятилетию университета.

Почтительное отношение к библиотекарю, к труженнику, который всего себя отдает книге, — давняя традиция русских писателей. Ему, библиотекарю, Константин Александрович накануне конференции посвятил слова писательского приветствия, опубликованные в университетской многоотиражной газете «Ленинский путь»:

«Советскому писателю особенно близки и родственны по призванию труженики библиотек. И я от души желаю

большого успеха знаменательной саратовской встрече библиотекарей и их научной конференции. Нести свет в народные массы — задача литературы и науки. Но вряд ли кто-либо другой может сосредоточить в своих руках такое множество источников света, сколько находится их в руках библиотекаря, с его книжными полками в его книжных дворцах. Несите же свет народу, дорогие товарищи!»

Саратовская университетская библиотека — одна из крупнейших в стране. В 1909 году она уютилась в единственной комнатке, а теперь занимает огромное многоэтажное здание, площадью почти в десять тысяч квадратных метров, со специализированными залами, хранилищами, лабораторией гигиены и реставрации книги, кабинетом библиотекосведения, музеем истории книги. Бесчисленные ее полки и отсеки населяет более полутора миллионов книг. Рост этого «девятого факультета» университета, как любовно называют свою библиотеку студенты и преподаватели, отражает развитие всего высшего учебного заведения за прошедшие полвека.

Юбилей университетской библиотеки отмечался как смотр сил и большой праздник библиотечных работников страны. Хорошо сказала об этом на заключительном заседании конференции директор Саратовского дома-музея Н. Г. Чернышевского, внучка великого писателя, Нина Михайловна Чернышевская. Возвращенную речь произнес и К. Федин.

Все последующие дни пребывания в родном городе были заполнены для Константина Александровича множеством встреч. К нему в номер гостиницы приходили писатели, ученые, журналисты, начинающие поэты, он встречался с местными суворовцами.

Федина любят на Волге, но особенно, разумеется, в Саратове. Трудящиеся города выдвинули его депутатом в Верховный Совет РСФСР. И совсем не случайно одним из всесоюзных центров изучения творчества К. Федина стал именно Саратов. В программу юбилейных чтений кафедре советской литературы университета включили научную конференцию по творчеству писателя.

О творчестве Константина Федина существует большая литература. Как отмечалось на конференции, свой вклад в изучение произведений писателя внесли такие наши литературоведы и критики, как И. Машбиц-Веров, Б. Брайнина, В. Смирнова, Е. Книпович и другие. Федину посвящено немало кандидатских диссертаций, ряд ценных работ появился в странах народной демократии.

Исследователями накоплен и систематизирован богатый материал. Наше литературоведение вплотную подошло к изучению того коренного и главного, что определяет своеобразие Федина-романиста. По некоторым из этих вопросов — об историзме фединских романов, об их

поэтике, стилистике и т. д.— состоялся, в частности, плодотворный обмен мнениями на самой конференции.

Но естественно, что главные внимание участников привлекли не решенные еще вопросы изучения творчества одного из крупнейших советских писателей. А таких проблем немало. Мало изучено начало литературной биографии К. Федина. Не исследована достаточно глубоко деятельность в кружке «Серрапионовы братья» таких писателей, как Н. Тихонов, В. Иванов, К. Федин. Ни формы, ни характер, ни продолжительность их участия там, ни — в связи с этим — горьковское влияние на них. «Белым пятном» остается также проблема традиций классической литературы в творчестве Федина.

На конференции отмечалось, что буржуазное литературоведение тоже отдает своеобразную «дань» Федину. Авторы учебников на Западе тщетно стараются доказать, что творческие успехи писателя, дескать, находятся в антагонистическом противоречии с принципами советской литературы. Однако отряд литературоведов и критиков, занимающихся творчеством Федина, не очень активно отбивает эти вражеские атаки.

На конференции были высказаны ценные предложения. Наступила пора создания научных библиографических справочников произведений крупных советских писателей и таких же справочников критической литературы о них. Нужны учебные пособия типа «Семинария» по их творчеству.

Участники конференции высказали пожелание, чтобы в Саратове регулярно устраивались научные фединские чтения. Хорошая мысль! Такие же конференции-чтения нужны и по творчеству других крупных наших художников, они помогут научно освоению эстетических богатств, накопленных советской литературой.

...Сразу же после окончания научной конференции Константин Александрович, как договорились, начал читать новые главы из романа «Костер», написанные в последний месяц. Набитый до отказа зал университетской библиотеки замер. У потухших «юпитеров» застыли даже неугомонные операторы кинохроники, которые перед этим сильно накаляли своей осветительной аппаратурой и без того жаркую атмосферу многолюдного заседания. После погасших вдруг прожекторов казалось, что в зале наступила полутьма. Внезапная тишина делала каждое фединское слово громче и отчетливее...

## В ТВОРЧЕСТВЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Пишущему эти строки памятен маленький урок, преподанный К. Федем. Однажды мне пришлось показать писа-

телю небольшую свою статью. Константин Александрович внимательно ее прочел. «А вот это,— сказал он, кончиком отточенного карандаша неприятно касаясь проникшего в статью слова «мероприятие»,— я бы на вашем месте решительно убрал. Раз и навсегда!»

— Каждый литератор,— продолжал Федин,— должен, на мой взгляд, составить словарь слов, которые не нужно употреблять. Что еще туда включить? Ну, мало ли! Например,— «всемерно». У нас часто, что ни призыв, сделать обязательно — «всемерно». Какой-нибудь пустяк, поднять пустоту на должную высоту, и непременно — «всемерно»! Так за таскали слово, что оно уже ничего не выражает...

В другой раз зашла речь о нелюбимом Федем новобразовании «киоскер».

— Неужели не чувствуют, как это не по-русски! — удивлялся Константин Александрович.— Уж лучше — киосчник, это тоже коряво, но, по крайней мере, больше по-русски...

Вот таким же, необычайно чутким к слову, придирчивым к так называемым «мелочам», которые очень важны для большого искусства, мы видели Федина и в этот раз в Саратове. И на следующий день конференции, во время выступления перед студентами университета в одной из многоярусных аудиторий, Константину Александровичу было подано много записок с самыми разнообразными вопросами. Ответы на них превратились в поучительные беседы о художественном мастерстве.

Эти выступления стенографировались; вероятно, стенограммы будут опубликованы, и в этих заметках нет смысла подробно их перелагать. Но некоторые ответы прозвучали настолько злободневно, что на них хотя бы коротко надо остановиться.

«Почему Вы считаете, что вечный вопрос об овладении мастерством является особенно актуальным именно сейчас?» — спрашивал автор одной из записок, очевидно, имея в виду речь Константина Федина на Первом съезде писателей РСФСР.

— Мне кажется, потому, что мы стоим на новой ступени развития общества,— ответил на этот вопрос К. Федин.— Если классическая русская литература оказалась почти владычицей мира повсеместно, во всех странах, то ставлю вопрос — какой должна быть литература будущего общества, которое вот-вот построится у нас? Мы достигли очень многого в науке, в частности в области инженерии, техники, естествознания. Мы не можем жаловаться на свое искусство; в некоторых видах, жанрах оно стоит на очень большой высоте. Но везде ли, во всех ли видах, жанрах искусства мы ушли вперед по сравнению с предшествующим временем? Я не вижу, чтобы в целом мы сделали такую «заготовку» в

области искусства. Заготовили, скажу, просто «болванки», из которых можно сделать потом новые совершенные формы искусства — искусство коммунизма».

«В чем причины отставания советской критики?» (такой вопрос, конечно же, тоже был задан).

— Недостатки нашего литературоведения и критики,— сказал К. Федин,— объясняются, мне кажется, прежде всего недостаточным изучением фактического материала, мало знают наши литературоведы фактов и очень лениво их собирают. Оно, литературоведение, даже побаивается фактов, хотя это такое смелое оружие, такое бесстрашное оружие нашего времени. Почему бы им бояться подходить к любому материалу, ворошить все, то, что имеется в прошлом, и подготавливать плацдарм для работы критиков? Если литературоведение будет идти от концепции к фактам, то это будет слабое литературоведение. Если литературоведение изучает факты, оно обогащает науку. Чем богаче литературоведение фактами, тем острее критика. Это две разновидности критического оружия — литературоведение и критика, они должны работать вместе.

Одна из записок была посвящена теме современности в советской литературе. Отвечая на нее, К. Федин предостерег от торопливости в работе, от подмены художественного осмысления действительности фотографированием.

— Я не хочу призывать наших литераторов работать, как работал Гончаров,— один роман он писал, если мне не изменяет память, пятнадцать лет, а другой двадцать семь лет. Нужно не погончаровски работать, но и не вприпрыжку, потому что это будет нехудожественно. Стимулировать литературу к участию в практической жизни нужно, это мы делаем и будем делать. Но обуславливать работу писателя, чтобы он только фиксировал то, что происходит,— это неправильно, так делать нельзя.

Отвечая на вопрос о литературном прошлом и настоящем Саратова, К. Федин, между прочим, сказал:

— Я бы хотел, чтобы в Саратове, на Волге был создан большой журнал, который объединил бы весь верхний и нижний плес. У нас есть конкуренты в лице Куйбышева и других городов. Волга — это большая область, объединенная общим дыханием, это край колоссальный,

и у него должно быть свое лицо, должен быть свой журнал, толстый, где бы участвовали все лучшие силы, начиная от горьковчан и кончая астраханцами. У Волги не меньше оснований для журнала, чем у Дона, который уже получил такой журнал.

В стопке записок было много и других вопросов — о пользе для писателя работы в газете, о романтике в советской литературе, о жанрах прозы и драматургии, о прототипах героев «Первых радостей» и «Необыкновенного лета», об организации диалогии, о работе над романом «Костер» и т. д.

Отвечая на эти вопросы, Константин Александрович неоднократно возвращался к разговору о таланте писателя, о художнической интуиции. «Художник понимает чувством, не только умом»,— говорил К. Федин. «Во время творчества у писателя думает не только голова, думает весь организм»,— как сказал он в другой раз со ссылкой на одного из учеников академика Павлова. Творчество — это горение. Наблюдая и фантазируя, писатель живет со своими героями, питает их соками своих нервов. Это процесс общий для каждого подлинного художника, но протекающий по-своему, в зависимости от характера и своеобразия его индивидуальности и таланта.

Мастерство — оружие таланта. Ведя непринужденную беседу с саратовцами, Константин Федин снова и снова возвращался к различным сторонам овладения тем, что он, вслед за Горьким, называл литературным ремеслом.

Подлинное мастерство достигается талантом и упорным трудом. «Я ему отдал все, что смог, если я меньше отдам — значит, я не художник»,— сказал Федин об одном из своих произведений. И еще раз: в творчестве нет мелочей, из мазков кистью, из слов, как из кирпичиков, складывается искусство.

Константин Александрович напомнил мудрую в своей простоте реплику одного старого художника на некоем заседании в разгар схоластических словопрений об искусстве: «Товарищи! Мазок забыли!..»

— Я кончу его словами, потому что лучше сказать не могу,— заявил К. Федин под гром аплодисментов собравшихся в большой университетской аудитории,— потому что когда я говорю об искусстве — я помню, что такое искусство. Надо помнить мазок!

# Вчера, сегодня, завтра

**С „чуточкой Кастильи“.—Сюрприз.—Наследство художника-мыслителя.—Книга, созданная заново**

## ХУАН ПЛАНЕЛЬЕС И ЕГО ДРУЗЬЯ

К концу дежурства, когда доктор Тарасова по своему обыкновению вторично обходила палаты, ее неожиданно вызвали в приемный покой.

— Что случилось? — спросила Нина Николаевна дежурную сестру.

— Из Волосовского района привезла мальчика, совсем маленького, без сознания.

Сегодня это был уже четвертый ребенок, доставленный в отделение Тарасовой.

Четырехмесячного Петю Рыжова привезли в Ленинградскую областную клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии. Токсическая диспепсия иссушила беспомощное тельце.

Склонившись над ребенком, Нина Николаевна тихо, но очень ясно сказала:

— Хорошо, что вы привезли его к нам. Очень хорошо.— И, обращаясь к медсестре, добавила: — Я никуда не уйду, сегодня останусь в больнице.

Вскоре Петю Рыжова выписали — здоровым, веселым, улыбающимся. Мать горячо благодарила доктора Тарасову.

— Не меня, не меня, — отвечала Нина Николаевна.— Все мы должны бла-

годарить профессора Планельеса, создателя мицерина...

Мы побывали в Институте имени почетного академика Н. Ф. Гамалея в Москве, где работает профессор Хуан Хуанович Планельес. В отделе, которым он руководит, создаются новые препараты и антибиотики, изыскиваются совершенные средства борьбы с детскими инфекциями — особенно с колиэнтеритами, воспалениями легких, вызванными микробами, не поддающимися лечению другими антибиотиками.

Пока мы ждали профессора, его ближайшие помощники — врачи Ю. В. Соловьева и З. Н. Белова показали нам мицерин.

Белые пылинки на дне пробирки должны изучать какой-то таинственный блеск — таким рисовало мицерин воображение. Но порошок походит на мел, самый обыкновенный мел, даже тогда, когда солнечный свет преломляется в стеклянных стенках флакончика.

Юлия Викторовна Соловьева вводит нас в лабораторию профессора. Сотни пробирок, колб. Здесь идет битва за жизнь ребенка.

Профессора мы позд-

равили с двумя большими событиями в его жизни. Хуан Хуанович, советский ученый, автор мицерина, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Хуан Планельес — верный сын испанского народа, министр здравоохранения республиканской Испании в памятные дни героических боев за свободу, избран на VI съезде компартии Испании в Центральный Комитет.

— Вы хотите знать, с чего я начал? — Хуан Хуанович улыбается и просит извинить ему его «русский язык с чуточкой Кастильи». — Я начинал с того же, что и другой Хуан Планельес. Так звали моего отца. В Малаге, еще в начале нашего века, мой отец перевязывал солдатские раны и делал прививки детям. Нет, он не был педиатром. Его специальностью была полевая хирургия — он работал военным врачом. В детстве я часто слышал, что его звали «доктором бедноты», «другом окраин». Отец, мой добрый отец, умудрялся впускать в казармы малагских рабочих и жителей деревень, приходивших к нему за помощью. Неудивительно, что я избрал профессию отца и стал в нашей семье вторым доктором, «Хуаном млад-

шим от медицины», как звали меня родные.

Он заговорил о своей родине, тяжело страдающей от франкистского режима, о любви и сыновней привязанности к своему измученному народу.

— Только светлая любовь к детям, которую не сравнить ни с какой другой любовью, могла создать мицерию, один лишь грамм которого спасает порой и вовсе безнадежных маленьких больных,— сказала Нина Федоровна Соколова.

Любовь к детям! У Хуана Планельеса эта любовь имеет свою историю. Прошла она сквозь муки, гнев и страдания народа.

В то далекое утро, о котором вспоминает сейчас профессор, телефонный звонок из Валенсии застал министра здравоохранения Испанской Республики Хуана Планельеса в его рабочем кабинете в Мадриде. «Приезжайте,— сказал чей-то усталый голос,— увидите, что они сделали».

Министр только что вернулся с Центрального фронта, сам перевязывал бойцов, учил санитаров на передовой, как нужно выносить раненых с поля боя. Сегодня Валенсия не входила в его планы. Но тотчас же после звонка Планельес выехал туда.

С моря дул теплый ветер. На берегу, недалеко от Валенсии, всего неделю назад Планельес открыл санаторий для детей, больных туберкулезом. Он не увидел этого здания. На месте большого деревянного дома дымилось пепелище. На мокрой синеватой кромке прибрежья лежали, уткнувшись в песок, маленькие астурийцы, каталонцы, эстремадурцы. Они успели убежать из разбомбленного гитлеровскими летчиками дома, но не убежали от смерти. Фашистские пилоты расстреляли их на пустом валенсийском пляже.

— С отчаянием я смотрел по сторонам, тщетно искал живых, звал удалевших...

Не тогда ли Хуан Планельес произнес слова, которые его друзья слышали от него не раз:

— Я буду делать все возможное, чтобы дети никогда не умирали от пуль и болезней!

С тех пор Планельес посвятил свою жизнь поискам новых, самых действенных средств против детских болезней.

...Колонный зал Дома Союзов. Торжественный вечер, посвященный 40-летию со дня основания Коммунистической партии Испании. Знакомая всем нам по портретам седая женщина с прекрасными глазами озабоченно говорит о чем-то с тремя товарищами. И вдруг она радо-

стно улыбается: навстречу ей идет Планельес.

— Хуан! Я поздравляю тебя. Я так счастлива за тебя, так благодарна тебе за твой труд!..

Долорес Ибаррури обняла своего давнего друга.

Бойцы фронтов Мадрида, Уэски, Гвадалахары, Бильбао приветствовали солдата, ученого, народного врача словами: «Салют, Хуан!», «Добрый день, профессор!», «Здравствуй, товарищ министр!»

Эти слова, с которыми обращались к Планельесу знакомые и незнакомые ему люди на испанском языке, несли ученому надежду увидеть свою родину свободной и счастливой.

*А. Лазебников*

## ИЗ МИЛИЦИИ ПРИШЛО ПИСЬМО..:

В четвертое строительное управление треста «Мосжилстрой» с утренней почтой пришло письмо со штемпелем Баратинского отделения милиции. Начальник управления повертел конверт в руках, недовольно поморщился и отложил его в сторону.

— Успею настроение себе испортить...— буркнул он секретарю.

Время от времени, отрываясь от дела, он подозрительно взглядывал на плотный синий конверт. «Должно быть, кто-либо из наших в отпуске отличился,— думал он,— милиция зря писать не станет».

В кабинет, с бумагами в руках, вошел инспектор по кадрам и начал докладывать.

— Подожди, подожди,— остановил его начальник.— Вот посмотри-ка лучше письмо: оно, брат, и тебе адресовано...

Инспектор взял письмо.

«Калужская область, Баратинское отделение милиции...» — прочитал он и вздохнул: — Вот не ожи-

дал, казалось, такая хорошая женщина...

— О ком это ты?

— В Калужской области у нас одна отдыкала — Евдокия Конова. Вчера только вернулась.— Инструктор надорвал конверт.

— А может быть, вызвать ее? — предложил начальник.— Уж читать, так при ней.

Вскоре в дверь кабинета начальника управления робко постучалась молодая женщина.

— Конова? — строго спросил начальник.

Женщина молча кивнула головой.

— Вот послушайте...—

Он вскрыл конверт и громко начал: «7 июня этого года в овчарне совхоза имени Мичурина вспыхнул пожар. В овчарне находилось более 500 совхозных свей. Благодаря находчивости...— начальник замолчал и остальную часть письма читал уже вполголоса: — ...решительности и инициативе тов. Коновой Е. А., которая, не обращая внимания на опасность, бросилась в горящий овчарник, открыла ворота и

стала выгонять животных, были спасены 500 овец. Выражаю искреннюю благодарность работнице вашего стройуправления Е. А. Коновой и прошу известие о ее героическом поступке довести до сведения коллектива».

Начальник строительного управления сложил

вчетверо письмо и, со смущенной улыбкой глядя на переминавшуюся с ноги на ногу женщину, сказал:

— Ну что ж, садись... героиня... В кресло, в кресло садись — не беда! — кивнул он на испачканный раствором комбинезон.

*М. Толмачев*

## ГОРЬКИЙ И РЕРИХ

В Москве, Ленинграде и других городах нашей страны демонстрировалась выставка произведений замечательного русского художника конца XIX — первой половины XX века Николая Константиновича Рериха.

Эта выставка составлена из картин художника, находящихся в Третьяковской галерее, в Музее имени А. М. Горького в городе Горьком, в частных коллекциях. В нее вошли также картины, созданные Н. К. Рерихом в Гималаях в Индии, где он прожил все свои последние годы. Три года назад картины привез в СССР сын художника, недавно умерший филолог и путешественник востоковед Юрий Николаевич Рерих.

Известно, что А. М. Горький относился с большим вниманием к творчеству Н. К. Рериха. Он глубоко интересовался эстетическими и научными изысканиями художника и особенно его научными замыслами собрать затерянные и еще не известные современникам памятники древней и новой культуры народов Востока, народной медицины, быта, фольклора, воззрений на природу и человека.

Связь писателя с художником развивалась в течение многих лет. Так, еще в 1904 году, когда в Петербурге проектировалось создать народный театр, оба они входили в число его пайщиков. Рерих

встречался на квартире Горького с Шаялиным, Лансере и другими выдающимися современниками.

В свою очередь Горький был нередким гостем в семье Рериха. Он следил за творчеством художника, навещал его в мастерской, с интересом относился к его замыслам и начинаниям, предостерегал от неверных увлечений, ошибок.

Н. К. Рерих был близко связан с жизнью театра. Он писал эскизы к постановкам. «В свое время все мы,— вспоминал академик Игорь Грабарь,— высоко ценили театральные постановки Рериха, дивные эскизы декораций «Половецкий стан», «Путь к «Князю Игорю». Характеризуя выставку картин Н. К. Рериха в Москве 1958 года, Игорь Грабарь писал: «На выставке собраны такие шедевры театрально-декоративного искусства, как эскизы постановки и костюмов к «Тристану и Изольде», «Снегурочке», «Пер Гюнту», «Весне священной», «Принцессе Малэн». Нам казалось, что лучше декорации, нежели «Половецкий стан», у Рериха ничего не было, а сейчас, внимательно присматриваясь ко всем этим чудесам выдумки и цвета, видишь, что они и выше, и совершеннее прежних».

В печати того времени появлялось много статей художника. Перед публикацией он нередко показывал их Алексею Максимовичу, советовался с ним.

В архиве А. М. Горького сохранилось интересное, до сих пор не опубликованное письмо Н. К. Рериха.

Вот оно:

«4 ноября 1916 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю Вам корректуру. За все замечания Ваши буду искренно признателен. Хорошо бы повидаться; в словах Ваших так много озоны и глаза Ваши смотрят так далеко.

Глубокий привет мой Марии Федоровне.

Сердечно Вам преданный

Рерих.»

Вспоминая о встречах его отца с А. М. Горьким, Ю. Н. Рерих говорил:

«Алексей Максимович подолгу засиживался у нас, на квартире в Петрограде. Он увлеченно беседовал с отцом. Их разговоры касались памятников культуры народов Востока, в частности — мифологии, философии, литературы народов Индии, отраженных в этих памятниках. А. М. Горький с глубоким интересом расспрашивал отца об его археологических изысканиях, о замыслах и планах экспедиционного собирания материалов по культуре народов Тибета, Китая, Индии. Замыслам отца не удалось осуществиться полностью, однако мы совершили несколько экспедиций с научной целью по странам Востока, собрали материал во время путешествий по Монголии, Тибету, Китаю, Индии... Николай Константинович во время путешествий писал много этюдов к своим произведениям. Условия путешествий были тяжелыми, мы терпели лишения и трудности, наши средства были ограничены, однако отец постоянно был бодр, много работал, вынашивал широкие планы научных исследований и художественного творчества. Я — как востоковед и брат Святослав — художник находились под обаянием творческой личности отца.

Экспедиции завершились в Индии, где наша семья прожила несколько десятков лет до смерти отца и матери, там же, в тихой долине Гималаев, погребенных.

В небольшом домике с большой мастерской в долине Кулу, где жил и писал отец свои картины, нас нередко навещали писатели, ученые, художники. Среди них — такие выдающиеся современники, как Джавахарлал Неру, Радха-кришнан».

«С Тагором, — вспоминал Ю. Н. Рерих, — наша семья познакомилась еще в 1919 году. Великий индусский писатель-гуманист приходил в мастерскую отца и подолгу беседовал с ним. Тагор внимательно и дружелюбно относился и к членам нашей семьи, — он был великим педагогом, чутким и глубоко душевным человеком. Тагор расспрашивал меня и брата, тогда еще юношу, о наших интересах и занятиях, он много беседовал с братом Святославом, страстным художником и последователем эстетических воззрений отца.

О произведениях Н. К. Рериха Тагор писал позже: «Его картины глубоко потрясли меня. Они дали мне возможность понять то, что очевидно и что в то же время необходимо снова и снова открывать для себя; это то, что поистине безгранично — его картины ясны, хотя их и нельзя определить словами. Его искусство ревниво оберегает свою независимость, потому что оно велико».

Архив художника еще недостаточно исследован. Одно несомненно: существующая документация и ее изучение позволяют углубить наши знания не только о творчестве Н. К. Рериха, обладавшего «ярким и мощным дарованием художника-мыслителя», но и о его многообразных культурных связях с современниками, в частности с великим писателем А. М. Горьким.

Сын Н. К. Рериха Свя-

тослав Николаевич, унаследовавший призвание отца, полностью посвятил себя живописи.

В марте этого года Никита Сергеевич Хрущев, находясь в Индии, посетил выставку картин

С. Н. Рериха в Дели и выразил надежду, что эти работы смогут посмотреть и советские граждане. Картины С. Н. Рериха были встречены в СССР с большим интересом.

*А. Примаковский*

## ПОДВИГ

«Много за выпавшую мне долгую жизнь наслушался я сетований и сожалений о том, что вот, мол, постепенно никого из близких свидетелей и очевидцев мучительной жизни Лескова уже и не сохранилось, что, при установленном уже отсутствии личных дневниковых его записей, отпадает всякая надежда на возможность появления сколько-нибудь цельной его биографии.

Волею судеб в моем лице сохранился последний близкий свидетель трудного жития Лескова.

В меру моих сил старался я дать проверенную биографию его».

Таковыми словами заканчивает Андрей Николаевич Лесков свою книгу «Жизнь Николая Лескова» — книгу о своем отце, замечательном русском писателе Николае Семеновиче Лескове, названном А. М. Горьким «волшебником слова».

Книга А. Н. Лескова, давно уже ставшая библиографической редкостью, принадлежит к числу таких произведений, к которым часто возвращаешься, в которых всякий раз находишь новые краски и открываешь новые мысли. Она написана великолепным русским языком — ярким, образным, точным, во многом напоминающим язык самого Лескова. Книга изобилует важными документами, письмами Лескова и письмами к нему его корреспондентов, редчайшими, частью забытыми и совсем неизвестными материалами, «семейными и несемейными записями и памя-

тями». И, глядя на указанную в «выходных данных» цифру — 10.000 экземпляров, — горько жалеешь, что только очень узкий круг читателей имеет возможность насладиться подвижническим, вдохновенным трудом Андрея Лескова.

\* \* \*

Я пошел «по следам» этой книги.

В Ленинграде, в высоком сером доме на площади Революции, в небольшой, скромно обставленной квартире на шестом этаже, я познакомился с вдовой А. Н. Лескова — Анной Ивановной, «незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником» писателя.

Седая, с округлым, розоватым лицом, тихим голосом и спокойной, даже несколько медлительной манерой двигаться и говорить, Анна Ивановна неторопливо рассказывала мне о жизни Андрея Николаевича, о том, как он работал над книгой, о последних годах его жизни.

Трагична история книги, необычна биография ее автора.

Андрей Лесков в прошлом — офицер старой русской армии. Крупный военный специалист, он к концу первой империалистической войны был уже в чине полковника. В дни Великой Октябрьской социалистической революции Лесков, в числе других русских офицеров, перешел на сторону Красной гвардии. Все свои силы, обширные знания и большой опыт он в тече-



ние многих лет отдавал делу строительства и укрепления советских вооруженных сил.

Еще находясь на военной службе, Андрей Николаевич начал собирать материалы об отце, разыскивая их у частных лиц, в архивах и хранилищах. Десятки лет он отдал на сбор «Лесковианы»: документов, писем, фотографий, рукописей и «растрелянных» — бесподписных работ писателя. Неиссякаемой была энергия этого человека, сумевшего собрать сотни писем Лескова, в свое время адресованных писателем различным лицам.

В тридцатых годах, выйдя в отставку, Андрей Лесков всецело посвятил себя публикации материалов о своем отце. В 1932 году он начал писать большую книгу, посвященную жизни Николая Лескова. В 1935 году книга была окончена. А. М. Горький сердечно отнесся к этой работе и рекомендовал ее к изданию. В сентябре 1941 года в осажденном Ленинграде подписанная к печати рукопись погибла. Погиб и второй ее экземпляр. Уцелели незначительные отрывки, опубликованные в разное время в периодических изданиях.

В 1942 году Андрей Лесков с женой, пережив мучительную блокадную зиму, были в тяжелом состоянии вывезены из Ленинграда в Москву. В числе самых необходимых вещей, которые они могли взять с собой, были пишущая машинка, кое-что из одежды и некоторые автографы Лескова. Но главным, наиболее ценным «грузом» являлась довольно тяжелая по весу картотека, помещавшаяся в двух ящичках. Эту картотеку Андрей Лесков составлял с первого дня своей работы над книгой об отце. Потеря карточек сделала бы невозможной его рабо-

ту над возобновлением рукописи. Поэтому Андрей Николаевич пуше всего берег картотеку и весь долгий и трудный путь эвакуации носил ящички сам, никогда, ни на минуту не оставляя их без присмотра.

Москва приветливо встретила сына выдающегося русского писателя. На Можайском шоссе Лесковым была отведена квартира. Отзывчивые соседи снабдили Лесковых кроватями и маленьким столом, который попеременно служил то кухонным, то обеденным, то письменным. Литературовед Б. М. Другов принес им этажерку для книг.

Андрей Николаевич, которому в то время было семьдесят шесть лет, преуспевая нездоровье, продолжал неутомимо трудиться. А. Н. Лескова, бледного, похудевшего, сильно состарившегося, в неизменной черной шелковой шапочке, часто можно было видеть в клубах московских фабрик и заводов, в воинских частях, на вечерах в Государственном литературном музее, в студии Радиокomiteта, где он читал доклады о жизни и творчестве Николая Лескова.

Но мысль о книге не покидала его.

— Жить мне осталось немного,— говорил он не раз.— Надо торопиться, а то и не успею...

И каждый день, с утра до вечера, он ходил по пустынным московским улицам из одного архива в другой, из одного хранилища в другое, собирая «Лесковиану», записывая на клочках бумажек — иногда на ходу — то, что удавалось найти или вспомнить.

В 1946 году Лесковы возвращаются в родной Ленинград. В восьмидесятилетнем возрасте Андрей Лесков предпринимает гигантский труд — он начи-

нает писать свою книгу сызнова. В неустроенной, холодной квартире, пришедшей в ветхость за годы войны, он работает со страстью одержимого. Он не обращает внимания ни на болезнь, все чаще и все острее дающую себя чувствовать, ни на трудности послевоенной жизни,— он весь во власти творчества. Через несколько лет книга рождается во второй раз, и рукопись, насчитывающая тысячу пятьсот машинописных страниц, передается издательству.

Прикованный к постели неизлечимой болезнью, причинявшей ему невыносимые физические страдания, А. Н. Лесков все же находил в себе силы держать корректуру, править и дополнять текст. 87-летний старец не давал себе ни минуты отдыха. Уже умирающий, он думает не о смерти. Он звонит в издательство, разговаривает с редактором, волнуется, торопит, отстаивает «спорные» места в рукописи. Это был титанический творческий и жизненный подвиг. Но как жестоко поступила с ним судьба! Автор не увидел своего труда — Андрей Лесков скончался 5 ноября 1953 года, незадолго до выхода из печати его книги, над которой он работал двадцать два года. Как солдат на поле боя, Андрей Николаевич стойко переносил физические муки и умер в молчании, никому не жалуясь, тихо уйдя из жизни, до конца исполнив свой долг перед литературой, перед памятью отца.

Думая о жизни Андрея Лескова, о его творческом подвиге, о его талантливой книге и трагической судьбе автора, невольно вспоминаешь гениальные слова М. Салтыкова-Щедрина:

«Литература изъята из законов глениа. Она одна не признает смерти».

*А. Л. Лесс*

